

**Михаил
ВЕЛЛЕР**

**ВСЕ
РАССКАЗЫ**

Хочу быть дворником
Разбиватель сердец
Б. Вавилонская
Забытая погремушка

Лучшее Михаила Веллера

Михаил Веллер

Все рассказы

«Издательство АСТ»

1970-2020

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Веллер М. И.

Все рассказы / М. И. Веллер — «Издательство АСТ»,
1970-2020 — (Лучшее Михаила Веллера)

ISBN 978-5-17-148215-2

Эта книга – полное собрание рассказов Михаила Веллера: всего сто семь рассказов, написанных во всех формах, жанрах и стилях в течение пятидесяти лет; они многократно переиздавались в разных авторских сборниках. Все тексты приведены в первоначальной авторской редакции.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-148215-2

© Веллер М. И., 1970-2020
© Издательство АСТ, 1970-2020

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Хочу быть дворником | 6 |
| Конь на один перегон | 6 |
| Сопутствующие условия | 6 |
| Конь на один перегон | 7 |
| Чужие беды | 15 |
| Поживем – увидим | 20 |
| Колечко | 25 |
| Небо над головой | 37 |
| Травой поросло | 41 |
| Все уладится | 47 |
| Все уладится | 47 |
| Транспортировка | 56 |
| Кошелек | 68 |
| А вот те шиш | 82 |
| Недорогие удовольствия | 90 |
| А может, я и не прав | 90 |
| Лодочка | 94 |
| Поправки к задачам | 95 |
| Последний танец | 97 |
| Осуждение | 100 |
| Свободу не подарят | 102 |
| Недорогие удовольствия | 103 |
| Не в ту дверь | 106 |
| Кнопка | 112 |
| Долги | 116 |
| В ролях | 129 |
| Идет съемка | 130 |
| Плановое счастье | 131 |
| Хочу быть дворником | 133 |
| Хочу в Париж | 134 |
| Хочу в Париж | 134 |
| Бог войны | 148 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 150 |

Михаил Веллер

Все рассказы

© М. Веллер, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Хочу быть дворником

Конь на один перегон

Сопутствующие условия

Его должны были расстрелять на рассвете.

На рассвете – это крупное везение. Еще есть время.

Он лежал ничком в совершенной темноте. Вероятно, ногами к двери – швырнули.

Спина была изодрана в мясо и присыпана рыбацкой солью. Боль вывела его из забытья.

Боль была союзником.

Связанные сзади руки немели.

Он перекатился на спину, и боль перерубила сознание. Он смолчал и пришел в себя. Он просто забыл: нога. Левая нога попала под коня. Под ним убило коня.

Он уперся правой пяткой в земляной пол и проелозил плечами... Оттолкнулся еще раз и совладел с дыханием. Подтянул ногу, закинул голову, опершись макушкой приподнял плечи и передвинул себя.

После десятого раза он стал переворачиваться на живот. Сердце грохало в глотке.

Извивался, царапая коленом, правой стороной груди, головой – полз.

Часовой – вздохнул, выматерился, зачиркал металлом по кремушку, добывая прикурить, близко, но снаружи, где дверь, в стороне ног.

Он определил стену сарая. Переместил себя вдоль нее. На правом боку, прижимаясь, продвигался. Острие гвоздя корябнуло лоб.

Нашел.

Гвоздь торчал на полвершка. Он долго пристраивался к нему стянутыми запястьями. При всяком движении черная трещина в сознании расширялась, и боль увлекала туда.

Не чувствуя руками, на звук, он дергал веревкой о кончик гвоздя. Приноровясь, пытался расщипывать волокна в одном месте.

Закрапал в крышу, наладился дождь. Удача; очень большая удача.

Пряди поддевались чаще толстые. Он отпускал напрягшиеся нити, стараясь определить одну, и рвал ее...

...Очнувшись, он продолжал. И последняя прядка лопнула, но это был лишь один виток, и веревка не ослабла.

Теперь он приспособился, пошло быстрее... Ему удавалось расковырять, разлохматить веревку о гвоздь, и она поддавалась легче.

...Он не мог сказать прошедшего времени, когда освободил руки. Он кусал взбухшие кисти, слизывая кровь с зубов, и руки ожили.

Под стену натекала вода. Он напился из лужицы. Часть воды оставил, провертев пальцем в дне лужи несколько ямок поближе к стене.

На четвереньках, подтягивая ногу, он обшарил сарай. Ни железки, ни щепки... Пригнанные доски прочны.

Железный костыль сидел в столбе мертво. Сжав челюсти, он раскачивал его, выкрашивая зубы.

Костылем он стал рыхлить землю с той стороны, под стеной, где натекала вода. Он рыхлил увлажняющуюся землю костылем и выгребал руками. Руку уже можно было высунуть по

плечо, когда в деревне закричали петухи. Ему оставался час до рассвета. С дождем – полтора часа.

Часовой – не шагал под дождь, но без сна, дымок махорки чулся.

В темноте, сдирая запекшиеся струпья со спины, он вылез в мокрый бурьян. Умеряя движения, каждую травинку перед собой проверяя беззвучно, пополз направо к реке.

С глинистой кручи головой вперед, тормозя скольжение вытянутыми руками, пальцами правой ноги и подбородком, он достиг берега.

Лодок не было.

Ни одной.

Он двигался на четвереньках вдоль воды. Дождь перестал, и линия обрыва выступила различимо.

Обломок бревна он заметил сажени за три. Подкатил его, спустился без всплеска в сентябрьскую воду.

Лежа на калабахе грудью, обхватив ее левой рукой, оттолкнулся от дна, тихо-тихо загребая правой к середине.

Ниже по течению верстах в полутора на том берегу был лес.

И поэтому так называемые трудности мне непонятны.

И знакомые называют меня идеалистом, наивным оптимистом и юнцом, не знающим жизни.

Человек этот, боец 6-го эскадрона 72-го красного кавполка, был мой прадед.

Фотографию его, дореволюционную овальную сепию, я спер из теткинго альбома и держу у себя на столе. Те, кто видят ее впервые, не удерживаются, чтобы не отметить сходство и поинтересоваться, кем этот человек мне приходится. Что составляет тайный (и не совсем тайный, если откровенно) предмет некоторой моей гордости. На фотографии ему двадцать один – на три больше, чем мне сейчас. Намного старше он не стал – погиб в двадцатом.

Конь на один перегон

Всех документов у него было справка об освобождении.

– Карточная игра, парень, – предупредили, куря на корточках у крыльца.

Сивери́н не отзывался. «Передерну».

«Скотоимпорт» непридирчив. Неделю в общежитии тянули пустоту: карты и домино. Жарким утром, успев принять с пятерки аванса, небритые и повеселевшие от вина и конца ожидания, устраивались в кузове с полученными сапогами и телогрейками.

– Чтоб все вернулись, мальчики!..

Через два дня, отбив зады, свернули у погранпункта с Чуйского тракта и прикатили в Юстыд.

Житье в Юстыде – скучное житье. Стругают ножны для ножей, плетут бичи кто разжился сыромятиной. Карты – на сигареты и сгущенку. Солнце – жара, тучи – холод: горы, обступили белками.

Ждали скот; подбирались в бригады. Сиверина чуждались (угрюм, на руку скор).

После завтрака, вытащив из палатки кочму, он дремал на припеке. Подсел Иван Третьяк, гуртоправ:

– Отдыхай. Отдыхай. Ты вот чо: в обед монголы коней пригонят. А нам послезавтра скот получать. Мысль поня`л?

Сиверин глаз не открыл. Иван сморщился, лысину потер: «Не брать тебя, дьявола... Да людей нет».

– В табуне все ничо кони давно взяты, – затолковал. – На первом пункте менять придется. А на чо? – там еще хуже оставлены, все первые связки забрали. Так что будем брать сегодня

прямо с хошана. Они, конечно, за зиму от седла отвыкли; ничо... Зато выберем путевых коников. А коники нам по Уймону ой как понадобятся! Так что готовься... Присмотри себе. Злых не бойсь – обвыкнут...

На складе долго перекидывали седла. Пробовали уздечки. Завпунктом разводил руками. Свалили в кучу у палаток.

– Чо, коней сегодня берете?..

– Третьяк у монголов братъ будет. Хитрый... Лучших отберет.

Пригнали заплотень. Кони разнорослые, разномастные. Двое монголов с костистыми барабанного дубления лицами, кратко выкрикивая, заправили в хошан. Сделали счетку. Они расписались в фактурах. Поев на кухне и угостившись сигаретами, расправили по седлам затертые вельветовые халаты и неспешной рысью поскакали обратно.

Мужики, покуривая, расселись по изгороди. Третьяк с Колькой Милосердовым полезли в хошан. Пытались веревкой, держа за концы, отжать какого к краю. Кони беспокоились, не подпускали.

– В рукав давай! – велел Третьяк.

От узкого прохода кони шарахались. Третьяк и Милосердов сторонились опасливо. С изгороди советовали. Не выдержав, несколько спрыгнули помогать. Вывязывая сапоги, маша с гиком и высвистом, загнали в рукав. Зажатые меж жердей, кони бились, силясь повернуться. Всунули поперечины, перекрыв:

– Уф!.. Так...

Притянув веревками шеи, взнуздали, поостерегаясь. Наложили седла; застегнули подпруги.

– Выводи...

Первый, крутобокий пеган, пошел послушно у Кольки Милосердова. Дался погладить, схрупал сухарь. Колька, ухарски шурясь, чинарь в зубах, вдел стремя – пеган прынул – уже в седле Колька натянул повод, конь метнулся было и встал, раз-другой передернув кожей.

Пустил шагом. Дал рысь.

– Нормальная рысь, – решили сообща.

Галоп. Покрутил на месте.

– Есть один!..

Второй, коренастый гнедок, Кольку сбросил раз, – и сам ждал поодаль.

– Жизнь-то страховал хоть, Колька?

– Шустрый, язви его!..

Поймали быстро. Камчой вытянули – понимает за что.

– Порядок. Это он так... сам с испугу, отвык.

Со скотоимпортским табуном подоспел Юрка-конюх.

– К этим давай. Легче брать будет.

Яшка, высокий вороной жеребец, в жжении ярой крови ходил боком, отгораживая своих.

– Знакомятся!..

Рыжий сухой монгол доставал кобылиц, кружась обнюхивая и фыркая. Яшка прижал уши и двинулся грудью. Рыжий увернул – Яшка заступил путь.

– Делай, Яшка!

– Счас вло-омит!..

– Так чужого, не подпускай!..

Надвинулись, тесня. Рыжий жал. Яшка взбил копытами, сверкая оскалом. Рыжий с маху клацнул зубами по морде. Вздрыгнулись, сцепляясь и ударяя ногами. Копыта сталкивались деревянным стуком.

Яшка, моложе и злее, набрасывался. Слитные формы вели черным блеском. Монгол, сух и костист, некованный, скупое уклонялся. Грызлись, забрасываясь и сипя. С завороченных губ пена принималась алым.

Яшка вприкус затер гриву у холки. Рыжий вывернулся и лягнул сбоку, впечатал в брюхо. Яшка сбился, лоя упор. Рыжий скользнул вдоль, закусил репицу у корня.

Юрка-конюх бичом шелкнул, достал... Без толку:

– Изуродует Яшку, сука!.. – заматерился Юрка.

Визжа от боли резко, Яшка вздернулся и тупнул передними в крестец. Рыжий ломко осел, прятнул. Закрутились, вскидываясь и припадая передом, придыхая. Мотая и сталкиваясь мордами, затесывали резцами.

На изгороди, заслоняясь от солнца, ссыпаясь в их приближении, захваченно толкались и указывали.

Кровеня отвергнутой каймой глаз, сходились вдыбки, дробили и секли копытами. Уши Яшки мокли, измечены. В напряжении он стал уставать. С затяжкой шарахаясь из вязкой грязи, приседая на вздрагивающих ногах, хрипел с захлебом. Воротясь, кидал задом. Рыжий, щерясь злобно, хватал с боков.

– Эге, робя! да он же холощенный! – заметил кто-то.

– По памяти!.. – поржали. – И без толку – упорный, а!..

– Нахрен он мне в табун, – не захотел Юрка. – Третьяк, бери?

С изгороди усомнились:

– На таком спину сломать – как два пальца.

Колька Милосердов мигнул Ивану. Иван сморщился и потер лысину.

– А вот Сиверин возьмет, – объявил Колька.

Все обратились на Сиверина.

– Или боязно? Тогда я возьму. Тебе кобыленку помирнее подберем. Чтоб шагом шла и падать невысоко.

Смешок готовный пропустили.

«Ты поймай... я сяду».

Отжать веревкой конь не давался. В рукав не шел. Пытались набрасывать петлю... Перекулив, послали за кем из стригалей-алтайцев.

Пришел невысокий парнишка в капроновой шляпе с загнутыми полями. Перевязал петлю по-своему. Собрав веревку в кольца, нешироко взмахнул петлей вокруг головы и пустил: она упала рыжему на морду, сползая («не набросил», – произнес кто-то), нижний край свис, алтаец поддернул – петля затянулась на шее.

– Дает пацан... – оценили.

– Так се конек, – сказал алтаец, закурил и ушел.

Конь рвался. Суется и сопя, ругаясь, впятером затянули в рукав. Бились: не брал удила, всхрапывая скалил сжатые зубы. Придерживая через жерди седло, проволокой достали под брюхом болтающиеся подпруги.

– Вяжи чумбур, – Третьяк утер пот... – Вяжи два чумбура.

Коротко перехватил повод:

– Страхуй.

Вывели вдвоем. Конь ударил задом и задергал. Иван повис на уздцах. Юрка и Колька со сторон тянули чумбуры.

– Ждешь, Сиверин? – озлел Третьяк. – Берешь – бери! Не убьет...

При коновязи конь стих. Сиверин курил рядом. Кругом предвкушали.

– Ехай, Сиверин, ехай, – поощрил Третьяк.

Навстречу руке конь оскалился. Привязанный, стерпел: Сиверин почесал, поскреб плечо сильно. Взялся за луку седла – конь прятнул, Сиверин отскочил.

Захлестнул за коновязь чумбур и, заведя кругом, прижал коня к бревну боком: «Держи», – сунул конец Юрке.

Отвязав повод, влез на коновязь и с нее быстро сел, взявши правой заднюю луку. Конь забился, ударил дважды о коновязь – Сиверин поджал ноги, удержался.

Вывели на чумбурах. Конь, шараясь и заступая задом, рванул, они побежали, удерживая концы. Сиверин перепилил поводом, натянул обеими руками кверху, щема коню губу, он дал свечу, тряхнул спиной вбок, стал заваливаться, Сиверин бросил стремяна и толкнувшись коленями отлетел вбок, перекатываясь подальше; конь извернулся кошачьи, спружина взял в бег, но Третьяк захлестнул уже чумбур за столб изгороди, и он смаху был развернут натянувшейся петлей, припадая на сторону и хрипя.

– Ничо... Пусть успокоится...

Сиверин сел снова. Юрка с Колькой захватили чумбуры в метре от шеи. Упирались, не давая подняться на дыбы, Сиверин всей тяжестью налег вперед – и конь подсев и резко бросив задом отправил его через голову.

– Показывай класс... наездник, – прогудел Чударев, начальник связки, грузный сильный старик, супясь с улыбкой. Скотогоны загрохотали.

Сиверин отряхнулся, прихрамывая. Поводил под уздцы.

Успокоил ведь, вроде. Сухарь конь взял, схрупал. Допустил в седло. Прошел шагом.

– Вот и в норме, – сказал Третьяк.

Не чувствовал Сиверин, что в норме.

Рысью... Поддал пятками в галоп – конь уши прижал, попятился. Пошел шагом. Сиверин натянул повод, и конь встал.

Третьяк смотал и приторочил чумбур, второй Колька отвязал.

– Пусть-ка еще проедет, – сказал он и шлепнул веревкой по крупу.

Конь с места понес. Они вылетели в ворота. Сиверин вцепился в повод и луку. Заклешился коленями и шенкелями, теряя стремяна.

Пот мешал глазам. Не мог отвлечься, чтоб слизнуть с губ. Тянул повод затекшей рукой. Храпя и екая, со свернутой мордой, конь не урезал мах. Юстыд скрылся.

Сводило ноги. Седло сбивалось к холке. Сиверин надеялся, что не ослабнет подпруга.

Конь тряс жестко. Он осадил разом, и Сиверина швырнуло через голову, но первым, что он сообразил, был мертво зажатый в руке повод; этот повод, вывертывая руку из сустава, волок его стремительно по траве и камням. Копыта вбивались вплотную; бок вспыхивал до отказа сознания; но это значило, что повод не оборвался, он и правой схватился, подтягиваясь, пытался подобрать ноги и встать, но конь тащил слишком быстро, завертелся, лягая, и в заминке хода Сиверин успел вскочить и повис на поводке, топыря ноги по уходящей земле и клекоча. Он налегал книзу, сдерживая; он сумел высвободить правую руку и дотянулся до передней луки, сбоку подпрыгнув закинул правую ногу. Конь дернул, нога соскочила, но рукой удержался, снова закинул и втянул, дрожа судорогой втянул себя в седло.

Взбросив подряд, конь встал на месте. Он дышал со свистом. Он отдыхал.

Сиверин сидел. Отпускало сдавленное горло. Сведенные мышцы вздрагивали. Воздух был желт: тошнило. Тыча рукой в багровых рубцах от повода, нашел курить. С трудом чиркал вываливающиеся спички. Край сигареты окрасился. Сплевывал.

Прохватил ветер. Горячий в поту, он остыл; полегчало. Дождь полетел полого. Конь переступил, отворачиваясь задом. Сиверину тоже так было лучше.

Припустило сильно. Видимость сделалась мала за серой водой. Сиверин тихо толкнул в шаг – конь двинулся, послушал. Но повернуть не подчинялся. Сиверин не настаивал: какой конь любит дождь в морду.

Не просвечивало, и определить время было трудно. Сиверин замерз. Он жалел, что без телогрейки и шапки. Сигареты в кармане размокли, и он выкинул их.

Они ехали и останавливались под дождем. Сиверин пружинил на стременах – грелся.

Низкое солнце вышло быстро. Вечерняя прозрачность напиталась духом чебреца и горной медуницы. Емуранки засвистели. Конь попал ногой в норку и споткнулся. Сиверин подернул повод, – он захрапел и понес.

Успокоившийся было Сиверин озверел в отчаянии. Сил могло не хватить. Он повернее уперся в стременах и откинулся, вжимая повод. Гора была впереди, и он не давал коню свернуть.

Мотая закинутой головой, выбрасывая разом в толчках передние ноги, конь стлался в гору. Он опасно оскользнулся на мокрой траве склона, но Сиверин не кинул стремя, даже когда затрещали по каменистой осыпи вокруг отвесной вершины. «Сдохну! – вместе! – помоему будет!» – ослепляло в высверках, на косой крутизне упор утек, сдирая правый бок о щебенку они съехали вниз метров двадцать до низа осыпи...

– Вставай, сука!.. – сказал коню Сиверин, перенося тяжесть влево, не вытаскивая ногу.

Конь поднялся. Правое колено выше сапога, бедро и локоть у Сиверина были ссажены под лохмотья, но крови не было.

– Тоже, самоубийца, – сказал коню Сиверин, вдруг неожиданно повеселев. – Не круче моего... Обломаю! – задохнулся он и пустил вниз, врезав каблуками, но стараясь, однако, не попасть ему по свежей царапине.

Конь принял вмах, не умеряя, как жмутся кони на спуске, и Сиверин не отпускал стремя и не страховался за заднюю луку – ему было плевать; и была уверенность.

И не заметил, как развязались тороки, и чумбур упал и потащился. На ровном конь наддал, попал задним левым копытом на веревку, передней левой бабкой зацепил и грохнулся оземь вперед – влево перекатываясь через голову и левое плечо. Тяжесть ударила в треске ребер перенеслась, ноги выламывались, копыта били задевая воздухом, он выпутывался из стремян, копыто стукнуло по запястью и левой кисти не стало, в живот или голову – убьет, вырвал правую, оставив в стремени сапог, конь вскочил, лежа на спине он сдернул стремя с левой, небо сверху, конь исчез, ожгло вниз спину, закинул правую руку и успел уклешнить мокрую скользкую веревку, деревянея в усилии, стряхнув с места понесло, летящая земля жгла и шаркивала шкуру, вывертывая позвонки перевернулся на живот, конец веревки позади правой руки намотал дважды левой, она работала, стругая носом зажал веревку в зубы...

Конь держал вскачь. Сиверин несся на привязи. Трава и песок сливались в струны. Камни выстреливали, кроя тело. «По кочкам разнесет...» Он понял звук – отрывками изнутри звериное подвывание.

Он стал подтягиваться по чумбуру. Чужие мышцы отказывали. Власть над телом иссякла. Сознание отметило, что мотков на левой руке больше. Происходящее как бы... отходило...

Разом – задохся в спазме. Это конь пересек ручей. Вода накрыла. Руки разжались. Но веревка была намотана на левую, и натяжение прекратилось, потому что конь оступился на гальке откоса, и Сиверин, имея в сознании лишь одно, схватил правой и дернул за пределом сил, конь снова оступился, ослабив чумбур, Сиверин уже сел, крутанув в воде легкое тело, упершись ногами выжег в рывке всю жизнь ног, корпуса, рук – и попал коню как раз не под шаг, тот снова упустил мокрые камни из-под некованных копыт и неловко и тяжело упал боком в воду – сшибая не успевшие взлететь брызги Сиверин метнул себя ему на голову сумасшедше лапая левой в ноздри и правой повод.

Конь забился, вставая. Сиверин большим и указательным пальцем левой руки, всунув, сжимал ему ноздри; правой притягивал намотанный повод. Держа крепко, поднялся враскорячку с колен.

Не двигались. Сиверин пытался сосредоточиться, чтобы понять, где верх и где низ. Постоял, отдавая отчет в ощущениях и упорядочивая их.

Боком, сохраняя хватку, повел коня на ровное место у берега. Переставлять ноги требовало рассудочного напряжения.

Там отдохнул немного. Повернулся, не отпуская рук, так, что морда коня легла сзади на правое плечо, и медленно пошел, ища глазами.

Остановился у глубоко вбитого старого кола. Опустился на колени. Не отпуская левой, правой плотно обвязал осклизлый узкий ремешок повода и тщательно затянул калмыцкий узел. Дотянулся до чумбура и тоже очень тщательно привязал.

Потом оперся на четвереньки и его вырвало. Он сотрясался, прогибаясь толчками, со скрежущим звуком, желудок был пуст, и его рвало желчью.

Он высморкался и встал, дрожа, ясный и пустой.

Конь смотрел, спокойный.

Вперившись в его глаза и колко холодея, Сиверин потащил ремень. Гортань взбухла и душила. Оранжевые нимбы разорвались перед ним.

– У-ург-ки-и-и-и! – визг вырезался вверх, вес исчез из тела, он рубил и сек, морду, глаза, ноздри, губы, уши, топал, дергался, приседал, слепо истребляя из себя непреодолимую жажду уничтожения – в невесомую руку, в ремень, в месиво, в кровь, в убийство.

– Гад! – всхлип выдыхивал. – Гад! Гад! Гад! Гад! Га-ад!..

Рука сделалась отдельной и не поднималась больше.

Он не мог стоять. Он захлебывался.

Конь плакал.

Живая вода, заледившие слезы, текли с чернолитых глаз, остановленных зрачков, тихо скатывались, оставляя мокрый след в шерстинках, и капали.

Сиверин сел и заревел по-детски.

...Успокоившись, утер слезы и сопли, приблизился к коню и ткнул лбом в теплую шею.

– Раскисли мы, брат, а... – сказал он. Снял куртку, выжал, и стал приводить своего коня в порядок.

Солнце уже опустилось за гору. Потянул ветерок. Сиверин в мокром начал зябнуть. Он отжал одежду и слил воду из сапога. Второго не было. Очень захотелось закурить.

Сзади подъехал Колька Милосердов.

– Ни хре-на ты его, – сказал он.

Сиверин смотал чумбур и приторочил, и Милосердов увидел его лицо.

– Ни хре-на он тебя, – сказал он.

– Езжай. Я скоро, – Сиверин отвязал повод. – Закурить дай.

Милосердов стянул телогрейку.

– В кармане. Надень. – Помедлил. – Сапог потерял? – спросил, отъезжая.

– Рядом. Подберу.

Сиверин надел нагретую телогрейку на голое тело и застегнул до горла. Покурил, вдыхая одну затяжку на другую; потеплело; переждал головокружение.

– Поехали, что ли, ирод хренов, – сказал он коню. Мокрые куртку и рубашку приторочил сзади, подсунув между седлом и потником (сейчас, когда сам был в теплой сухой телогрейке, нехорошо показалось вроде как-то класть мокрое и холодное коню на спину).

Ехали шагом. Сапог нашелся недалеко. Смеркалось быстро. Огоньки Юстыда показались из-за горы.

– Послезавтра скот получим, – сказал Сиверин. – Потом спокойно попасем его здесь дней несколько, пока стрижка очередь подойдет. Потом стрижка дня два. Отдыхать будешь, – он нагнулся, выпуская дым коню в гриву. – А там и тронемся. До Кош-Агача по ровну пойдем, спокойно. А там горы, там уж крутиться придется. Но ничо... Дойдем до Сок-Ярыка, там Колокольный Бом, Барбыш, – и легче будет, ровней, и пониже, теплей будет. Деревни уже пойдут. И притопаем с тобой помаленьку в Бийск, на остров придем. А там уж тебе – в табун,

до самого будущего лета. Пасись, отдыхай, кобыл делай, – он вспомнил, гмыкнул, вздохнул. – Мда... Кобылы-то тебе, брат, уже без надобности. Что же... Гадство, в общем. Ничо... Жизнь все же, отдых... Можно жить-то... А я, – новую закурил, – сдадим скот на мясокомбинат, расчет получим, рублей тысяча или больше даже, если хорошо дойдем, без потерь. Не потеряем... Пасти хорошо будем – гор много, трава есть, только по уму и не лениться. Привес дадим, премия. Расчет получу, книжку трудовую выпишут. Документы выпишут в милиции, все путем будет. Документы, деньги, трудовая... поеду, наверно, в Иваново, к Сашке Крепковскому, он звал, примет. На работу постоянную устраюсь. И нормальная у нас, брат, жизнь с тобой пойдет, понял?... А что отволохал тебя – не сердчай. И ты меня сделал в порядке. Можно сказать, квиты. Что ж – работать ведь надо. Ведь сам понял. Дурить не надо. Что дурить... Понимать надо. Я-т тоже всяко повидал...

Под навесом в слабом свете ламп стригали работали на столах, стрекотали машинки, овцы толкались массой. Привязанные кони паслись внизу у ручья. В волейбол, полуразличая мяч, с площадки стучали.

За воротами попался парнишка в шляпе, бросавший давеча аркан.

– Эка он тебя... Объездил?

– Есть. – Сиверин слез.

– Дай-ка, – алтаец нагло-хозяйски завладел конем. Умело пустил рысью, тут же вздыбил, развернул, толкнул в галоп, покрутил.

– Не, барахло конь, – пренебрежительно передал. – Рыси нет. Трясет сильно. Шаг короткий, – скалился улыбочиво – а не шутил.

– Дойду на нем, – отрезал Сиверин.

– Конечно, не думай, – смягчился алтаец. – Свежий так-то конь. Тебе быстро не надо. Гнать надо, пасти, чо...

От коновязи Сиверин понес седло на плече, брэнча стремянами и пряжками подпруг, к палатке.

– Жив? – спросил Третьяк. – Ухайдокал он тебя. Но сделал, молодец.

Сиверин заострил полено под кол и с топором пошел обратно.

– На тушенку его, точно, – засмеялись из темноты.

– Са-ам до мясокомбината дойдет, – сказал второй голос.

У ручья конь заторопился и стал пить, звучно екая, отфыркивая и переводя дух. Сиверин опустился на колени рядом, со стороны течения, и тоже долго пил. От студеной воды глотка немела и выступило на глазах.

Прикинув место получше, он вбил топором кол, привязал чумбур и снял с коня уздечку. Конь отошел на шаг и жадно захрумкал траву.

Постояв, куря и глядя, Сиверин помочился, и конь тоже пустил струю.

– Мы с тобой договоримся, паря... – улыбнулся невольно.

Заставил себя сдвинуться, в ручье осторожно обмыл мылом незнакомое на ощупь лицо. Левое запястье сильно распухло и болело.

Конь пасся, и Сиверин отправился на кухню.

Повар Володя с Толиком-Ковбоем и веттехником шлепали в карты. Они оборотились и зацокали, качая головами.

– Кушать хочешь?

– Жидкого бы. – Не хотелось есть.

Выхлебал миску теплого супа. Володя отрезал хлеба – из своих, видать, запасов, так-то сухари давали.

– Ты хоть страховался? – спросил веттехник.

– Э... Никто не боится, – сказал Толик-Ковбой.

У палатки Третьяк и Колька Милосердов на костерке из щепок и кизяков варили чифир в кружке, прикрутив проволочную ручку. Когда вода вскипела, Колька высыпал сверху пачку чаю, помешал щепочкой, чтоб напиталось и осело, и, держа брезентовой рабочей рукавицей, пристроил над огнем. Гуща поднялась, выгибаясь, пузырящаяся пена полезла из разломов; Колька снял с огня и накрыл другой кружкой, чтоб запарился.

– На-ка, хватани, – протянул Третьяк.

Сиверин закурил, подув отхлебнул и передал Кольке.

Стригали уже кончили работу, там было темно. Еще несколько костерков горели среди палаток.

– По всему Уймону сейчас костерки наши... – пустился в задумчивость Третьяк. – Тыща километров, почитай, по горам; кто эти километры мерил... Где несколько километров ходу, где боле тридцати. Чик-Атаман в снегу уж, поди, под ним в снегу стоят. Дежурят у костерков. Чай варят, скот смотрят. Утром – ломать лагерь, седлаться – погнажи. Как-то дойдем?..

– А сверху б глянуть, – запредставлял Милосердов. – Вот спутник от нас видно, когда запускают, с него видать можно, конешно. Ночь, понял, темно – и только костры наши щепочкой до Бийска, – он головой даже закрутил от впечатления. – Это сколько же... – стал считать: – восемь связок ушло, по три гурта, первые три – по четыре пошли, это... двадцать семь костров.

– Да косари от Тюнгурса и дальше, – прибавил Третьяк. – Да колхозный, цыгане пасут...

Чифир уменьшил притупленность чувств. Следы дня давали знать себя все сильнее; Сиверин старался не шевелиться. Колька заварил вторяк. Он без надобности поправил на шее монету в пять монго, где всадник с арканом скакал за солнцем.

– Коня ничо ты сделал, – подпустил он сдержанное мужски-лестное уважение.

– Эх, мучений-то сколько. – сказал Третьяк. – Ну, теперь он тебя признал.

– Монгол, – рассудил Милосердов. – Ты его по Уймону не жалеи. Нам – дойти только.

А там все одно – на мясокомбинат.

– Что – на мясокомбинат? – не понял Сиверин.

– На тушенку, – с каким-то весельем предвкусил Третьяк.

– Чего это?

– Так монгол же, – объяснил Милосердов. – Они нам что поставляют – это мы по фактурам на комбинат сдаем. На тушенку пойдет.

– Своим ходом, – добавил Третьяк.

– Так что отыграется ему твоя шкура, – посмеялись.

– Так он чо, не в табун пойдет? – все пытался уразуметь Сиверин.

– Нет конечно. В табуне скотоимпортские. А это – монгол, по фактуре принят. Да чо те, – все равно только дойти. На-ка, хватани!..

Сиверин ощутил, как он устал. «Раскатись оно все...»

– Устал ты сегодня, – ласково сказал Третьяк. – Пошли отдыхать, ребятки.

Лежа рядом на кочке под одеялом, закурили перед сном. В затычках выделялись красноватого лица и низкий тент.

– А-ахх... – поворочался Третьяк. – Ты не жалеи...

– Да я такого зверя в рот и уши, – сказал Милосердов. – Может, Юрка-конюх заместо него другого сдас, похуже, – предположил, помолчав.

– Может, – согласился Третьяк. – Клеймо только...

– Кто смотрит? Переклеймит... Да он с Яшкой грызться будет, – не станет.

– Это точно... Яшка у него табун держит.

Все отходило, тасовалось... «сам убью...» – поплыло неотчетливо... Сиверин понял, что засыпает, загасил окурок сбоку кочмы о землю и натянул одеяло на голову.

Чужие беды

Близился полдень, и редкие прохожие спасались в тени. Море блестело за крышами дальних домов, а здесь, в городе, набирали жар белые камни улиц.

Базарное утро кончалось. Оглушенные курортницы слонялись в чаду шашлыков среди яблок и рыбы.

Резал баян.

Безногий баянист в тельнике набирал неловкую дань у ворот.

Один оглядел калеку, пожал плечами. Выходя с горстью тыквенных семечек, сплевывая в пыль их бледные облатки, опустил в черную кепку червонец.

– Вот... – растрогался баянист. – Спасибо, браток!..

Человек стоял, чуждый жаре, сухощавый, в светлом с иголки костюме и ярком галстуке.

– Из моряков сам?

– Нет. Сделай «Ванинский порт».

...Он вернулся с коньяком. Подстелив газетку, сел рядом. Инвалид достал из кошелки стакан и четыре абрикоса.

– Прими-ка.

Выпил с чувством, глаза прикрыв: «Эх, дороги!..» – рванул.

Человек слушал: «Амурские волны», «В лесу прифронтовом».

– Сделай еще что-нибудь. «Таганку» можешь?

Отмерили еще.

Рукопожатие заклешили:

– Виктор.

– Гена. «Виктор»... победитель, значит... – пояснил. – Топчи землю крепче, победитель! – принял.

– В точку, – налил себе ровно:

– Чтоб руки не подвели, верно?

– Руки-то служат покуда, – баянист сплюнул, закурил. – Ты сам-то командировочный, или отдыхаешь здесь?

– Командировочный.

– А специальность какая?

– Специальность? Научный сотрудник. Биолог.

– Из Москвы?

– Из Харькова, – улыбнулся легко.

Звякнул в кепку гривенник.

– А вот скажи мне, Виктор, такую вещь: ты с большим образованием человек, ученый, а вот пьешь со мной, сел рядом?

– Да захотелось.

Гена пересыпал мелочь в мешочек, оставив в кепке несколько монет.

– И много выходит?

– До червонца и больше.

– Куда тебе – пьешь?

– Мне для дела... – наставительно.

– Какого дела?.. – плеснул остаток.

Коньяк был крепок, да крепко жгло солнце, человек молчалив без жалости, и Гена скоро поведал свою историю, где была деревня на севере, красавица жена, новороссийский десант и много тяжких раздумий.

Человек посоображал.

– Бабе, значит, отсылаешь?

– Жене, Витек, жене.

Витек посвистал.

– Хочешь слово? – дуй к ней.

– Неправильно. Обрубок... Я ж, Витек, первый парень был: работник, гармонист, чуб в золоте... Анька из всех самая. Поначалу-то... Позору – девки завидовали...

– Ну так!..

– Со стороны... а в доме калека – обуза скорая. Ждать-то – иначе в представлении. Да более двадцати прошло – что ждать...

Он установил баян: «Эх, дороги...»

– А может, думает, сошелся я с кем. Так тогда не посылал бы... Хотя и из разных городов с людьми – чует поди... А что я могу...

Человек следил движение чаек над бухтой.

– Покой души за деньги имеешь?.. – спросил он.

– Не имею, – сказал безногий. – И обиды моей тебе не достичь, хоть поил ты меня. – И вынув из кошелки заткнутую бутылку, налил молодого вина.

– Обида... – Человек пожал плечами, выпив. – Не люблю просто, когда бздят.

– Бздят, – прошептал безногий...

В молчании и зное, в охмелении, глаза его навелись в свою даль.

– Вот ты скажи, Витек, ты ж образованный, – заговорил себе тихо и быстро, – отчего ж запутанно все так... Ах, браток, как запутанно-то оно все! Получается вот: верность там, любовь, навязываться не желает – благородно выходит... по совести же вроде... И так оно! – да только это разве... Если б я, конечно, к ней сразу поехал. Так ведь думал же все, как тут не думать... дни и ночи все думал. Извелся; решусь, думаю, успокоюсь, – напишу тогда все, да и двину. А пока-то ничего не писал. Играть вот как-то пока сам стал. Деньги стали, значит – я ей-то деньги и послал пока; себя ни фамилии, ничего не указал. Молчал столько – так теперь подкоплю, сообщу все сразу, и поеду. Сам колеблюсь, конечно, иногда сомневаюсь... но все же думаю: поеду; успокаиваюсь в решении этом, привычная мысль становится, что все же поеду. Деньги пока еще послал. И вместе с мыслью этой привычной – время-то идет! – и жизнь моя мне привычная становится! Время-то идет! а я все откладываю – и привыкаю! Привыкаю!.. Да ехать же надо, подумаю! уж какой есть, нешто не примет? еще слезами умоется в счастье, что живой, да вернулся. Руки у меня хваткие, соображение тоже имеется, – прокормимся. А то – как представлю жизнь эту жалостливую, – да хрен ли мне в этом, думаю... А сам это время все больше привыкаю!.. Деньги есть легкие, в обед выпил, утром похмелился, – душа наша матросская, когда мы сдавались! Так что я?.. работать уж и забыл, выпить есть с кем... подумаешь когда: а нравится ведь жизнь-то такая... вот страшно что – нравится! Щемит только: она-то ждет там, мучится... а самому-то и приятно в то же время, что вот ждет она и мучится... и жутко даже от того, что приятно это... Хотя бы, думаю когда, разыскала как-то сама, увезла бы! – а ведь упирался бы еще, и благодарен был бы до гроба – а и куражился... И что за черт такой сидит – представишь, что делает она тебе как сам же хочешь – и что-то в душе сопротивляется! И себя жалко – и ненавидишь порой, и ее жалко – и тоже ненавидишь, что есть она на свете, любит еще поди, и опутана, связана душа любовью ее этой. Хотя бы, мечтаешь, был ты один-одинешенек на свете, и всем-то наплевать, и ни перед кем ответа держать не надо; вот душа-то свободна как птица была бы, вот было бы счастье-то! Да хоть бы, думаю когда, померла она, мне все легче стало бы; грустил бы в думах, и покой был бы душе, и облегчение. Хотя бы забыла меня совсем, совсем! А представишь так – и тоска-злоба наваливается: хочешь ведь, чтоб мучилась она по тебе – а сам же жизнь отдать готов, только б мучений ее этих не было! Как же это так человек-то устроен?.. Иногда кажется – все же я правильно, хорошо решил.

Может, вышла она давно за хорошего человека, дети уж большие; на ней глаз многие держали. Счастья иногда просишь ей и плачешь... А зачем тогда я посылаю-то ей? Я здесь, как собака, а она поплакала да забыла? – ну нет... злоба берет!.. А и обратно – ведь прожила б уж она как-то без денег моих, – зачем же я душу-то ей рву, о себе напоминаю?.. Да что ж теперь... свылся со всем, свылся. Это все поначалу больше... а дальше все по привычке становится. У меня ведь и кореша есть, и бабы тоже бывают; жизнь – она ведь у всякого жизнь. И только хочется все же, наверное, чтоб уверилась она, что нет уж меня давно на белом свете... чтоб успокоилась бы душа ее, – и моей бы тогда спокойней было.

Он высморкался, вина выглотал, закурил...

– Такую услугу я тебе могу оказать, – помолчав, сказал человек.

– Ты чё?

– Буду скоро в тех краях.

Гена поморгал:

– Да тебе что ж за охота?..

На пустеющих прилавках собирали непроданное и пересчитывали выручку. Движение почти прекратилось с сетками и пляжными сумками.

– Говори – хочешь?

– Ты всерьез что ли?..

– Сделаю я тебе. Точку поставлю – и определенность. Будет покой тебе, и ей будет.

– Покой... Одна в жизни точка, – поделился Гена из своих истин, – остальное запятые все.

Тот угол рта скривил.

* * *

Из мягкого вагона он сошел на перрон северного городка в последних числах августа – в белом югославском плаще, со вкусно поскрипывающим польским чемоданом.

Позавтракал в кафе на пустыре центральной площади.

– Не поеду, – отрезал таксист.

– Пять.

– На перевал не вытяну.

– Семь.

– И обратно пустым.

– Червонец.

Разъезженная «Волга», верно, еле тянула подъем. Сосны на сопках уходили теряющими цвет волнами – от табачно-зеленого к сизому вдаль. Сойки кричали. Желтая морошка крапила мхи.

С перевала открылся серый в блестках залив. Песчаные островки лучились соснами.

Шофер опустил козырек от солнца.

– Красиво, – сказал Виктор.

Шофер жевал папиросу.

Остановились в деревне у мостика. Соломинки неслись в ручье. Коза косила ясным глазом. Велосипед косо катил под стриженным мальчишкой.

Виктор остановил его за руль.

– Прасол, где живет Анна Емельяновна?

– Вон, в третьем доме, – насупясь, мальчишка дергал велосипед.

– Проводи-ка.

– Она, наверно, на ферме.

– Посмотрим.

– Меня мамка послала, дяденька, – угрюмо сказал мальчишка.

Виктор наградил его полтинником.
В калитку мальчишка треснул ногой.
– Тетя Аня-а! Тетя Аня! Спрашивают вас тут...
Женщина вышла, вытирая руки в передник.
– Здравствуйте, Анна Емельяновна.
– Здравствуйте...
– Меня зовут Гурча, Виктор Сергеевич.
– Вы проходите, проходите, – заторопилась она.
В комнате («Простите, прибиралась я...») сели...
Юнолицей Гена с заглаженным чубом был ответственно-суров на фотографии над кроватью с тремя подушками горкой.
Виктор Сергеевич выставил на скатерть бутылку вина.
Напряженно читая его взгляд, она стала механическими движениями собирать на стол.
– Много лет все думал приехать к вам...
– А... – она сглотнула. – Устали, поди, с дороги...
– Вы садьте.
Она подчинилась в отчаянии.
Он налил стопки, посмотрел ей в глаза, на фотографию, вздохнул и кивнул коротко...
– Гена, – сказала женщина и упала головой на стол.
Она прихлебывала воду и аккуратно промокнула тряпочкой мокрое пятно на скатерти.
Виктор Сергеевич загасил папиросу, встал со стопкой:
– Светлая его память...
Спокойная слеза затихла на ее подбородке и упала.
Он помолчал, кашлянул для разговора.
– Вы расскажите, – произнесла Анна Емельяновна, тоскуя и томясь.
Он заговорил с паузами, затягиваясь глубоко, припуская веки.
– ...и когда зашел на катер второй раз пикировщик, – дошел он, – раненые, лежим рядом... И дали мы с ним тогда слово друг другу, – крепко выделил, – матросское фронтовое слово дали: живой кто останется – не забудет другого и волю его последнюю исполнит.
Рассказ его был краток.
Женщина слушала с обескровленным неподвижным лицом.
– Вы ешьте, – сказала она и вышла.
Он выпил и закусил.
Кот приблизился, потерся в ноги. Он поднял его за шкуру.
– Вот так, – сказал он коту и подул на него.
Женщина вернулась с сухими глазами.
– Не верю я вам, – сказала она. – Неправда это все. Я ведь чувствую. Он специально прислал вас. Где он?
Ах ты черт. Ай да баба! Знал Гена, кого выбрать.
Виктор Сергеевич покачал головой.
– Милая Анна Емельяновна... Правда. Я работаю в Коломне, представителем завода по эксплуатации электровозов, – мягко объяснил. – Получаю много, все время в командировках, – вот и посылал иногда.
– Да зачем же, зачем!.. Лучше б вы не приезжали.
Ветер отдувал занавеску.
– Простите меня... – проговорила она наконец.
– Ничего.

– Нет, вы простите. Да и... я ведь вам всю жизнь обязана. Не отблагодарить. А сказали вы правду. Я знаю, правду. Да только... Ведь ждала. Двадцать два годочка все ждала. Жила этим. И теперь уж не перестану ждать, сколько осталось мне. Знаю, – а не могу не ждать.

– ...Мы за то воевали, чтоб жизнь была счастливая.

– И деточек у нас не было...

– У меня тоже нет детей.

– Вы что же, не женаты?

– Женат.

Он не спеша шел с папироской по дороге, перекидывая с руки на руку легкий чемодан.

– Удружил, – усмехался. – А хрен его знает. Два дня поревет, а там привыкнет – легче станет. Полная определенность. Крути не крути, раз все ясно – точка. Полбанки с тебя, Гена.

Собирал малину с придорожных кустов. Спустился к заливу. Раздевшись, вошел в жгучую воду, отмахал туда-обратно. Ухая, растерся – поджарый, в отметицах.

Попутная машина подкинула его до города.

– Опять к нам? – улыбнулась официантка в кафе.

– Моя славная, – подмигнул. – Два бифштекса, бутылку «три звездочки» и плитку шоколада.

Когда принесла, шоколад пододвинул ей.

– Спасибо, – мотнула она завитушками.

– После работы свободна?

– А быстрый вы.

– Быстрый, – подтвердил он.

Он сидел до закрытия, слушал музыку, еще заказывал: угощал соседей.

– Анечка, будешь ждать меня двадцать два годочка? – в сгустившемся гомоне подсек официантку. Она сделала глазки:

– Пьете вы много.

– Ничего, – сказал он. – Я умею.

– Это вы все умеете.

Из погасшего кафе они вышли под руку в половине первого.

Их ждали.

– Что, – весело оскалил Гурча золотые зубы, – поговорить надо?

– Догадливый, – порадовался передний, столб.

– Разойдемся миром, ребята, – сказал Гурча.

– Конечно разойдемся. Морду тебе набью и разойдемся, ты не бойсь. А с тобой, Анька, разговор отдельно, шкура дешевая.

– Те-те-те, – процокал Гурча и ударил правой. Столб согнулся и лег на землю.

– С дороги!

Трое насели разом в беспорядочном махании. Он отпрыгнул к витрине. Плюнул в лицо – лягнул в пах – один скорчился под ногами.

– Калечить буду... – прорычал Гурча.

Длинный вставал. Слева кряжистый нацелил мощный кулак – он уклонился – загремела обсыпаясь витрина – отскочил.

– Все, падла... – длинный достал нож. Четвертый, придвигаясь, пристраивал на руке кастет.

Гурча качнулся влево-вправо согнувшись, вскрикнув прыгнул вбок, пятерней ткнув ему в глаза.

Милицейский свисток рассверлил слух и придвигался быстрый топот. Гурча побежал вдоль стены к черному проходу между домами, но брошенный с шести шагов вдогонку самодельный литой кастет попал ему в затылок, и он с маху распластался на асфальте, раскинув

полы белого плаща, подломив под себя левую руку и выбросив вперед правую с золотым перстнем на мизинце.

Ночью сидел в камере на нарах, осторожно трогал разбитый затылок. Зло затягивался добытым чинариком.

«Так сгореть, – шурился, аж скулы сводило в презрении... – Подрывать отсюда, пока не расчихали. Запросы, идентификация, тра-та-та, мотай чалму: семь отсидки, да три за побег, да здесь доведут. Пришить-то ничего не сумеют – вот уж шиш, чисто все; мало и так не будет. Эть твою, не было печали. Ну как сопляк, как фраеришка. И за каким хреном? Не-ет, подрывать отсюда».

Поживем – увидим

Затвор лязгнул. Последний снаряд. Танк в ста метрах. Жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие – в нижний срез башни. Рев шестисотильного мотора. Пыль дрожью по броне. Пятьдесят тонн. Пересверк траков. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Пора! Удар рукой по спуску.

Прет.

Все.

А-А-А-А!

Скрежеща опустился искореженный пресс небосвода – белый взрыв, дальний звон: мука раздавливания оборвалась бесконечным падением.

– Жора! Жора, милый, ну... – Георгий Михайлович напрягся и заставил глаза открыться. По мере того, как лихорадка еженощного кошмара замирала, сознание начинало выделять ощущения: тикал будильник в темноте... Жена еще подула ему в лицо, погладила, отирая пот со лба и шеи; сев, стянула рубашку, прижалась к нему в тепле постели...

Подводный цвет уличных фонарей проникал в окно – большое, во всю стену, как витрина. Что-то беспокоящее было в этом свете.

Очень большое окно...

И черные бархатные занавеси – были ли?

Свет – мутный, зелено-лимонный – стал уже ярок! что за свет?!

Мышцы обессилели в сыром и горячем внутреннем гуле. Спеленутое ужасом тело не повиновалось. Закостенела гортань. В смертной тоске Георгий Михайлович издал жалобный стон...

...И проснулся окончательно.

Зажег настольную лампу.

Фотография жены на ночном столике.

Закурил.

Усмехнулся криво.

Ныла раненая нога (тот бой). Должно быть, к оттепели. Зима, зима... Луна висела на небе, как медаль на груди мертвеца. И лишь изредка предутренняя тишина нарушалась шумом проезжавших по улицам такси.

В пять часов Георгий Михайлович встал, накинул халат и тихонько, чтоб не разбудить соседей, понес на кухню чайник. Метнулся в щель одинокий таракан; натужно закашлял в своей комнате астматик Павел Петрович.

Пока закипал чайник, Георгий Михайлович пожал плечами и выкурил еще одну сигарету, мурлыча себе под нос крутой мат солдатской песенки.

Чайник зашумел уютно и дружелюбно, как какое-нибудь домашнее животное. В сущности, надо б было купить термос, но с чайником как-то веселее.

Будильник в комнате показывал уже четверть шестого. Георгий Михайлович заварил чай, сдвинув на край стола стопку проверенных вечером сочинений 9-го «Б»: «Образ Печорина». (Класс обнадеживал похвальным количеством споров; содранных с учебника и стандартно-убогих отписок насчитывалось лишь восемь из двадцати девяти – и столько же двоек, за чем следовало ждать незамедлительного брюзжания начальства. В основном же 9-й «Б», мимолетно отсоболезновав «трагедии лишнего человека», «жертве эпохи», Печорина тем не менее категорически хаял за «ужасный эгоизм», «сплошной вред» и «вообще за подлость»; даже «безусловная его храбрость» им не импонировала. Самостоятельность суждений Георгий Михайлович всячески поощрял (даже провоцировал) и, сознавая предел постижения шестнадцатилетним народом 9-го «Б» противоречивости бытия, к их точке зрения на многострадального эгоиста относился одобрительно – хотя, нельзя отрицать, это несколько расходилось с тем, что им полагалось думать по программе.)

Книги равнялись в самодельном, до потолка, стеллаже, как солдаты на плацу (Георгий Михайлович прощал себе единственно слабость к мысленным военным сравнениям). Он поводил рукой по корешкам, вытащил том Марка Аврелия, раскрыл наугад и стал читать, устроившись поудобнее в кресле. Кресло было старое, из потемневшего дуба; потертая кожаная обивка давно утратила первоначальный вишневый цвет.

Георгий Михайлович читал, курил, прихлебывал крепкий чай, и постепенно запах легкого болгарского табака и свежесваренного чая смешался со специфическим запахом старых книг и деревянной дряхлеющей мебели, и добрая в своем суровом спокойствии и приятии жизни логика римлянина накладывалась на привычную эту гамму утренних запахов, и Георгий Михайлович почувствовал, как возвращается к нему обычное тяжелое равновесие после обычного тяжелого пробуждения.

Без двадцати семь, как всегда, зазвонил будильник, ненужно и жестко. Насмешливо скопился Георгий Михайлович на то место, где положено помещаться сердцу, отпил полстакана настойки валерианового корня (знакомый врач утверждал, что это лучше капель). Взялся за гантели, презрительно поджав губу. Позанимавшись пятнадцать минут, с ненавистью прислушался к сердцу и надел боксерские «блинчики». Провел раунд с висевшим в углу мешком и раунд с тенью, привлекая раненую ногу, сопя в такт ударам (посуда в серванте позвякивала).

И когда после холодного секущего душа причесывал в ванной остатки шевелюры и скоблился старой золингеновской бритвой, зеркало отражало бледное, но собранное лицо, энергичный рот и рыжие, равнодушные с издевочкой глаза – как тому и следовало быть.

Стакан вымыт, со стола убрано, пол подметен, галстук завязан на свежей сорочке небрежно. Все? – все! – поехали.

Крыши синели выпавшим с вечера снежком, а внизу, под ногами, брызгала размешанная грязь тротуаров, которые дворники посыпали солью. Как жук с широко расставленными желтыми глазами полз-летел трамвай, перемигнувшись в темной траншее улицы с зеленым огоньком светофора. Ожидающие, топчась перед стартом, ринулись плотно.

Школа горела казенными рядами всех окон трех своих типовых этажей. Разнокалиберные фигурки вымагничивались из темноты в дымящийся дыханием подъезд. Ежедневная премьера.

«Здравствуйте, Георгий Михайлович», – среди ладов и голосов. Здравствуем, здравствуем, куда мы денемся; спасибо, ребятки, и вам того же.

Преподавательский гардероб – дамский кружок: восхищение прослоено шипящими нотками – Софья Аркадьевна с простодушием молодости демонстрирует очередной «скромный деловой костюм». Софья Аркадьевна «заигрывает с учениками», «ищет дешевого авторитета» (небезуспешно). Софью Аркадьевну не любят – раз в неделю в учительской она плачет

в углу за шкафом. Высокая успеваемость, дисциплина на уроках и университетский диплом усугубляют ее вину.

Учительская: некое сгущение энергии начала дня. Подкрашивают губы, поправляют чулок (что скажешь... остается отвернуться). Вера Антоновна (химия) строчит за неудобным журнальным столиком план урока (втык последней инспекции роно). Мнение и новости – зеленый горошек, «Иностранная литература», больничный, колготки, детский сад. Канцелярская чистота – фикус отражается в паркете; на шкафу глобус, которым никто не пользуется: в солнечные дни фикус затеняет его, и чем-то это симпатично при всей наивности подобной символики.

Две проблемы: как воспитать учеников интеллигентными людьми – общаясь с тридцатью за раз трижды в неделю (и программа! программа!), – и как ладить с немолодым женским коллективом... Второе проще: Георгий Михайлович предпочитал общаться только с другим мужчиной – математиком. Математик Георгию Михайловичу нравился. Математик имел: тридцать лет от роду, тридцать часов нагрузки, любовь к математике, нелюбовь к методике, жизнерадостный характер и соответствующую ему коллекцию галстуков тропических расцветок. Ну, а первое, естественно, требовало постоянных поисков конкретных рецензий.

Звонки загрохотали как к страшному суду: казалось, мозги трескаются, резонируя сокрушительной вибрацией. Латунный, медный, бронзовый школьный колокольчик-звонок – увы, подверстан уже к гусиным перьям и свечам.

Полка с классными журналами пустеет.

Стихает гомон. 10-й «А» встречает напряженно. 10-й «А» думать не желает. 10-й «А» желает поступить в институты. Рослые, взрослые – покуда не являют себя в удручающих речах... Если в чем и проявляется юношеский негативизм – то только не в критическом усвоении материала. Согласны со всем и на все – только бы не иметь неприятностей. Или наоборот – рано умнеют?.. И то – не мы ли виноваты, вбивая «правильность». Но четыре года вел! Куда сквозь них все проваливается? Сам дурак – пора понять, привыкнуть.

– Можно войти? – ясный румянец, каштановая грива, достойная сокрушенность в позе – Костя Рябов. (Тон легкий – четверка на прошлом уроке.)

– Разумеется, уж коли сломались будильник, дверь и трамвай! Садись.

Тишина перед опросом – ну как перед атакой. Только лампы дневного света гудят, подрагивают в черных окнах.

– Рябов! – (вот так физиономия!..).

– Й-я?..

– Как вчера сыграл «Спартак» со СКА? – (это тебе уж в наказаньице).

– Ш-шесть – два.

– Спасибо. Последняя цифра, кстати, какая-то неприятная, ты не находишь? Садись, садись.

С трагическим видом простукала дорогими сапожками к столу Лидочка Артемьева; оглядела пространство, облизала губки...

– Лида, мне представляется, что сама Мария Стюарт не смогла бы взойти на эшафот с большим самообладанием. Гарявин, кто такая Мария Стюарт? Напрасно – читать Цвейга сейчас модно. А кто такой Брабендер? Видите! а ведь баскетбол сейчас менее моден. Лида! Не бойтесь ничего и отвечайте честно и прямо – вам, лично вам, нравится Ларра?

– Вообще... да...

– Еще бы нет! Герой! Ситуация: обычная девушка ваших лет встречает такого героя. Вопрос: будут ли они счастливы?

Чем-то мне моя работа напоминает реанимацию, подумал Георгий Михайлович. Расшевелишь – живут, три дня прошло – пш-ш-ш, глаза стекленеют.

Лидочка с честной натугой предъявила собственных мыслей на четыре балла. Очевидные резоны Георгия Михайловича души ее явно не задели, и она удалилась на свое место походкой, приблизительно изображающей: встретиться мне такой, и все будет замечательно, а прозу мы презрим.

Обстоятельный Шорников, помаргивая и хмурясь, деловито раскритиковал старуху Изергиль. Переведя его занудство из плана «литературного» в «жизненный», удалось выяснить, что лично его, Шорникова, не устраивает в старухе способность утешаться, не храня верность единственному до гроба.

– А Наташа Ростова?

Походя перепало и Наташе.

Сторонник верности до гроба обнаружил некоторые убеждения на этот счет и даже известные способности их оборонять, и пять баллов заслужил. И пусть думает так подольше, не повредит.

Захлебывание фанфар и барабанный треск: Таня Лекарева пропела дифирамб Данко. Пришлось напомнить концовочку с отгоревшим сердцем, на которое наступили ногой, гася искорки – как бы чего не вышло. Забуксовала...

– Стоило ли ради таких жертвовать собой?

– Не стоило...

– Прискорбный вывод. Значит, все сказанное тобой неверно?

– Верно...

– То есть он все-таки совершил добро?

– Да...

«Книжки – книжками, жизнь – жизнью». Хотя пять процентов – но усвоите для себя, а не для аттестата. Ничего, вы теперь у меня над «Челкашем» поломаете голову; на гуманизме из учебника не выедете, я вам задам китайскую задачу о цели и средствах. Любители готового... ну так сами и рвутся в бараны!..

После второго урока (5-й «А», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») – окно. Георгий Михайлович взял полистать в библиотеке методическое пособие, что вообще делал редко. Обложка была захватана до бархатистой ветхости. А листы – белые, пустые, как пачка салфеток. Впрочем, Георгий Михайлович не удивился.

В учительской холодно. Ну еще бы, свежий воздух важнее всего. Георгий Михайлович начал раздражаться. Не успел закурить – техничка.

– Директор запретил курить в учительской. Ну вы же знаете. И на паркет сорите.

Все разумно, чулки поправлять можно, курить нельзя. В туалете мне курить? Да хоть бы зима эта поскорее кончилась!..

– Вот и мой тоже курил все, дымил... – мирно бурчала себе под нос техничка, смахивая с паркета воображаемый пепел... Реальный пепел лежал в кулечке, кулечек же Георгий Михайлович держал в руке.

А дальше день, приняв обычный разгон, пошел накатом. Ежедневная аналогия жизненного цикла: долги обилием деталей и оттенков утренние часы подъема в гору – но вот где-то за плотной белесо-сумрачной пеленой солнце переваливает вершину, и сливаются в убыстряющемся спуске спицы часовых стрелок в колесах времени.

После урока вызвал к себе директор. Назначили его в прошлом году; со старым-то они ладили.

– Георгий Михайлович, – начал мягко (с превосходством!), – четверть едва в начале, а у вас успела вырисоваться совершенно неудовлетворительная картина успеваемости...

– Сегодня еще пять двоек, – угрюмо отсек Георгий Михайлович. Тема была бесперспективной.

– Учитывая ваш педагогический стаж, могу сделать единственное заключение – вы проявляете решительное, непонятное мне нежелание считаться с реальным положением вещей...

Как может человек ходить в таких брюках? Как мятый мешок. У него ведь жена есть. Семья, как говорится, дети. Последние слова его Георгий Михайлович воспринял в свою пользу, ухмыльнулся. И ухмылка была истолкована не в его пользу, задела.

– А ваши самоуправные эксперименты с программой?! – директор обладал хорошо поставленным голосом, и сейчас этот голос взвился и щелкнул, как кнут.

...Кобура привычно оттягивала ремень. Бледнея, Георгий Михайлович рванул трофейный вальтер, взвешенной рукой направил в коричневый перхотный пиджак. Коротко продрожав, пистолет выхлестнул всю обойму, восемь дыр дымились на залосненном брюхе.

– А за это вы еще ответите, Георгий Михайлович. – Директор сел, звякнул графином, отпил воды из стакана. – Вы проявляете решительное, непонятное мне нежелание срабатываться с коллективом. И не исключено, что на месткоме встанет вопрос о вашем пребывании в школе. Тем более что литераторов, как вам, должно быть, известно, в Ленинграде хватает.

С четырех до пяти Георгий Михайлович медленно походил вдоль набережных. Побаливал желудок, по-солдатски борясь со столовским обедом, и Георгий Михайлович пожелал ему удачи.

Низкий калено-медный солнечный луч пробился со стороны Гавани, заиграл шпиль Адмиралтейства. Карапуз, гулявший с молодой румяной мамой, посмотрел на солнце, сморщился и чихнул. Мама улыбнулась, взглянув на Георгия Михайловича, и он тоже улыбнулся.

На белом поле Невы двое играли, дурачились, он догонял, девушка уворачивалась прямо из рук, и отсюда ощущалось ясно, как они раскраснелись и запыхались оба, и смеются, хотя лиц на таком расстоянии было не разобрать, да и голоса не долетали.

Георгий Михайлович подошел к сфинксу, снял перчатку, похлопал сфинкса по каменной заиндевшей лапе.

– Ну, как живешь? – спросил он.

– Да неважно, – сказал сфинкс. – Простудился что-то.

– Ничего, – утешил Георгий Михайлович. – Пройдет.

– Холодно тут, – пожаловался сфинкс. – Мерзну, знаешь. А ты как?

– Нормально, – отвечал Георгий Михайлович. – Не тужи, потеплеет. Ну, всего хорошего.

– Счастливо, – пожелал сфинкс. – Ты заходи.

Дома Георгий Михайлович отдохнул, прочистил забившуюся раковину на кухне, пожарил себе картошки, пообщался с соседкой – как все дорого, да-да, эта ужасная молодежь, – посмотрел третий период хоккея по телевизору. Поковырялся над пожелтевшей диссертацией – об использовании и развитии стиля Толстого Платоновым.

В одиннадцать послушал последние известия.

Подумал, вздохнул, пожал плечами, развел руками – принял две таблетки димедрола.

Заснул он быстро, как засыпают солдаты и дети. Как засыпали бы солдаты и дети, будь все устроено так, как должно бы, наверно, быть устроено.

...Затвор лязгнул. Последний снаряд. Танк в ста метрах. Жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие – в нижний срез башни. Рев шестисотильного мотора. Пыль дрожью по броне. Пятьдесят тонн. Пересверк траков. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Пора. Удар рукой по спуску.

Вспышка. Удар. Танк встал. Жирный дым. Пламя.

Георгий сел на станину. Трясущимися руками, просыпая махру, свернул самокрутку. Не было слюны, чтобы заклеить. С наслаждением закурил.

Колечко

1

– А и глаз на их семью радовался. И вежливые-то, обходительные: криков-ссор никогда, всё ладом – просто редкость...

И всё – вместе только. В отпуск хоть: поодиночке ни-ни, не водилось; только всё вместе. И почтительно так, мирно... загляденье.

Не пил он совсем. Конечно; культурные люди, врачи оба. Тем более он известный доктор был, хирург, к нему многие хотели, если операцию надо. Очень его любили все – простой был, негордый.

...Они еще в институте вместе учились. И уж все годы – такая вот любовь; всё вместе да вместе. На рынок в воскресенье – вместе; дочку в детский сад – вместе. Она с дежурства, значит, усталая, – он уж сам обед сготовит, прибрано все. Или ночью вызовут его – она спать и не думает, ждет. В командировках – звонит каждый день ей: как дела, не волнуйся.

К праздникам ко всем – друг дружке подарки: одно там, другое... а дочка та вовсе ходила как куколка, ясное дело. И уважительная тоже, воспитанная, встретит: «Здравствуйте, как вы себя чувствуете». Крохой еще – а тоже вот; воспитание. А постарше, и в институте: «Не нужно ли чего, не принести ли?..» Радость родителям – такие дети. Какие сами – такую и воспитали.

Услышишь поди, муж где жену бьет, гуляет она от него, дети там хулиганят... или врачи те же лечат плохо... а эти-то – вот они: и даже на душе хорошо. Ей-же слово.

Поживешь – может, плохого в жизни и больше. Как глядеть... А только, подумать, не в зимогорах ведь, – в таких людях главное. Они основа... настоящая...

2

– Сюсюканье это... смешно даже. Легкомысленность одна... Не обязательно же – попрыгуньи, стрекозлы; нет... легкомысленность неглубоких натур: как повернется – к тому душой и прилепятся. Растительная привязанность. Тут не постоянство чувств, тут скорее постоянное отсутствие подлинных чувств. Чеховские душечки. Старосветские помещики...

Он мне вообще никогда не нравился: ни рыба ни мясо. В компании пошутить – поддержит, погрусти – поддержит: сам – ничего. А она... смурная всегда была какая-то. Два раза прошлись, трах-бах!.. женились... Два притопа три прихлопа...

Не могу объяснить, вроде напраслины... но несерьезно это выглядело, как ах-любовь из плохого кино.

Ну конечно – он фронтовик был, с медалями, – так у нас половина ребят была после фронта. Конечно – четвертый курс, подавал надежды в хирургии, у девочки головка закружилась... много ли такой надо.

Вот друг у него был, Сашка Брянцев – душа парень: веселый, умница... вот бы кому жить да жить... Все опекал его, за собой таскал; тот на все его глазами смотрел.

А в этой – ну что увидеть мог; пустынькая фифочка с первого курса. Улыбнулась ему – и выиграло ретивое.

Нет, я лично их тогда не одобряла. Конечно, у каждой свои взгляды, каждому в жизни свое, но я лично для себя не о таком мечтала. Все-таки о настоящей, глубокой любви мы все мечтали...

И промечтались... некоторые... И наказаны за идеализм дурацкий свой. Засекается крючок, дева старая. И хоть бы ребенка родила, пока могла; дура тупая!..

Да все-то достоинство их – в примитивности характера, видно: хватайся за счастье какое подвернулось и держи крепче, и будь доволен; но уважать за это – увольте...

3

– И по прошествии двадцати пяти лет окончательно явствует, что парнишка-то нас всех обскакал. И ни-чего удивительного: этот с самого начала свое туго знал.

Начиная буквально с того, что поселился с Сашкой Брянцевым. Брянцев: с кем, кричит, комнату на пару? Этот – тут как тут; набился. Умел влезть. Стал Сашкиным лучшим другом. Сашка-то везде был центральной фигурой – и этот при нем. В любой компании – желанные гости. На практику – Брянцев любого обольстит, завладеет лучшим направлением – и его следом тащит. Конспекты – одни на двоих; причем тут Брянцев не переутруждался. Так тандемом они светилами и были. Но Брянцев-то скорее издавал свет, а этот-то – отражал. Спец по тихой сапе.

Спокоен, упорен, занимался много – это да. Это было. И расчетлив же, клянусь, – на удивление; законченный прагматик, чужд любым порывам.

Грешно говорить, но прикинь-ка. Вот погиб Брянцев, лучший его друг. Единственный даже. Опустим эмоциональную сторону – мы не вчера родились: тут и фронт сказывается, и вообще он эмоциями не перенаделен... не будем драматизировать. А чисто житейски – имеем следующие проблемы. Во-первых (не по значению, а в порядке возникновения), придется вдвое платить за жилье – а денег ох не густо; или пускать кого, малопрочно, друзей нет; или перебираться в общежитие, а среди года не дадут, и независимость не та, условий поменьше и для занятий – а долбил он зверски, – и для веселья – хотя на сей счет он не отличался. Во-вторых: через год грядет распределение, а преимущество в выборе предоставляется семейным с детьми до года; да и двадцать пять лет – возраст, жениться все равно когда-нибудь надо.

И выбирается заурядная девочка с первого курса: оптимальное решение. Раз: она его уважает и почитает: он взрослый, способный, умный, подающий надежды, герой-фронтовик, – авторитет в семье обеспечен; его слово – закон. Два: единственная дочь обеспеченных родителей, им подкидывают, в плане материальном он не отяготился, а наоборот. Три: она юна, восемнадцать лет, чиста, достаточно мила, хозяйственна вдобавок: суп в тарелке, девочка в постели, – удовлетворены и потребность в женщине, и тщеславие, и естественное желание нормального быта. Четыре: до распределения они рожают ребенка, и их оставляют в областной больнице. Масса вопросов – одним махом, а?

Пусть я циник, – факты не меняются.

Он идет на место хирурга, и становится дельным хирургом, – по справедливости отдадим должное. Хорошие руки, интуиция; и какая-то демонстративная надежность в характере... У него и научная работа, он и в общественники лезет, и речи толкает, и кандидатскую кропает, и с любым-то умеет поладить, и в результате он областной хирург, и на него очереди, и он кандидат, и депутат горсовета, и вообще непоследняя личность. Достать, устроить, – в момент.

Кто удачливей? Гера Журавлев доктор в Москве? В Москве докторов – куда ни плюнь, у Геры гараж в другом конце города, закручен как очумелый. А тут человек – на виду, при верхушке; не-ет, молоток.

И с женитьбой – суди: один ребенок – точка; обузы парень никогда не домогался. Тишь, гладь, спокойствие. Не имеет на стороне? чьи гарантии; у таких комар носу не подточит. И кроме – это и вряд ли увязывается с его идеалом хорошей жизни, и только. Благополучная карьера, благополучная личная жизнь. У таких ребят все путем. Реалисты, брат! Рассудочный брак – залог стабильности. Учись! – да поздновато нам...

4

– А куда ей было деваться? Несчастливая девчонка!.. Грехи наши...

Вот как это бывает в жизни.

Она любила Брянцева. Они решили о женитьбе.

Брянцева нашли утром в снегу, с пробитой головой. Послевоенный бандитизм...

Она осталась беременной.

И никто – никто ничего не знал!..

Девчонке восемнадцать лет. Она в помрачении от нереальности происходящего.

Аборты были запрещены.

Довериться? кому, как? чем поможет: сознаться в тайном, подсудное дело, огласка, позор!.. кошмар... жизни конец.

И ни единый – подозрений не положил. Примечали раз-другой ее с Брянцевым – его с кем ни видели: по нем полфакультета сохло... что особенного.

И воспитания девочка была. Позор пуще смерти мерещился.

Что делать!..

И ведь на занятия ходить надо! улыбаться, разговаривать, на вопросы отвечать! очереди занимать в столовой!..

Поехать и признаться к родителям? Кто даст отпуск... неважно... С этим – к отцу-матери... доченька единственная... нет; невозможно.

Нет выхода.

Повеситься.

Да и к чему тут жить... Нет страха: в глазах темно.

Родители... но сил нет.

Но ребенок... Их ребенок... любовь их, плоть их, маленький... ему бы остаться на земле; ему бы жить.

Ах, должен он жить: смысл единственный, да чего же стоит остальное, в конце концов.

И – долг перед любимым: есть долг перед любимым; что тут от подлинного ощущения его и осознания идет, что надуманно, на что инстинкт жизни подталкивает исподволь – кто разберет, разграничит.

Бросить институт, уехать, устроиться на работу, родить...

Куда? Как? На какие деньги?..

Девочка только из-под родительского крыла... Едва в начале – жизнь рухнула. Растить сироту... Одной. Одной.

...Так и возникает дикое для первого восприятия собственных чувств, и укрепляется во спасение: выйти замуж. Избежать позора, ребенок в семье, устройство всего... Обыкновенное, по сути, решение. Да рассуждать легко...

За кого?.. Ох, не все ли равно! То есть говорится только – не все ли равно, хотя в таком состоянии верно может быть не только все равно, но даже чем хуже, тем лучше: горе по горло – так пусть все под откос, и в мученичестве удовлетворения ищешь. Но каждый выбор понуждает к последующему: решил жить – решай как, далее – конкретней...

Мысль о друге Брянцева была естественной. Он оставался частью его мира, и через это представлялся не совсем чужим.

Стать женой друга – меньший ли грех перед любимым, ближе к нему ведь; или больший – ведь к другу ревновал бы больней...

И попросту: сдержанный, одинокий, не красавец, не юнец... он подходил...

...Ну, трудно ли молодой симпатичной девушке завлечь и женить на себе заучившегося обычного мужика, не избалованного женщинами и их, в общем, не знающего. Главное – каких

мук, какого напряжения ей стоило играть эту влюбленность в него, внутри мертвеца от отчаяния и тоски. Сколько же сил душевных понадобилось! И откуда берутся у таких девчонок, – а ведь у них именно и берутся.

И – торопиться приходилось, быстро делать, быстро! Беременность шла; не приведи бог заподозрит, догадается.

Тоже сердце рвет: знать ребенку, кто отец его, любимый, не доживший! или пусть во всем счастливый живет, при живом отце... Любя по-настоящему, им счастья желая, как бы и сам Брянец рассудил...

Другое: открой, что беременна – разбежался он чужую заботу покрывать. С чем подойти, «женись как друг»?.. Слово вылетит: скоро молва... И женится – где зарок, что не попрекнет в тяжелый час, не будет собственную душу грызть и на тебе срываться... Все люди.

Нет, по всему выходило скрывать.

Не девушкой – что ж... дело такое. Ничего. А остальное – он, тихоня, до нее, может, и вообще мужчиной-то не был. Может, и не снилась ему такая.

Совершились ее намерения наилучшим образом. За нос такого провести нетрудно: приласкай – и верти им, любому слову поверит.

Она стала хорошей женой. Лучшей желать нельзя.

Потому и угождала, что дорожила положением своим?

Какую твердость, какую волю надо иметь, чтоб с такой тайной жизнь прожить. Не выдать себя, не обмолвиться.

Нет; всю жизнь не пропритворяешься. Привычка. Роль становится натурой: бывшее так отойдет, и не поймешь: приснилось ли... Привязалась постепенно; были и радости, и счастье, и всякое; жизнь была.

Он оказался хорошим человеком, хорошим мужем: она не ошиблась.

Брак обошелся ей в жестокую цену; она стремилась к нему более всего на свете; та боль скрепляла его.

А вынужденность его не могла хоть сколько-то не тяготить.

Но был еще единственный ребенок и его счастье.

5

– Женщины... смейся и плачь. Вообрази: он все знал. Знал он!

И отдавал отчет в жути ее положения.

Что он должен был делать? Оставаться безучастным? Поддержать, утешить, – чем мог? не те дела: как поможешь...

Аборт ей сделать на себя взять? Криминал, риск, судьбу на карту... а вдруг неудача, последствия, дознаются...

Она пошла бы ли еще на это. Восемнадцать лет, все в первый раз, жгучая гордость, трепет перед оглаской... понимал: ей и на признание не решиться.

Она здорово держалась! Как понять: самообладание? Или, очень вероятно, то запредельное состояние изнеможения, когда махнешь на все: «Будь что будет», опущены руки, неси течение к неминуемой развязке, истрачены вера и воля, и существу враждебны мучительные усилия к спасению, противоречащему всеподчинившейся логике событий: блаженный наркоз засыпающего на морозе. Опасно затрагивать человека в подобном пассивном смирении с пока неопределенно отодвинутой гибелью. Его оцепенение чувств – неверное равновесие подтаивающей лавины. Легчайшее прикосновение извне может послужить к катастрофе. Как отточить интуицию до ювелирной чуткости... Оскорбишь своим знанием: а она головой отрицательно замотает в ужасе – и после покончит с собой. И все благие намерения.

И тут она явно ищет с ним сближения. Встреча, вторая. Взгляды, интонации, позы, весь этот женский бедный арсенал...

Он не дурак был, трезвая голова, на свой счет не обольщался. Все понял. Понял, и согласился про себя, что для нее это выход и спасение. Так... Это максимум и одновременно едва ли не единственное, чем может он реально ей помочь.

Тут надо немало души. У него достало.

...Он не показал ей, что знает: ни тогда, ни позже. Зачем. Истинное благородство – выше показа.

Вообще собственное благородство вдохновляет к идеализации мотивов. Ну: на одной чаше весов – возможно, жизнь невесты друга и их ребенка; на другой – что, собственно? одиночество – не постыло ли... развестись всегда можно; алименты? ерунда... Чужой ребенок? никто не знает, зато знает он: самолюбие спокойно – уже полдела.

Вначале скрыл – щадя ее и боясь оттолкнуть. Жертвы она могла не принять. Приняв – тяготилась бы обязанностью, благодарность по долгу – рождает подсознательную жажду раскрепощения, неприязнь.

А позже – обнаружили свои прелести и преимущества. Как жена полностью устраивала. Семья – куда лучше. Дочка славная растет; а больше детей-то не было, может у него своих и не могло быть. Признайся – простит ли унижение, не потеряешь ли ребенка, которого привык считать своим и любишь, к чему все приведет... Нет, если устраивающее тебя положение стабилизировано – не следует нарушать его чем бы то ни было.

Не покинет краешком и лестная надежда, что и сам не так плох – почему самого и вправду полюбить нельзя; хоть разуму известно – да слова, да чувства, да ночи, да тщеславие мужское неистребимое...

Вдобавок тайное знание вселяет силу и власть. Хранишь последним оружием: в таких соображениях и лучший не волен, пусть даже совесть не позволит и в крайнем случае использовать. Отсюда – дополнительная выдержка, снисходительное достоинство вооруженного к слабому.

Разнообразны благие намерения, по которым мы скрываем от ближних знания о них. Тактичность, жалость, любовь, расчет, великодушие и душевный комфорт... Разве всегда один супруг жаждет знать все о другом? А зная – жаждет выложить? Или зная, что другой знает нечто о нем – жаждет услышать? Несказанное – незаконно к существованию, отчасти и не существует. Мало ли некасаемых семейных мин тикают механизмами к забвению.

6

– Фьюить-тю!.. Не укладывается в толк. Ну... ё-моё! Чего я сейчас не могу понять – почему раньше это никому не пришло в голову. «Кому это выгодно?» Но кто б, непосвященный, свел воедино...

Конечно. Он любил ее.

Одному ему, другу, Брянцев поведал секретно: беременна, теперь жениться; в тот же вечер. А он, знакомый издали, он полюбил – да тут Брянцев рядом... все предпочтения, она влюбилась; не суйся. И Брянцев (не трепач отнюдь), эдакий симпатяга, живая душа, с ним и делился заветным: как целовались... как женщиной ее сделал. Та еще пыточка. Молчал: крепок был, да невольно поведением зависишь от сильного. Молчал – до обморочной ревности, стиснутые зубы немели, небось, воображение рвалось как киноплёнка на словах обнаженных, сокровенном полупшепоте, в темноте, под последнюю папироску, как это бывает.

Планы безумные перебирал. Надеялся еще на что-то? Женитьбой – на искорку ему дунуло. Конец. И одновременно: случись что с Брянцевым – каюк ей, беспомощность: шаткий

момент, единственный шанс. Простая логика, и холодок от нее. Все продумал, все рассчитал, все учел. Семь раз отмерил...

И на следующий день как раз стипендия. С ребятами немного выпили в общежитии и пошли домой. Пришли, Брянцев говорит, посидев: пойду к ней схожу, не так поздно еще. (Она с подругой комнату снимала.) Он – пошли, говорит, вместе в гости. Пожалуйста. Случай подставляется: он сам предлогов искал вечером вдвоем прогуляться из дому; да тут еще снег сыплет. И специально пальто на вешалке в коридоре оставил, и шапку, только куртку и фуражку старую надел. Тепло, машет, закаляюсь. А март, и снежок.

Только вышли – погоди, говорит, папиросы забыл. Быстро вернулся, включил настольную лампу (окно на другую сторону, не видно, но верхний зажечь – по отсвету заметить можно), чтоб в коридор через щель дверную пробивалось, и комнату не замкнул, ключ изнутри оставил. Будто он дома – для хозяйки, предусматривая алиби.

И сунул в куртку, рука в кармане, припасенный обрезок стального стержня.

На улице сугробы, темно, пусто. И перед углом, где у высокого забора намело, тропка узкая в снегу, Брянцев первый шел – он его по темени и хрякнул. Тот оседать – еще раз! Шапку сорвал – и упавшего еще два раза, наверняка. Отвалил его к забору, снег ногой закидал, и стержень в снег. (Голой рукой не брал, без отпечатков, в газету завернул, и руки в перчатках). Ходом обратно. Газету скомкал – в уборную. Порошило – отряхнулся. Минуты три прошло, не дольше. Повстречается хозяйка или спросит – в уборную скажет высказывал.

При расследовании прошел чисто. Никаких причин, ссор, выгоды. Видел последний, подтвердил. Из дому не выходил. Хозяйка подтвердила. Никаких улик и подозрений. Нервами он будь-будь обладал. Да что и в лице – друг все-таки, некоторые переживания уместны.

...Сошелся его расчет. В точности и тоньше. Девка очутилась при гробовом интересе. А он норовил попадаться на глаза – хотя и остерегаясь. Пусть было ей уж куда не до дедуктивных выкладок – но ее-то и могла озарить истина, зарвись он увлеченно. Кто б ей поверил, нет улик... все равно выдать себя недопустимо.

Предусмотренный вариант: знает от Брянцева, предлагает для выручки фиктивный брак. А там – тихой сапой обрабатывать. Семья, отец ребенку, опора, благодарность... Вероятно, получилось бы. Такие берут не мытьем, так катаньем.

Сложилось же для его желаний намного удачнее. Действительно, когда решаешься твердо любой ценой – судьба поворачивает навстречу.

Жестокое испытание обнаружилось, главная трудность. Любил – сильнее законов божеских и людских. Подушку грыз и плакал – двадцатичетырехлетний мужик, который в двадцать старшим лейтенантом был и на фронте ротой командовал. И – прикосновение первое, поцелуй первый, первая ночь. Сознание отрывается. От касаний ее плавился, от наготы слеп.

А волю любви дать не смей! Себя теряй – помни! Поймет – гибель!

Кара и истязание.

Превозмог.

(Ситуация: балансирование на проволоке. И так-то чужая любовь ей тяжка, и догадаться может, – и чтоб уверилась в покое за собственный обман.)

Месяцами; годами. Не скоро бросил беречься, раскрепостился: со временем, мол, полюбил так; и она уже привыкла...

Оттого и любил всю жизнь так сильно, что первый жар не изгорел, калился?..

Ладно в заботливости мог не сдерживаться – на характер, склонный к порядку, спишется: семья – значит заботиться надо.

Но вот сомнение: таким макаром себя давить, ломать, – что хочешь задавить можно. Уже не медовый месяц, не первый годок – столько напряжения по укоренившейся привычке постоянно, что и вправду незаметно для самого любви уже может не оказаться...

Но прожил. С любовью, и с тайной захороненной.

Все же кремень... Кремень.

По сути – изверг, чего там... Убийца, и не просто... Друга – накануне свадьбы. Девушку любил – своей рукой обездолил. Ребенка – осиротил.

Но это – любил!.. Подумать – и жуть оказаться на ее месте... и не одна, наверное, замерла сладко, чтоб ее кто настолько любил...

7

– Нет у меня ощущения свершившейся катастрофы. Странно: естественность и закономерность. Пережил заранее?.. Только не раскаянье. (Глупцы каются. Человек всегда поступает единственно возможным именно для него во всей совокупности данных обстоятельств образом. Кается – из иного положения, и будучи сам иным, изменчив. Кающийся неадекватен совершающему поступок: свидетельство изменения; и свидетельство забывчивости и непонимания человеческой природы, в первую очередь собственной; если есть хорошая память, развитое воображение и честность с собой – сознаешь абсолютную неизбежность прошлого.)

С собой не хитрю. Даже сейчас – я горжусь тем, что сделал: хотел и смог! Самоутверждение?.. Тщеславие перед собой как зрителем?.. О боже – и наедине с собой, силясь быть честным – насколько трудно, если вообще возможно, отделаться от роли, которую играешь перед собой же! Несовпадение личности с идеалом?.. «Оно», «Я», «СверхЯ»... Что надумано? Что истинно? Как отделить одно от другого? и возможно ли?.. Мы формируем себя на основе импульсов, эмоций, которые в свою очередь зависят обратной связью от образа мыслей и убеждений, – где определить сердцевину истины, вожаемую точку верного отсчета? И существует ли она?

По здравом размышлении я отвечал себе – нет. Нет. Лишь степени приближения к ней. Проще: до конца себя не познаешь, но можно достаточно глубоко.

Почему я не покончил с собой? Незачем. Взвешено, отмечено, отрезано... Подбита черта. Что под ней? Восемь лет заключения и потеря всего в жизни (да хоть бы и самой жизни) – нет, недорогая цена за женитьбу на единственно любимой женщине и четверть века счастливой жизни с ней. Счастье... соответствие всех условий жизни твоим истинным потребностям... Я жаждал – и получил. Единственное: так ли? Если был счастлив и потерял все – зачем остался жить?..

Вот такая штука – с каждым серьезным поступком меняешься ты, и меняется мир для тебя. Поэтому ты никогда не получаешь именно то, чего добивался. В самом лучшем случае – получаешь близкое (в собственном восприятии, разумеется, а не как нечто объективное). Но поскольку любовь, ценность духовная, субъективна, именно здесь цель менее всего оправдывает средства. Платишь дорого – можешь возненавидеть, или разочароваться добившись; платишь дешево – можешь охладеть... Добиваясь – перестаешь быть собой! Вплоть до парадоксального рассуждения: любить – желание обладания и одновременно желание ей счастья; но счастлив любящий; любовь редко взаимна – разлюби, пусть ломая себя, чтоб легче и вернее добиться любви, – и исполнишь долг любящего: дашь ей счастье любви, причем овладеешь ею; да только, разлюбив, не пошлешь ли все к чертям за ненужностью?.. Нет; задача не имеет решения.

Но если б только в этом было дело... Если б я мог сейчас с уверенностью сказать себе, что да, любил ее настолько, и отсюда все последующее...

Брянцев был блестящ. Умен, остер, обаятелен, красив. В молодости не понимаешь исключительности ближних. Для юнца знакомая красавица – просто симпатичная девчонка, гений-сосед – просто способный человек, герой – просто не трус. Наживая долгий опыт, сознаешь им цену. Им и себе.

Он был легкий. Я никогда не был легкий. Может ли быть тяжелый человек счастливым? Почему нет. Но обычно счастливы легкие. Два человека – жизнь их одинакова: один полагает себя счастливым, а второй – несчастным. Претензии мешают? Характер, характер!..

Он был счастлив. Удачлив. Меня воспринимали при нем, не самого по себе. Причем – он меня в такое положение не ставил. Отнюдь – великодушен был, добр; благороден, черт возьми. Да если всем наделен и никакая конкуренция не опасна – чего же не быть благородным. Все равно первый – да еще и благородный. Сильному просто быть добрым, его самолюбие лишь выигрывает. Он от этого еще больше на свету, а ты – в тени. А он и на тебя посветит – его не убудет.

И это – не заслуженно, не горбom, а – благодетельствован природой. Я занимался ночами – он слыл корифеем. Я был умнее – он блистал. Я был глубже – он вешал лапшу на уши. И все его любили, – меня же принимали как его друга.

Мог ли я в глубине души не желать ему низведения с высот до надлежащего уровня – ниже моего: и чем ниже, тем лучше!.. Зависть? Зависть. Даже – я желал его гибели. Даже – ненавидел. Несправедливо, несправедливо! ему быть таким, а мне таким! Его дружба мне льстила: я ненавидел и за то, что воспринимаю лестным его благоволение: что же, я ниже его? Почему, за что?

Но – другу – вряд ли я много сильнее желал ему бед, чем любой – ближнему. Редко ли люди, сочувствуя словами и лицом, да и поступками, и переживая искренне – в глубине души испытывают удовлетворение от неудач и несчастий ближнего: тем удачливее и значительнее воспринимают они собственное существование. Инстинкт самоутверждения?.. (Отчего мелькают иногда противоестественные мысли об убийстве самых родных людей? Фрейдизм, мазохизм... убого сознание, глубоки его колодцы.)

Возможно, я просто низкий завистник. Элементарный подлец. Подлец с волей и крепкими нервами. И с фронта с умением убить человека деловито и без истерик. А убил бы я его, не будь на фронте? Трудно ответить. В жизни каждое лыко в строку.

Как искренне он делился своими успехами! Как подкупающе, заразительно полагал, что я тоже должен радоваться его радостям! Откуда этот животный эгоцентризм жизнерадостных людей?

Мы познакомились одновременно, я полюбил – она уже влюбилась в него, конечно... я не подавал виду – я не имел шансов. Я любил – а он рассказывал мне, как продвигаются дела. И я поддакивал поощрительно!

Флюиды, говорят, флюиды... Чушь! Он бы умер на месте от одних моих флюидов – он здоровствовал, и все шло ему в руки само. Он таскал девок – я любил один раз. Я становился как стеклянный от звука ее голоса – он с ней спал и передавал мне подробности. Я встречал ее в институте – доверчивая девочка, ясное сияние, – и представлял, что они делают вдвоем, и как делают, ее лицо и тело, и жил отдельно от себя, отмечая со стороны, что это я и я живу.

Да я бы сжег этот институт, весь этот город со всеми обитателями, чтоб ничего этого не было и она любила меня! Чего мне было бояться? Я воевал, я видел, сколько стоит человеческая жизнь. Жениться на любимой – что, меньше смысла чем взять высоту или держать рубеж?

Я рассчитал правильно. Гарантий не было – но я получал максимальные шансы. Я сделал все что мог.

Но дальше... Убийство из ревности – старо как мир. Смягчающее обстоятельство. Кто не стремится устранить соперника. Во многие времена подобное числилось в порядке вещей. Но если б и сейчас это было в порядке вещей...

Когда я убил его – как-то сместилась система ценностей. Я продолжал ненавидеть его – за то, что она все равно его любила, все равно он был ее первым, все равно она, полуребенок, моя любимая, была от него беременна. И – мне было его и ее жаль. И – я чувствовал себя и здесь униженным: он вынудил убить друга в затылок, а сам никогда не поступил бы так! но сам

никогда не попал бы и в подобное положение, удачливый красавец! А попал бы? проиграл бы благородно... Но от чего в силах отказаться – того не хотел по-настоящему.

Но вот что – я не торопился в том, ради чего убил, – и не мог объяснить себе причину этой неторопливости. Изменилось что-то, сдвинулось... Я наблюдал за ней – именно наблюдал; я знал один, каково ей, и следил с холодностью и удовлетворением естествоиспытателя, что она предпримет. Злорадство? Мсть за оскорбленное чувство? Страх за свою шкуру, боязнь что она догадается? Торможение реакций в результате стресса?..

Так или иначе – женитьба на ней уже не представлялась мне обязательной! Более того – временами мне вовсе не хотелось жениться на этой девчонке, беременной от другого, не любящей меня и в общем не стоящей ни меня, ни всего, что я сделал! Еще более: мне представлялось, как славно, если б они поженились с Брянцевым, и я бы пил на их свадьбе, и у них родился ребенок, и так далее.

Короче – я воспринимал ее как чужую. Не как вожделенную, ради обладания которой убил друга. На черта я все заварил, пытал я себя? Что за помрачение на меня сошло, что за сумасшествие? Порой доходило до того, что я мысленно молил Брянцева и ее о прощении.

Неужели я настолько ненавидел Брянцева и завидовал, что не ее любил и ревновал к нему, а его ревновал к еще большему счастью, чем он и так имел? Я отвечал себе: не может этого быть! отвечал без уверенности...

Или – сладко лишь запретное? Удовлетворенное самолюбие успокаивается? Я и сейчас не могу толком разобраться... Однако – что-то сместилось во мне. Или в мире для меня. Или сам я сместился в мире. Что-то сместилось.

Я не допускаю, что перешел в иное качество лишь вследствие убийства. Я пробыл два года в пехоте на передовой – навидался смертей и убивал сам; опуская то уже, что я врач, а здесь и этот профессионализм играет роль.

Возможно, я отчасти ненавидел ее – виновницу убийства мною друга; подсознательно мучился сделанным – и настраивался против нее?..

В любом случае – прежняя любовь исчезла. Я пребывал в неожиданном для себя и диком состоянии; и в дикости обретал какое-то мазохистское удовлетворение.

И тут события приняли наилучший для меня оборот – наилучший для меня бывшего, и совершенно ненужный для меня нынешнего. Она решила все скрыть и выйти за меня замуж.

Я почувствовал себя полновластным хозяином положения. Но и в то же время почувствовал себя жертвой – жертвой собственного воплощенного плана, который теперь диктовал мне мое прошлое, настоящее и будущее; я пытался противиться, бессильный. Теперь уже она вынуждала меня к действию. И неприязнь моя увеличивалась. Презрение! – предает память Брянцева, их любовь! пытается провести, обмануть меня! мелкая душа!..

Жалость, остатки внутренней привязанности, комплекс вины, просто физическое влечение – и отчуждение, брезгливость, злорадство, нежелание взваливать обузу, – я колебался. Себя я расценивал как отъявленного негодяя – не без известного удовольствия: но к ней относился свысока! Я переступил предел – происходящее словно отделилось стенкой аквариума. В редкие моменты эта стенка преодолевалась жалостью – когда отмечал подавляемое дрожание ее губ, удержанные на глазах слезы; но проходило быстро – я был трезв. (Или, если играть словами – напротив, пьян до остекленения?)

Я стал рассеян; это приписывали гибели Брянцева. Однажды, когда я, очнувшись, ответил невпопад, был вопрос: «Ты что? Влюбился, что ли?» Сжавшись от укола, я механически отыграл: «Да». Пустяк – но я не мог отделаться от впечатления, что это явилось той точечкой, которая все завершила; перевесившей каплей...

Нет; главное – я знал, что такое настоящая усталость: она ложится на нервы, и делаешься безразличным к самому-рассамому желанному. Надо пересилить себя – и выполнять намеченное. Это как второе дыхание. Желания возвращаются вместе с отдыхом и приведением к норме

нервов из перенапряжения. Отказаться в состоянии изнеможения от раз решенного (изнеможение еще надо уметь определить, обычно самому оно представляется успокоением и трезвостью), когда чувства и разум услужливо доказывают нерациональность дальнейшей борьбы и никчемность результатов – это, собственно, и есть малодушие. Умение достигать – скорее не умение добиваться желаемого, а умение заставлять себя добиваться представляющегося ненужным, но задуманного когда-то; а иначе серьезные дела и не делаются.

Начавши кончай. Иначе для меня все теряло смысл. Это был долг перед собой уже. Больше: это было как заполнение пустого места, причем приготовленного, специально освобожденного, так сказать, места в собственной сущности. Трудно выразить, сформулировать – но так требовалось самим моим существованием.

Фактически я руководствовался чисто рассудочными доводами. Явился вывод и убеждение: я должен поступить так.

Я женился на ней.

Я женился на ней – ну, так обрел ли я желаемое?.. Еще и потому на работе за все хватался: меня никогда не тянуло домой. «Жил работой!..» На работе я был сам собой, и вроде действительно неплохой хирург, и вот это терять действительно жаль: здесь все ясно, просто и по-человечески.

Дома... Забота, внимание... Если б она меня любила!.. все бы могло быть иначе... Но она тоже скрывала – свое. Она любила его. А в чем-то – ты победитель, Брянцев, чтоб ты сгорел, и чтоб я сгорел, и ничего тут не поделаешь. Здесь ты сильнее. Высшая справедливость?..

Но если б она меня любила... Тогда бы, быть может, и я мог бы ее полюбить... Трудная порода – однолюбы... Она – тебя. Я – ее, ту, до всего. Оба, как говорится, сразу выложили все отпущенные нам на жизнь запасы любви.

Я хотел любить ее. Да понимал, ощущал, что стоит за ее безупречным поведением. Мы обрекли себя оба, и каждый тайно от другого, не признавать льда между нами – двойной преграды, а растопить ее можно только с двух сторон. Вот – примерная семейная жизнь. Что не жить? любви ни к кому, друг другу подходим, накрепко повязаны, – и маска делается лицом... если бы! И лицо-то забылось, да не все в душе на заказ переделаешь. Можешь торжествовать из могилы, Брянцев – она тебе верна, она тебя любит, я проиграл... чего еще?

Но как глупо и невероятно вышел конец. Как глупо!.. буквально чудится какая-то непреложность, но ведь ерунда это все, я не мистик, не неврастеник, не верю в рок... глупо... Ты достал меня...

В вашу первую ночь она подарила тебе колечко – серебряное недорогое колечко. Ты показал его мне. Ты носил его в часовом кармашке.

Тем вечером я помнил о нем. Не следовало, чтоб его нашли на тебе – могли запросто докопаться до нее, – я его вытащил. Кинуть в снег? Скоро стает, вдруг найдут, – чепуха!! – но... В уборную? Зима, все замерзло, будет лежать, а если кто приметит... черт его знает... В щель пола сунуть? в комнате не было щелей, ковырять – еще обратят внимание на свежую. И, глупость, психопатия, но – слеп, безумен, любил тогда, – где-то и сохранить хотелось. Так, говорят, и сыплются на мелочах. Не предусмотрел я заранее, значения не придавал – а после уж в мандраже был некотором, естественно, да и домой поживее вернуться требовалось. Отжал я ножом стальной уголок своего чемодана, забил его туда, и бумажки вслед забил, и некуда было ему деваться, никаких случайностей, а специально – в голову никому не придет.

...Дочку я любил, очень. Она очень похожа на мать... Она ничего не скрывала. Ничего не знала. Она любила меня. И я – единственную ее любил. Кого мне еще было любить. Наверно, любил в ней и ее мать, которую любить не мог... Не любил ли я и тебя в ней, Брянцев?.. Не любил ли и свою жертву? разве не любят жертв... какой-то извращенной, но сильной любовью...

Она вошла в комнату, и я увидел на ее руке это колечко.

Под моим взглядом она невольно отдернула руку. Потом растерянно показала:
«Колечко...»

Я обернулся: глаза жены расширились: ужас истины пустил стремительный росток.
Потемнение опустилось на меня.

Как будто это она – нашла свое колечко, и теперь ее ничего здесь не держит, все было заблуждением, опечаткой, сном, она опять молода и сейчас уйдет, все поправила. Я взглянул на жену, постаревшую, словно прошедшие годы и грехи разом прочитались на ее лице, и понял, что эта моя жизнь – ошибка, я не на той женился, а надо жениться на дочери. И логически подумал, что могу это сделать, так как она мне, во-первых, не дочь, а во-вторых, меня любит. А следом подумал, что раз она нашла колечко, то теперь она уже не выйдет за меня замуж, и я теряю ее навсегда. И значит все, что я делал, было напрасно, и вся жизнь была напрасна... Очевидно, выражение моего лица вызвало у жены крик, и этот крик превратил догадку и озабоченность в свершившийся факт.

И все сразу, вдруг, стало до жути и абсолютно ясно.

Дочь ничего не понимала. Она стояла – уже вне моей жизни. «Уйди!» – кощунственно закричал я, и она отступила испуганно, она а не жена! повернулась и быстро вышла. Я ждал в отчаянии, что она подойдет вопреки сказанному и обнимет меня, и все будет хорошо, но она всердцах, хлопнув, закрыла дверь, и я увидел в окно, как она вышла из подъезда и прошла по дорожке мимо кустов, и идет к углу, и когда она свернула за угол я понял, что все кончено.

Ощущение... прибегая к сравнениям – будто поезд пошел не по той стрелке, а все осталось там, на развилке. Я люблю дочь?... иначе чем раньше... не совсем как дочь... уж очень сильно похожа. Из жены же – теперь вынута для меня и та немногая суть, которая была. Смысла не осталось.

8

– «Хватило мужества... Жив человек в нем...» Походит даже на истину – мог ведь избежать, наверное... Жена догадалась? Э, выкрутился бы: нервы, устал, то-се... мало ли чего наплести можно, разуверить человека в том, чего он и сам не желает: мало ли безумных ложных откровений подчас в мозгу выстреливает.

Нет же – попер в милицию! Совесть заела? душа груза не вынесла, потребность возникла страданием искупить? вот уж вряд ли... не тот человек!

Рассудить: чего добился? Жене – за что еще такое страдание, мало ли намучилась в жизни – от него же. Дочь – уж ни в чем не виновата, ради нее хоть прежнее сохранить стоило. Больница, область лишилась хорошего хирурга, еще не одну жизнь спас бы, много добра принес. А вера в людей, наконец? эдак каждого черт-те в чем подозревать начнешь.

Планида такая? по истине своей поступил? так что угодно оправдаешь, удобный взгляд. Избавляться подобной ценой, за счет других, от собственного душевного дискомфорта – тот же суперэгоизм. Никто так не беспощаден, не причиняет столько зла, как стремящиеся превыше всего к приведению жизни в соответствие с некоей истиной и ставящие эту истину выше конкретного блага конкретных людей. Нет добра в такой честности. Мертвого не воротишь – так искупи хоть посильным добром.

Нет, братец: взвалил – так уж тащи до конца. Ишь ушлый: он о душе задумался, а другие по его милости страдай заново.

Одно ясно: такому – лишь свое желание в закон.

Самолюбие вознеслось, гордыня обуяла – снова презреть судьбу, поступить наперекор? Надоело все, ненужным стало – так уйди тихо, по-человечески, не руша жизни близким, – ну найди способ. Или – считал сделанное своеобразным подвигом, главным в своей жизни –

и свербило где-то, чтоб все узнали? ахнули, оценили решимость!.. – типичная горделивость преступника.

И получается, что такое признание – продолжение и повторение преступления; нет оправдания жестокости – по сути бессельной.

А вероятнее – все проще, по-шкурному: боялся, что жена все равно сообщит – а за явку с повинной смягчат ему, учтут.

9

– Человек любит надеяться, что самое тяжелое – позади... Трудно сказать, что хуже: остаться без настоящего, или остаться без прошлого. Но мне – мне суждено было потерять прошлое и настоящее разом.

Господи, разве я не хотела, не пыталась полюбить его? Но он такой был... добропорядочный и мелкий, без изюминки и изъяна... весь от и до. Внушала себе чувство – тем вернее не могла действительно чувствовать... Лучше б бил, бил!.. ах, тоже – лишь кажется...

Теперь... я должна ненавидеть – и не чувствую ненависти...

Брянцев, Брянцев... ох... так же далеко, как та, восемнадцатилетняя – я... Теперь я понимаю спокойно, никогда не было уверенности у меня, что он женится. Нет, не мне одной он обещал... не мне одной...

Если он действительно любил меня... Тогда он должен был бы быть рад, что жизнь моя шла счастливо. Счастливо?! Но поглядеть на других... Господи, прости мне мои кощунственные мысли.

Разве он не положил свою жизнь ради меня? Кто из них положил свою жизнь ради меня?.. Все спуталось...

Он сделал это из-за меня! И узнав... это отталкивает, пугает... и притягивает меня в нем.

Он не понял... лучше б сказал, что все знает и женится из жалости!.. я могла бы полюбить... Сказать самой! но дочь так любила его; и он ее... я жалела...

Его слова... отрекался, прощался... не любовь ли подталкивала к решению? Отчаявшийся, опустошенный – не пытался ли в глубине души последним средством, фактически самоубийством, отказываясь от обладания – обрести мою любовь? Если так... Нас связывает большее, чем просто двадцать пять лет, прожитые вместе. Он всей жизнью пророс в меня насквозь, – сейчас, когда его нет, по боли я ощутила это. Я должна проклясть!.. но мужчины поступали так испокон века... кому хватало мужества... Я ищу оправданий – как соучастница...

Можно любить преступника – не ничтожество. Я сопротивлялась признаться себе... Я прожила жизнь с ним, моим любимым. И сейчас, полюбив, – должна потерять. Дочь... Единственное, в чем я уверена, что знаю определенно; она, она есть у меня. Опять; отказаться от любимого – ради дочери... любимой моей дочери, которую я боюсь возненавидеть.

10

– Нет правды выше верности. Чем еще сохранить себя самое среди всеразъедающих сомнений. Кем бы ни оказался человек – был один кров и хлеб. Но тот, кто убил твоего отца... тот, кто сам был отцом – которого любила, которым гордилась...

Прислушайся к голосу крови: судить мать?.. где право! Но вся его жизнь – следствие любви! вся ее жизнь – следствие предательства! Каждый платит. А я? «за грехи отцов»... Когда любишь – ищешь свою вину. Я бы хотела, чтоб его не существовало вообще! и хочу принять и на себя ту тяжесть, что на нем. Я чувствую себя виноватой – в чем?.. Разве можно разлюбить

самых родных людей – что бы ни обнаружилось на их совести: они постигнуты не знанием – нутром; они те же для тебя!

И все-таки... стена, пролегла стена... за этой стеной они... он – преступный... жалость к нему? уважение? боль... он ближе мне чем-то, чем она. Она – единственный родной человек, он – должен стать чужим! но в душе они смещаются с предназначенных разумом мест: он – ближе, она – дальше.

От чего бы ты не отрекался – ты отрекаешься от себя. Но невозможно обрести себя, отрекаясь вторично. Мера верности – поступок, а не время. Он остался верен: она не должна жить с тем, кого знает как убийцу любимого; она не должна остаться с его безнаказанностью. Она! которая стыдилась родить меня без формальностей – от любимого! «незаконнорожденная...» не упомянула мне об отце! Пусть же хоть сейчас сумеет быть верной; она должна ждать его, она должна остаться с ним. Не только ради него – ради себя; иначе что же от нее останется.

Мне трудно жить с ней, даже видеть... Я уеду отсюда... выйду замуж, стану ей помогать... Мы никогда больше не сможем быть втроем, это невозможно... Но с ней я не буду – ради него? скорее, может, ради нее же.

11

– Меньше всего руководствовался я снисхождением, «гуманизмом». Будь моя воля – не жить ему. Это как человек. А как судья – что ж, закон. Рассуждая логически, житейски, не следовало ли бы вообще его не наказывать? Исправляться ему – некуда, так сказать. Исходи наш закон из десяти- или двадцатилетнего срока ненаказуемости за давностью – так и случилось бы. Справедливо?

Конечно – повинная... Заяви хоть жена – суд не имел бы ни единой улики; хозяйка та умерла, дом снесен... абсолютно недоказуемо.

«Фактически – всей остальной жизнью своей он искупал совершенное преступление, являя и своим трудом, и своим поведением без преувеличения сказать пример для любого члена общества...»

Именно – здесь заковыка. Так у людей может составить представление, что нет разницы между преступником и порядочным человеком. Убил – и живи дальше на благо ближних и собственное. Подрывается вера в целесообразность закона?... гораздо хуже, закон – лишь отражение необходимости жизни; подрывается вера в необходимость быть человеком.

Но – с колечком, а!.. Конечно – он избавился от него на следующий же день. Такие делал один кустарь-ремесленник, старичок и сейчас жив, промышляет помаленьку. И дочь их – просто купила похожее! он его и увидел.

Небо над головой

Когда дело подходит к тридцати пяти, усилия – чтоб сохранить форму – начинают напоминать режим олимпийского чемпиона. Но поскольку вам за это не платят – раз вы не актриса и не манекенщица (и вам нужно работать, растить двоих детей и содержать дом в порядке) – стремление оставаться красивой женщиной приобретает ту подлинную глубину, искусственную замену которой спортсмены находят в условностях рекордов. Однако своеобразное бескорыстие вашего желания имеет последствиями результаты, ощутимые чисто конкретно. Вы не ревнуете своего мужа; напротив – он ревнует вас, – в той мере, в какой это необходимо, – если вы не дура. В парикмахерской вам, не исключено, сделают именно такую прическу, какую вы хотите – при условии, что парикмахер мужчина, разумеется. В часы пик мужчины хоть иногда помогают вам сесть в автобус, а начальство (опять же, конечно, мужчины) не слишком вам хамит – другим больше, во всяком случае. Дочки (а старшей ведь уже четырнадцать) обожают

вас и стараются подражать, что совсем не плохо в наши времена, когда... где же крышка? ага, вот она; так. Тря-ля-ляля пу-румм...

Н-да, «наши времена», «ваши времена»: стареем, матушка, стареем. Забавно: и не то что не хочется (кому ж хочется), и не то что грустно, – а вот не понять до конца. Осознаешь себя точно так же, как в двадцать пять, и как в восемнадцать, и как в детстве, насколько я в состоянии помнить свое детство: ты – это ты, умная, хорошая, все понимающая, грешная иногда; а окружающий мир – ты понимаешь его, и он таков, каким ты его понимаешь; меняется понимание – меняется окружающий мир, но он все равно тебе понятен, и осознание системы этой – «ты – мир» – в принципе неизменно, и все странное и скверное случится не с тобой, хотя ты стареешь и знаешь прекрасно, что именно с тобой-то все и приключится, порой уверен – и спокоен – приобретаешь мужество? теряешь остроту чувств? привычка, привычка к тому, о чем когда-то думал с ужасом; а вот внутренне до конца не осознаешь. Появляются морщины, болезни – сначала пугаешься и грустишь, потом – что ж, живут же люди, и ничего, ты еще не хуже всех; но иногда пронзит вдруг на короткое мгновение, что – всё! это жизнь проходит! не будет иначе! и мертвящая тоска оледенит, и финишная ленточка ближе, ближе, а цвета-то она, сволочь, черного...

ТЬфу, черт...

А пока – пусть глупо – чувствуешь себя девочкой. (Старушка в трамвае как-то обращается к двум подружкам своего возраста: «Выходим, девочки.» Я ощутила, как у меня щеки побледнели.) Ладно, с моей внешностью еще можно; на вид мне от силы тридцать – при ярком солнце, – а в тридцать у нас все «девушки» и «молодые люди»; весьма мило. И не то беда, что тридцатилетних мужиков воспринимают как мальчиков, а то, что они и сами себе часто мальчиками кажутся; анекдот получается: семнадцатилетние считают себя самостоятельными и всё могущими, а тридцатилетние – уже не считают. Но женщин подобное положение вещей, пожалуй, вполне бы устраивало – ан, когда дело доходит до дела, вдруг вспоминают, что «девушка»-то – начинающая стареть женщина, у которой и то уже чуть-чуть не так, и это слегка не эдак.

В семнадцать я полагала, что предел молодости – до двадцати одного. В двадцать один – до двадцати пяти. И так далее. Сейчас я хочу держаться до пятидесяти. Почему нет? Джина Лоллобриджида в микробикини на фотографии, где ей сорок четыре, выглядит... о ч-черт, опять лук подгорел! ф-ф, горячо! так, есть пятно...

«...Прости, что не поздравил тебя с восемнадцатилетием...»

Тр-реклый шпингалет! Чаду полно. Сюда бы и сунуть Лоллобриджида в ее купальнике. Последись за собой четыре часа в день, как же. За тобой последят.

Ну конечно, колготки готовы. И ведь хотела снять, так нет. Гадский стол, в который раз из-за него. Все, с полочки достаю новый, а этот – на помойку, дешевле обойдется. Ей-богу выкину.

Приятно позволять себе такие пустяки. Сейчас на наши с Сенькой зарплаты, ну, плюс крошки халтуры, жить можно, чего там. Денег, правда, все равно никогда нет, но это уже закон природы; зато есть то, что за эти деньги можно купить: не то чтобы совсем все, но в пределах ушибленного скромностью разума.

Когда поженились-то мы с Сенькой на третьем курсе – ревела потихоньку из-за рваных капронов. Он принесет – так знала отлично, что на себе экономит, паршивец. Ладно, говорит, должен же я способствовать приличному виду хотя бы одной красивой женщины. О-ля-ля... Красивой, красивой... Была, вроде. Ах, мои сладкие, на одной красоте, это уж само собой, не только далеко не уедешь, но и вообще разобьешься вдребезги, так, что костей не соберешь. Дадут тебе зеленый свет, а там – бац! шлагбаум. Не в красоте счастье, все давно знают, да только выводов не делают из того, что знают, так уж повелось, и примеров кругом – сколько угодно. Но если вы не дура и не сволочь... – хотя преуспевают, естественно, красивые не-дуры

сволочи... Хм, таков мир. Впрочем, и я, вроде бы – тьфу-тьфу – преуспеваю. Тоже сволочь? Нет, кажется.

Да и преуспеяние – тоже... Горбom тянешь, гори оно все! И на работу давка, и с работы – давка, и в очередях – давка, и директор – парази-ит, а не поддакнешь ему – выживет, и готовки эти обедов осточертели, и друзья эти Сенечкины вечно в доме топчутся, а мне убирай, Сенька рубашки и носки

«Не думай, я ни на что не надеюсь. Просто я счастлив, что где-то, очень далеко от меня, есть ты на свете.»

желает менять ежедневно – стирай, и давление мое проклятое, Ирка вечно капризничает, Танька хамит – четырнадцать, милый возраст, а Сенька раскатывает по командировкам, и остается только надеяться, что сей образцовый муж мне не изменяет.

Черта с два женился бы на мне Сенька, не будь я в девятнадцать такой, какой была.

Когда девушка взрослеет и входит во вкус своего положения, ей совершенно необходимо, чтобы мужики кругом складывались в штабеля. Она просто-таки все силы к этому прикладывает. А после начинает выбирать среди тех, кто остался стоять, при этом глядя в другую сторону. Не надо бы хорошим мужикам быть дураками, пусть даже так им на роду написано. Хотя, если уж человек теряет голову, то не все ли равно, много в ней чего было или вообще ничего нет.

Сеньку я отбила у Лерки Станкевич, и очень быстро. Лерочка его доводила сценами ревности, а я всячески ему советовала на ней жениться. Сама я изображала пламенную влюбленность в Муратова, и, когда мы с Сенькой познакомились покороче, сделала его поверенным своих «тайн». Тянуло Сеньку ко мне не больше, чем к любой другой смазливой девчонке; сделав пробный заход и решив, что здесь ему все равно не отколет, он пустился со мной в откровенности. Мужчина находит порой наслаждение в откровенности с неглупой приятельницей, к которой его влечет и спать с которой он не надеется; а Сеньке только минуло двадцать.

Дошло, однако, до того, что я готовилась уверовать в дружбу между мужчиной и женщиной, когда б не тихая Сенькина ненависть к Муратову. О третьи лишние! – все счастливо влюбленные по чести должны соорудить вам благодарственный памятник, вроде как собаке Павлова.

Ну, а потом произошло то, что в конце концов должно было произойти, и все встало на свои места.

«Ты снилась мне сегодня. Это было счастье для меня. Я не могу написать все – ты оскорбишься. Но я ведь не виноват. Я никогда не был так счастлив. И знаю, что никогда этого не будет в жизни, отлично знаю. Не сердись. Мне все-таки трудно без тебя.»

На следующий день выглядел он спокойным, и уж конечно слегка небрежным, самодовольным и очень уверенным – пока, встретившись вечером, я не объявила ему, что случившееся – ужасная ошибка, прихоть настроения, и впредь я намерена хранить верность Муратову, коего и люблю.

Люди устроены настолько примитивно – тоскливо подчас становится. Два дня Сенька ходил бледный и садился не в свои автобусы. На третий он перевозносил как чудо то, что и следовало перевозносить впредь, и больше носа не задирал, смертельно боясь меня потерять.

Год он приставал с просьбами о женитьбе. У мужчин загорится – будто на шиле сидят. Как пить дать не дожидаться б мне Сенькиного предложения, знай он, сколько я мечтала выйти за него замуж. Но через год в этом возникла необходимость, и мы устроили свадьбу. Славный Муратов никак не мог взять в толк, почему его не пригласили, и страшно обиделся.

Дворец бракосочетания – это, конечно, кошмар, но невесте так никогда не кажется; в белом платье и фате я ощущала себя совершенно нереально. Больше всего я боялась, как

бы в новых туфлях не поскользнуться на лестнице. И путались ленты, привязанные к букету. Единственный в жизни раз была тогда удлинённо-интеллигентной Сенькина физиономия. От волнения он никак не мог надеть мне на палец обручальное кольцо; пришлось самой. Весьма символично.

И денек стоял – второе июня шестьдесят пятого года. А нынче май восьмидесятого... Шуточки делов. Таким макаром еще пяток лет – и будем мы пить на Танькиной свадьбе.

«Меня не приняли в летное, но нет, я не утратил мечты стать офицером, через месяц с небольшим я еду в Красноярское радиотехническое училище войск ПВО страны. Не знаю, как у меня в дальнейшем сложится судьба, но если я буду офицером (а я им все-таки буду), я буду счастлив от того, что и крупинка моего труда будет вложена в то, что небо над твоей головой всегда будет чистым.»

А там, глядишь, бац! – бабушкой-дедушкой заделаемся. Ну, не в сорок, так в сорок пять. Забавно...

За Танькой, небось, мальчишки бегают. Красивая девочка растет. У меня-то еще в детском саду поклонники завелись. А в шестом классе Беляев трагические письма писал. Димка Носик покупал мороженое – до ангины довел. А на выпускном вечере я танцевала только с Куявским, мы целовались в темном спортзале, руки у него были липкими от вина, и он настаивал мне пятен на белое платье.

А с Сенькой все началось на первом курсе, когда мы ездили на пляж в Серебряный Бор. Он единственный успел загореть, и дурачился, развлекал всех, а лицо такое – взглянешь – и на душе светлей. У него и сейчас такое лицо. Разве чуть порезче стало. Но это лучше даже. Мужественней.

Как мы жили с ним студентами! Он говорит, что на отработках – и топает разгружать вагоны. Я ему котлетки жарю и говорю, что уже обедала – сама на картошке сию. А потом друг другу – сцены на нервах.

Сейчас бы, может, и рада картошку лопать, да талия ползет – диету не придумать. Гимнастика, бассейн... Больше семидесяти двух сантиметров – ни за какие блага. Поедем в августе на юг – и как я там, спрашивается, должна выглядеть? Сеньке опять девки

«Вот только сегодня вечером удалось уединиться в Ленинской комнате. Я только сейчас сменился с дежурства, стоял дневальным, как раз по очереди попал с субботы на воскресенье. Увы, так мало у меня сейчас времени. У меня жизнь и служба идут своим чередом, будни воинские, ничем примечательным не отличаются.»

будут глазки строить. Машину вести мне, конечно, придется. Сенька за рулем? – это верблюд на лыжах. Через пять минут ровного шоссе он начинает самоуглубляться и норовит вмазать в первый встречный

«Вот уже три года я в училище. Не за горами уже самостоятельная служба, офицерские погоны. У меня другие интересы, занятия, все изменяется. Правильно устроена жизнь, конечно, в некоторой степени. Может вся моя любовь просто призрак, может она построена моими мечтами. Нет, это не так. Я любил, люблю и буду любить тебя. Я всегда и всюду буду благодарен тебе за то, что благодаря тебе я узнал настоящую любовь, которая вечна.»

грузовик. Когда защитит докторскую, ему лучше оборудовать место в багажнике – и он сохранней, и всем спокойнее.

Эдак он к Танькиной свадьбе профессором станет. И как студентам преподает – непонятно. Ирка через десять минут занятий с ученым папой ревет и бежит ко мне: это он объяснял ей задачи для третьего класса. Задачи, признаться, идиотские, но и сама она бестолковка. Ладно, пусть растет гуманитаром. Таньку я, признаться, больше люблю. И кажется, обе это чувствуют; скверно.

Конечно, быть командиром подразделения сразу не просто. Места здесь красивые, лес, сопки. Но зимой очень холодно, недаром нам дают северный паек.

Сколько времени прошло, целая жизнь. А началось все в девятом классе, когда наш класс ездил на картошку. В автобусе я от нечего делать стал разглядывать тебя. Потом стал думать о тебе и дома. Так все и началось... Моя любовь к тебе была все сильнее и сильнее. Эх, жизнь...»

Так, борщ, похоже, готов. Сейчас свистну Таньке – пора на стол накрывать, Сенька вот-вот явится. Похудел он у меня что-то в последнее время.

«Шесть лет, как я не видел тебя. Ты меня, конечно, и не помнишь, я ничего для тебя не могу значить. Я даже не писал тебе, зачем это.

И все равно я любил тебя, и ты любила меня, и я целовал твои губы, я зарывался лицом в твои волосы, я клал голову тебе на колени, я гладил их, гладил твои руки и плечи, ты ничего этого не знала, ты была далеко, ты не думала об этом, это была не ты, но все равно это была ты, все равно!

И это ты засыпала на моей груди, это ты прижималась ко мне и целовала мои глаза, это ты плакала, когда я уезжал, и обнимала меня на вокзалах, и это всегда будешь ты, ты, и никуда, никуда тебе от этого не деться!..

Гроза прошла. Май, и земля зеленая. Радуга.

Под головокружительной ее аркой, среди вытянувшихся топольков, стоит крашенная под серебро пирамидка с красной звездой.

С фотографии, маленькой, несколько выцветшей уже, смотрит легко светловолосый юноша в военной тужурке.

лейтенант
Руслан Степанович
Полухин
1946–1969

Небо яснеет, искры вспыхивают в мокрой траве, в металлических прутьях пирамидки.

Травой поросло

Со своими соседями я не желаю иметь ничего общего. Кроме коммунальной квартиры, общего ничего и нет. Что до контактов – я лучше французским владею, чем они русским. Во всяком случае, со своими туристами я нахожу язык гораздо легче.

И не обмениваться – никто не поедет: жильцов много, на кухню лестница, ремонта давно не делали. Да и вряд ли в другом месте лучше будет. И самому жалко: привык, и условия-то хорошие – центр, все удобства, окно у меня на улицу Софьи Перовской, а что пятый этаж (без лифта) – так солнце по утрам, а лифт мне и даром не нужен.

Пожалуйста: вчера вернулся с Байкала с группой, которую две недели назад принял в Киеве. Проводил их на самолет, написал сразу отчет и приволок ноги домой. На моей двери

– привет от соседкушек: в одиннадцати пунктах перечисляется не сделанная мной пять дней назад уборка и в резюме приводится угроза передать дело в товарищеский суд.

Я летом и дома-то не бываю. Пять дней назад в Алма-Ате мои французы рубали на базаре сахарную вату и лепешки и тарасили глаза от жары. Отличные ребята, преподаватели из Сорбонны. И вот вам отдых: пожалуйста в Воронью слободку.

В семь утра – грохот в дверь (Полине Ивановне диск бы метать, а не болячки лелеять): «К телефону-у!..» – и комментарий для коридора: «Спозараночку девки звонят! когда и кончится...» – и шлеп-шлеп-шлеп: «Устроил притон из квартиры...»

Знакомые полагают, что раз ты живешь в центре и один – то сейчас они принесут тебе радость на дом. И несут, – только успевай стаканы мыть. Иностранцы, кстати, завидуют: как это у вас запросто, человечно. А по-моему, человечней приходить с приглашения хозяина. Так что их стиль общения представляется мне правильной.

Вылезаю я, путаясь в джинсах, в коридор, беру трубку, глаза – как песку насыпали.

– Владик, – интересуется женский голос, – как вы себя чувствуете?

Отлично, отвечаю, себя чувствую. Особенно сон отличный. Так что благодарю, пошел досыпать. Разговорчики в семь утра.

Пауза.

– Это Орех говорит. – (Тьфу, черт! В ее манере... Генеральный диспетчер.) – Я вас не разбудила? – (Что вы, что вы! Уже зарядку сделал...)

Надо принять индивидуалов. Супружеская чета из Франции. У них сегодня поездка за город, излагает далее Генеральша.

Ясно. Отдых. Съездили на пляж. Да-да, конечно, лето, переводчиков не хватает, ага. Ведь можно было бы утрясти все вчера, нет же! – а ты отдувайся; вечная история.

Они в «Европе». И то ладно – рядом. К восьми пятидесяти. Хорошо, Тамара Леонидовна.

Я и переводчиком-то быть никогда не собирался. Иногда мне кажется, что все люди – специалисты поневоле. Кроме отдельных личностей, с пеленок чувствующих призвание. Такие уже в детский сад ходят полные оптимизма, что для того и рождены. Все же нормальные дети, по-моему, только и думают, как бы увильнуть от детского сада, потом от школы, потом от лекций и колхоза. Но поскольку природа, как известно, не терпит пустоты, то увиливаешь от одного – попадаешь в другое. Я увильнул от математики с физикой – и поступил на филфак. Увильнул от преподавания в школе – и пошел в «Интурист». Но закон втягивания срабатывает четко: стремишься делать дело рационально, находишь в нем положительные стороны – и оказываешься на хорошем счету.

Вышел я злой. Но в ярком утре еще не вся исчезла прохлада; квартирные проблемы пока снимались; с индивидуалами работать приятнее; все улеглось. Мне нравится работать с индивидуалами. Короткие отношения – в меру. В отношениях между людьми всегда необходима оптимальная дистанция. «Они» эту дистанцию чувствуют и держат прекрасно. Взаимное уважение людей, не лезущих в жизнь друг друга. Какой-нибудь босс общается с тобой как с равным, в то время как у нас любая старуха-соседка стремится продемонстрировать, что она значительнее тебя.

В холле было много наших – время завтрака и разъезда. И хотя профессиональный стиль – «не отличаться», – определялись безошибочно: в тех же джинсах и майках, с длинными прищесками, американскими сигаретами, парижским и верхненемецким произношением, – отличались!..

Супруги Жанжер выглядели молодцом. Симпатяги лет под шестьдесят – стало быть за семьдесят. (Известная черта: у иностранцев нет стариков, в нашем понимании. Есть пожилые люди, следящие за собой. Когда прошловекового выпуска мэм сверх здравого смысла молодится – неприятно; но симпатично нежелание капитулировать перед временем.)

Уселись в интуристовскую черную «Волгу». Пушкин, Петродворец, Ломоносов?.. привычное дело: бензин наш – идеи ваши. Я обернулся:

– Куда мадам и мсье желают поехать?

Они переглянулись.

– Скажите пожалуйста, мсье Владлен, – спросил Жанжер, – лучшие цветы в Ленинграде по-прежнему продаются на Кузнечном рынке?

Я несколько удивился.

– Спекулянты, – радостным голосом сказал водитель. – Грузинские агенты.

– Вы хорошо осведомлены, – констатировал я с невольной улыбкой. – Трудно сказать, лучшие ли, но самые дорогие – да, пожалуй.

Мы поехали по Невскому.

– У вас стало больше машин на улицах, – привел любезность Жанжер...

– Он сказал, что у нас люди стали лучше одеваться или машин на улицах стало больше? – поинтересовался водитель.

– Машин больше, – подтвердил я.

– И не вижу в этом причин для энтузиазма, – выразил свое мнение водитель. – А вообще у них огромный запас тем для разговора.

Наш запас не больше; я промолчал, не поощрил подступа к столь же оригинальным замечаниям об этих, с фотоаппаратами, матрешками, и о широкой русской душе. В любом общении своя степень условности, необходимая для дистанции комфорта.

Супруги поглядывали по сторонам, не задавая вопросов.

– Вы уже бывали в Ленинграде?

– Последний раз мы были здесь семь лет назад, – сказал Жанжер.

– Семь лет, – откликнулась мадам.

– Вот и цветики, – объявил водитель, пристраиваясь в заполненном переулке, выключил зажигание и сам выключился, – профессиональное.

На Кузнечный рынок не стыдно везти кого угодно. Там видно, что все у нас растет, и созревает, и продается, – без очередей и на выбор. Что я и не преминул в шутливой форме заметить Жанжерам; они готовно согласились; мы прошли вдоль цветочного ряда: отцветы благоухающего спектра облагораживали ражие рожи стяжателей. Возбуждаясь, они заводили глаза, цокали, надвигаясь профилями горцев, и воинственно потрясали букетами, демонстрируя непревзойденное их качество. В этой разнопахучей и гулкой толчее мы пополнились снопом белых гладиолусов, алых гвоздик и лимонных роз, и обошлось это удовольствие супругам Жанжер в восемьдесят шесть рублей, или пятьсот тридцать восемь франков по обменному курсу. Я не удержался, подсчитал. Хотел бы я знать, куда им такая прорва цветов?

– Пожалуйста, дарагой, – щедро осиял зубами расплатившегося Жанжера небритый абрек. – Замечательные цветы, на здоровье. На свадьбу столько, да?

– Он сказал, что его цветы – лучшие, пожелал вам здоровья и высказал предположение, что вы покупаете их для свадьбы, – счел уместным перевести я.

Они опять переглянулись без улыбки; я усомнился в уместности своего перевода.

– Они желают бросать их под ноги восхищенному населению, или везти в Париж и там продать, но уже дороже? – осведомился водитель, когда мы погрузились. – Сумасшедшие миллионеры... Куда?

– Куда мы сейчас поедem? – спросил я, сам интересуясь.

Жанжер достал карту. Там было обведено.

– Сте-па-шкино.

Водитель также ознакомился с картой и сложил губы, чтобы присвистнуть.

– Степашкино-какашкино, – сказал он. – Вот счастье привалило – трюхать по пылище в такую жару. Что там такое?

Я знал не больше его. Молчание с ясностью снимало расспросы. Имеют право – за все упрочено: Степашкино так Степашкино.

– Гастролеры... – пробурчал водитель и раздраженно воткнул скорость.

А я пришел в хорошее настроение. Мне нравилась их нестандартность. Никаких фонтанов, никаких фотоаппаратов: покупаем цветов на сто рублей и едем в Степашкино. Нормально.

С детства считаю, что мужчина не должен задавать вопросов. Надо, захотят, – сами скажут. Твой такт – твое достоинство.

Сидеть было удобно. Курил я, испросив согласия мадам, «Житан», крепкие и с горчинкой. Жанжер сказал, что в молодости курил тоже «Житан». Он угостил нас с водителем резинкой. Проехали «Союзпушнину». Я сказал, что студентом подрабатывал на аукционах. Они поинтересовались ценами: о, во Франции меха дороже. Проехали памятник Ленинградской эпопее, я сказал о нем, они смотрели молча. Выехали на Гатчинское шоссе, водитель придавил газ на сто пятнадцать, окно зашторилось шелестом ветерка.

Солнце лезло вверх. Делалось все жарче. Дорога начала тяготить.

– Нача-лось, – процедил водитель. Свернули на грунтовку. Место шло голое. На колдобинах покачивало. За пыльным шлейфом обогнали грузовик, там женщины повернули выгребшие косынки, в этот момент было приятно сидеть на своем месте, выставив локоть в окно черной «Волги» с интуристовскими крылышками на лобовом стекле.

Мадам тихо спросила, далеко ли еще. Я ответил, что минут тридцать. Водитель стряхивал капли со лба. Я пожалел Жанжеров. Его кремовый костюм местами темнел. Ее, похоже, слегка укачало; бледная под гримом, она обмахивалась промокшим платком.

– Мадам нехорошо? Мы сделаем остановку?

Слева осталась рощица. Нет, они не хотели останавливаться. В тени бы, на травке... Торопятся они куда...

Машина раскалилась. В автомобильной духоте цветы дурманили. Позже выяснилось, что это был самый жаркий день даже этого, необычайно жаркого лета.

Степашкино оказалось – два десятка неказистых домиков у озерца, заросшего осокой. Белье мертвело в пустых дворах: безмолвие и зной.

Жанжер зашевелился, посмотрел:

– Вот туда, пожалуйста.

Остановились за селом. Берег поднимался отлого, наверху тополь – старый, приметный.

Я помог им выбраться с их цветами. Они очень заботились о цветах. Пиджак у Жанжера со спины был мокрый, зад брюк тоже. Жена постояла, держась за его локоть, и достала зеркальце.

Водитель сел на траву у обочины.

– И тени-то нет!.. – Он стащил чехол с сиденья и швырнул на самый припек, улегся, шумно вздохнул.

Я размял ноги. Супруги тихо совещались. Я отошел, чтобы не мешать.

– Мсье Владлен, – позвала наконец жена. – Вы бы не согласились нам помочь?

Почему нет? За это нам и платят.

– Проводите нас, пожалуйста.

Мы медленно поднимались втроем. Я предложил понести цветы; они вежливо поблагодарили и несли сами. Хотел бы я знать, в чем заключалась моя помощь?

Дошли до тополя. Жена взглянула на мужа.

– Спасибо, мсье Владлен, – произнес он. – Дальше мы пойдем сами.

Отойдя, Жанжер передал ей все цветы, вытащил из бумажника листок и фотографию и стал сличать что-то, глядя на дерево и по сторонам. Потом сделал еще десяток шагов и остановился, и она подошла к нему с цветами.

И вот представьте себе картину: зной оглушающий, ни души, за желтым полем на пустоши коровы пасутся и слышно, как ботала их брякают, трава редкая, выжженная, – и на эту вот землю женщина опускает цветы, сама опускается, и по спине ее видно, что она плачет. А мужчина стоит рядом, склонившись, и вытирает глаза и все лицо платком.

Я отвернулся и пошел вниз к машине.

Иногда находит ужасное детство; но только я закурил у Саши (водителя) «Опал» вместо своих «Житан».

...Проехал тот грузовик, и по сидящим в нем я понял, что французы возвращаются, и понял, зачем надо было их проводить...

Неловкость вынужденного знания исказила атмосферу, словно в воздухе между нами проступили невидимые ранее связи. Жанжер негромко попросил остановить где-нибудь напиться: мадам плохо.

Притормозили у колодца. Я откинул крышку: из глубины пахнуло. Ворот раскрутился, ведро гулко плюхнуло, цепь напряглась; в обратном движении ворот мерно поскрипывал; появилось ощущение чего-то рекламно-ненастоящего: деревенский пейзаж, черная «Волга» и иностранцы, пьющие воду у колодца.

Старуха следила из калитки. Я подошел и поздоровался.

– Что раньше было – над берегом, где тополь?

– Да и ничего не было...

– В войну, не знаете?

– Своих хоронили немцы, – открыла она мне уже известное.

Жанжеры ждали. Старуха присела на скамейку у забора. И я сел, с чувством «назло всему».

– Вот – привез дьяволов, – сказал я и устыдился: будто желаю отмежеваться от них и подольститься к старухе.

Она не отозвалась, пожевала.

– Что ж, своего, значит, проведать... – Ее морщины были спокойны... – Не осталось могилки-то.

Я пошел на свое место.

Ехали молча. Мадам всхлипывала изредка. Машина превратилась из духовки в пыточную камеру. Я единственно мечтал, как приму в прохладном полусумраке квартиры холодный душ. Каково приходилось им... я бы пожалел их, наверное, если б не было так жарко.

Попросили: Саша остановил у куста. Жанжер бережно устроил жену в тень. Мы сели рядом: другой тени не было тут. Я собирался с духом, чтобы уйти курить на солнце.

Надолго запомнится им эта поездочка. По их возрасту – последняя, может статься.

– Мы из Эльзаса, мсье Владлен, – глуховато выговорил Жанжер... – В Эльзасе немцы забирали всех молодых. «Солдаты поневоле» их называли. Он был наш единственный сын, Патрик. Он был сапер, – добавил он, неловко повисло полуоправдание, зачем?

Добрались легче. Мы отдохнули. Мадам успокоилась.

Расстались у гостиницы. До завтра я Жанжерам не требовался: они улетали утром. Вернувшись к себе, я упал и заснул.

Проснулся в сумерки. Долго лежал в том особенном блуждании неясных мыслей, когда просыпаешься неурочно, не сразу вспоминая, какое сейчас время суток и что было перед этим. Цветы, наверно, уже завяли. Н а ш и цветы. Или их растащили деревенские пацаны. В своем номере о н и сейчас как? Погиб ли кто в войну у старухи? С кем теперь буду работать? Провожу их завтра за вертушку в аэропорту: мы посмотрим друг на друга, и Жанжер поймет, что презенты переводчику здесь неуместны. Или, предвидя, передаст для меня диспетчеру; ей и останутся тогда. Ерунда какая...

Голубь прочеркнул окно. Я встал и умылся.

Миновав соседей, спустился на улицу. Небо выставляло свою ювелирную витрину. Фонари тянулись парами. На лицах проходящих девчонок ясно читались будущие морщины, – такое уж было настроение. Я соображал, куда б мне пойти. Быть одному не хотелось, но ни с кем, кого я знал, мне тоже сейчас не хотелось быть. У меня часто так бывает.

Все уладится

Все уладится

Понедельник – день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того чище: Чижикова выперли с работы. Дело так было.

В понедельник с утра Чижигов успел поскандальить с женой, изнервничался, и когда пришел к себе в музей, все у него из рук валилось.

Значился Чижигов в шефском отделе по работе с селом, занимался координацией этой самой работы. В обязанности его входило договариваться с начальством других музеев об организации выездных экспозиций, с директорами совхозов – о размещении работников и экспонатов, с секретарями райкомов – о подстраховке директоров и с автобазой – о предоставлении транспорта. Собственно, весь отдел и состоял-то из него одного.

Поездки эти устраивались где-то раз в месяц, так что работы было немного, но и оклад у Чижикова был маленький, и он подрабатывал на полставочки экскурсоводом, водил группы по Петропавловской крепости. Жить-то надо.

Кстати, экскурсоводом он был хорошим. Вдохновлялся, трагические ноты в голосе появлялись, даже осанка становилась как-то элегантная и значительная. Нравилось такое занятие Чижикову; слушали его с интересом и жадно, что нечасто случается, и писали регулярно благодарности в книгу отзывов.

Так вот, значит, в тот злополучный понедельник все у Чижикова не ладилось. У него, правда, всегда все не ладилось. У директора совхоза вымерзли озимые, и было ему не до Чижикова, в райкоме все уехали на какое-то выездное бюро, прижимистые музеи экспонатов не давали, в трубке все время идиотски переспрашивали: «Что за Чижигов?» – трубка эта чертова телефонная аж плавилась у него в руке, и голос осип.

Но в конце концов удалось Чижикову все организовать, и так он этому обрадовался, совершенно измученный и потный весь, – что забыл позвонить на автобазу. Просто напрочь забыл. Ну и, естественно, все приготовились – а ехать и не на чем. Кошмар! Ну и, естественно, вызвал Чижикова директор на ковер. И наладил ему маленькое Ватерлоо.

– Я вас выгоню в шею! В три шеи!! – потеряв остатки терпения, орал директор. – Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и мотать людям нервы! Когда прекратятся ваши диверсии? – Негодование его стало непереносимым, он взвизгнул и топнул ногами по паркету.

Смешливый Чижигов не удержался и хрюкнул.

– Вот-вот, – устало сказал директор и опустился в кресло. – Посмейся надо мной, старым дураком. Другой бы тебя давно выгнал.

– Петр Алексеевич... – умоляюще пробормотал Чижигов.

– Работникам выписаны командировочные, директор совхоза собирает людей в клубе, секретарь райкома обеспечивает нормальное проведение мероприятия – а Кеша Чижигов забыл договориться с автобазой об автобусе. В который раз?

– Во второй, – прошептал Чижигов, переминаясь на широкой ковровой дорожке.

– А кто перехватил внизу и выгнал делегацию, которую мы ждали?

Чижигов взмок.

– Я думал, это посторонние, – скорбно сказал он.

– Кеша, – непреклонно сказал директор, – знаешь, с меня хватит. Давай по собственному желанию, а?

Чижигов упорно рассматривал свои остроносые немодные туфли.

– А кто обругал Пальцева? – упал тяжкий довод. – Это ж надо допереть – пенсионер республиканского значения, комсомолец восемнадцатого года, с Юденичем воевал!

– Ох!..

– Не мед характер у старика, – согласился директор. – Но он же помочь тебе хотел. А ты с ним – матом. Он – жалобу, мне – замечание сверху!..

– Я ведь извинялся, – взмолился Чижиков.

– А кто выкинул картотеку отдела истории пионерского движения? Алик ее четыре года собирал!

– Ремонт был, беспорядок, вы же знаете, – безнадежно сник Чижиков. – Глафира Семеновна распорядилась убрать лишнее, показала на угол – а я не разобрался.

– Вот тебе две недели, – приняв решение и успокаиваясь окончательно, резюмировал директор. – Оглядишь, подыщи себе место, а к концу дня принесешь мне заявление об уходе.

– Петр Алексеевич, – Чижиков прижал руки к галстуку, – Петр Алексеевич, я больше не буду.

– Кеша, – ласково поинтересовался директор, – у кого на экскурсии в Петропавловке школьник свалился со стены, чудом не свернув себе шеи?

...За окном была Нева, здание Академии художеств на том берегу, почти неразличимый отсюда памятник Крузенштерну.

– Голубчик, – сказал директор. – Мне, конечно, будет без тебя не так интересно. Но я потерплю. Оставь ты, Христа-бога ради, меня и мой музей в покое.

Чижиков махнул рукой и пошел к дверям.

Исполнилось ему недавно тридцать шесть лет, был он худ, мал ростом и сутуловат. Давно привык к тому, что все называют его на «ты», к своему несерьезному имени и фамилии, которые когда-то так раздражали его, привык к вечному своему невезению, к выговорам, безденежью, к тому, что друзья забыли о нем.

Он не стал дожидаться конца дня, написал заявление, молча оставил его в отделе кадров, натянул пальтишко и вышел на улицу.

Ревели в едучем дыму «МАЗы» и «Татры» на площади Труда. Чижиков медленно брел по талому снегу бульвара Профсоюзов, курил «Аврору», вздыхал, пожимал на ходу плечами.

В «Баррикаде» он взял за двадцать пять копеек билет на новый польский фильм «Анатомия любви». Подруги жены фильм усиленно хвалили, но возвращалась жена с работы поздно, и все было никак не выбраться в кино.

Фильм Чижикову не понравился. Актрисы все были милые и долгоногие, главный герой крепколицый и совестливый, они увлеченно работали, модно одевались, жили в просторных квартирах, и какого лешего они при этом дергались и закатывали сцены, оставалось совершенно неясным.

Потом он отправился в Русский музей. На выставке современных художников увидел он замечательную картину: в тайге, на опушке, стоит маленький бревенчатый дом, струится дымок над крышей, рядом бежит прозрачный ручей, и треугольник каких-то птиц – гусей, наверное, – или лебедей? – тянется на закат. Картина Чижикову понравилась чрезвычайно. Он долго стоял перед ней, все вздыхал; ему представлялось, как хорошо было бы жить далеко в лесу, в такой избушке, топить печку, подкладывая поленья в дружелюбный огонь. Он купил бы себе двустволку и ходил на охоту, стрелял бы тетеревов на полянах, а может быть, и оленей. Зимой можно кататься на лыжах, а летом купаться в ручье, ловить рыбу, собирать ягоды и лежать в щекочущей траве, смотреть, как плывут в небе косяки птиц из знойной далекой Африки в северную тундру.

– Сколько можно говорить, что музей закрыт!

– Что?!

– Закрыт музей! – закричала смотрительница и замахала руками. – Идите, пожалуйста, на выход, русским языком вам сколько уже долдоню!

Чижилов подумал, что надо идти домой, и на душе у него стало плохо.

Стемнело уже, на тротуарах стояли грязные талые лужи, туфли у Чижилова промокли. Завернул в гастроном – продукты обычно он покупал – но какая-то усатая толстая старуха нахально влезла перед ним в очередь, продавщица наорала на него, что чек не в тот отдел, он совсем расстроился, сдал чек в кассу и ушел.

А зашел он в винный магазин на углу Герцена, выпил залпом два стакана вермута, подавляя гадкое чувство, и пешком, не торопясь, зашагал к себе на Петроградскую.

Медленно поднялся он по истертой лестнице на пятый этаж. Тихонько открыл тугую дверь. На кухне соседка Нина Александровна жарила какую-то чающую рыбу. Она тут же зашевелила чутким носом, устала на Чижилова круглые злые глаза болонки.

– Пьяный явился, – нехорошим голосом констатировала Нина Александровна.

– Ну что вы. – Чижилов заискивающе улыбнулся, старательно вытирая ноги.

– Нарезался, милот! – наращивала Нина Александровна. – Вот так и живешь в одной квартире с алкоголиками! Ночами, понимаешь, курит, топает в коридоре, кашляет под дверь, а днем пьет!

– Молчать!! – белогвардейски гаркнул Чижилов, меняя цвета лица, как светотвор.

Глюкнула Нина Александровна, забила в угол, трясла крашеными кудельками. Победно токая, прошествовал Чижилов к своей комнате по узкому коридору.

– Ах ты паразит! – взбеленилась Нина Александровна вслед. – Я к участковому пойду, я квартирополномоченная, я тебя выселю отсюда, пьяная морда!

– Расстреляю! – Чижилов запустил в нее резиновым сапогом и вошел в комнату.

Фамилия Нины Александровны была – Чинова, и Чижилова этот факт приводил в бешенство.

В комнате Илюшка, сынок, готовил уроки. Блестели очки в свете настольной лампы, топорщились красные уши. Остался, бедолага, во втором классе на второй год. Эх, ушастенький-очкастенький ты мой. Чижилов подошел к сыну, погладил по голове.

– Учись, сынок, учись. Перейдешь в третий класс – велосипед куплю, как обещал.

– «Орленок»?

– «Орленок».

Сын поковырял в носу. Доверчиво прижался к Чижилову.

– Пап, а когда мы переедем на новую квартиру?

– Скоро, Илюшка. Совсем уже скоро очередь подойдет – и переедем.

– Через год?

– Примерно.

– Это же так долго – год!

– Ты и не заметишь, как пройдет. – Чижилов похлопал сына по плечу. – Весна, лето, осень – и все.

– Па-ап, а мы поедем летом на юг? Только Шпаков ездил, говорит – так здорово.

– Поедем, – решил Чижилов. – Обязательно поедем.

Да, подумал он, возьмем и поедем.

– Есть хочешь? – спросил он.

– Ага.

– Сейчас я чего-нибудь нам сварганю.

Эх, а замечательно было бы пожить в той лесной избушке! И с сыном вдвоем можно...

Жена пришла только в девять часов, когда они на пару смотрели телевизор. Хлопотная работа там, на киностудии. Но она ведь бухгалтер, что ее так задерживают?

– Так, – сказала жена. – Телевизор смотрят, а посуда грязная на столе стоит.

– Ну, Эля, – примирительно забурчал Чижигов. – Сейчас я помою, ну... не волнуйся.

– Еле ноги домой приносишь, а тут грязь, опять впрягайся. Да что я вам, лошадь, что ли? Илюшка сжался и опустил глаза в пол.

– Через месяц кооперативный дом сдают, – мстительно сообщила Элеонора. – Хомяковы переезжают.

– Что ж поделать, если у нас нет денег на кооператив? – рассудительно сказал Чижигов. – Скоро получим по городской очереди.

– Твое скоро... – тяжело сказала она. – Другие зарабатывают. На Север вербуются, на целину. Вон Танькин муж полторы тысячи привез за лето – строили что-то под Тюменью. А ты разве мужчина? Одно название...

– Ну, Элечка, – попытался Чижигов свести все вмировую. – Вот все-таки сапоги итальянские купили тебе осенью. Шуба, опять же...

Элеонора осеклась, отвела взгляд. Лицо ее пошло пятнами.

– Дурак, – с ненавистью процедила она.

– Наверное, – вздохнул Чижигов и пошел на кухню мыть посуду.

Перед сном жена вздрогнула и отстранилась, когда он приблизился; груди ее просвечивали под голубым нейлоновым пеньюаром. Чижигов безропотно поставил себе раскладушку между столом и телевизором.

Ночью долго курил в коридоре, стряхивал пепел в шербатое блюдечко. Все чудилась избушка, запах тайги, студень быстрый ручей, клики гусей в вышине... Наваждение – аж горло перехватило, голова закружилась даже. Оперся рукой о стену, что-то округлое почувствовал, сжал машинально. Отнял руку, взглянул. Непонятный фрукт лежал в руке.

Чижигов понюхал его. Фрукт пах затхлостью и клеем. На ощупь был шершавый, как картон, и легкий. Сжал сильнее в пальцах. Фрукт слегка продавился, но соку не было. Чижигов попробовал куснуть его. Противно, опять же вроде картона.

Хм. Он всунул фрукт обратно в стену. Тот повис отдельно от грозди, черенок торчал в сторону. Чижигов пристоял его поаккуратней... Потом с интересом стал менять грозди местами. Одобрительно обозрел беспорядок в обоях – и просиял от удачной мысли.

Откинув голову и скрестив руки на груди, эдакий художник у мольберта, он прицелился взглядом в дверь Нины Александровны – и принялся за дело. Из фруктов выложил холмик с могильным крестом, грозди разломал и составил короткую малоприличную эпитафию. Оценил творческим оком свое произведение, подмигнул, покурил, посоображал кое-что. И довольный отправился спать.

Улегся он шумно, не заботясь, что визжала и дренкала хлипкая раскладушка.

На работу Чижигов с утра не пошел – все равно ведь. А припоминая, листал старые записные книжки, отыскал телефон одноклассника, ставшего сравнительно известным в городе художником, и напросился в гости.

Художник трудился на верхнем этаже старого дома по улице Черняховского. Свет проходил в стеклянный косой потолок, олифой пахло и пылью, инвентарь художнический разнообразный повсюду валялся.

– А-а!.. – встретил он Чижикова, подавая белую длиннопалую руку с блестящими ногтями. Рука настоящего художника, с уважением отметил Чижигов, пожимая ее.

– Добрый день, – дипломатично поздоровался он, не зная, на вы быть или на ты.

– Здорово, Кешка, старик, – душевно сказал художник и заулыбался. – Рад тебе, рад. Так, знаешь, приятно, когда через двадцать лет школьные друзья о себе напоминают.

– Я тоже, – сказал Чижигов, – я здорово рад, Володя, – и еще с чувством потряс руку.

– Значит, за встречу, – художник достал из скрипучего шкафчика початую бутылку коньяка, сгреб тюбики и краски с края стола, обтер стаканы длинным пальцем. Со своей седой

пряжкой, в черном халате, из-под которого виднелись отутюженные брюки и замшевые туфли, очень он был импозантен.

– Со свиданьем, – пропустили; художник пододвинул ему сигареты в пачке с верблюдом, щелкнул диковинной зажигалкой:

– Как живешь-то, рассказывай.

– Нормально, – сказал Чижиков. – Квартиру скоро должен получить.

– Это хорошо, – одобрил художник. – А мне вот, понимаешь, все приличную мастерскую не пробить. Бездари разные лезут вперед, а ты сиди тут в трущобе... – Он закрутил головой, завздыхал.

– Женат? – осведомился.

– Женат... Уж десять лет.

– Ну-у? – восхитился художник. – Молодец! И дети есть?

– Сын, – сказал Чижиков. – Во второй класс ходит.

– Молодчага! А у меня вот нет пока вроде, – хохотнул.

Чижиков заерзал.

– Так что у тебя за дело-то, выкладывай, – разрешил художник.

Не зная, как приступить, Чижиков огляделся. Подошел к мольберту. Солнце добросовестно освещало праздничными лучами уходящий вдаль сад. На переднем плане нарядная колхозница, стоя на лесенке, собирала с дерева персики.

– Гляди, – прошептал он...

И вытащил лесенку.

Дородная поселянка висела в воздухе. Лесенка постояла рядом с мольбертом и сама собой с треском упала.

– А? – торжествуя спросил Чижиков. Сорвал персик и положил на стол.

– Нет, – сказал художник, – так плохо. Мне не нравится. Тоже мне сюрреализм, ни то ни се.

Он машинально откусил персик.

– Экая дрянь! – сплюнул, поморщившись. – Синий какой-то внутри, – швырнул пакостный плод в угол. – Так и отравиться можно.

– Тебя ничего не удивляет? – опешил Чижиков.

– О чем ты? А-а... – Художник снисходительно усмехнулся. – У нас, брат, в изобразительном искусстве, – покровительственно объяснил он, – такие есть сейчас мастаки! Такие шарлатаны!.. Ты не подумай, я не о тебе, – спохватился он, – я вообще... Давай-ка еще по коньячку.

Озадаченный Чижиков выпил.

– Ты наведивайся почаще, – пригласил художник, – я тебе такого порасскажу!..

Вот так – так, размышлял Чижиков, спускаясь по лестнице. Вот ты незадача... С кем бы мне потолковать обстоятельней...

И на следующий день тем же манером отправился к Гришке Раскину, с которым они в пятом классе за одной партой сидели. Позже Гришка стал копаться в вузовских учебниках, выступать на всяких олимпиадах, очками обзавелся, времени не хватало ему всегда, и их дружба помалу иссякла.

Гришка работал в университетском НИИ физики, занимался проблемами флюоресценции и дописывал докторскую диссертацию.

Помяв Чижикова жесткими руками альпиниста – каждое лето Гришка уезжал на Памир, был даже, говорят, мастером спорта по скалолазанию, – он потащил его куда-то наверх по узким крутым лесенкам с железными перилами и вволок в маленькую комнатку.

Чижиков уселся в закутке на обычный канцелярский стул и разочарованно огляделся.

– Что, – хмыкнул Гришка, – не похоже на лабораторию физика в кино?

– Да вообще-то я иначе себе все представлял, – сознался Чижигов.

Стены каморки были выкрашены зеленой масляной краской, точь-в-точь как у них в туалете. Черный громоздкий агрегат топорщился кустами замысловатых деталей, не оставляя почти жизненного пространства. На откидном столике в углу лежала конторская книга под настольной лампой, да два стула стояли.

– Ничего, – мечтательно потянулся Гришка, – осенью в новый комплекс переберемся, там просторно будет.

Был он тощий, лохматый, в роговых очках; по внешности – классический физик, точно из кино.

– Давай свое дело. Будем разбираться. – Он кинул взгляд на часы.

К этому визиту Чижигов подготовился основательней. И внутренне, и экипировался, так сказать.

– Я тут, похоже, одну штуку случайно открыл, – произнес он, смущаясь, отрепетированную фразу. Из бумажника вынул открытку. Брильянтовая капля росы красиво лучилась на тугом хрупком лепестке лилии.

– Смотри внимательно, – попросил он. Гришка уселся поудобнее и стал внимательно смотреть.

Чижигов осторожно сунул в открытку два пальца. Хрустнул переломленный стебель. Желтая лилия мелко подрагивала в его руке. Росинка стекла в чашечку. На открытке остался размытый фон.

– За-ба-вно, – изрек Гришка. Повертел открытку, посмотрел на свет, пощупал. – За-ба-вно. Слушай, а как ты это делаешь?

– Просто, – сказал Чижигов. – Беру и делаю. Сам не знаю как. Вот так.

Он взял открытку и приладил лилию на место. Теперь не было на лепестке капли росы.

– И давно? – спросил Гришка с интересом.

– Два дня. Ночью, понимаешь, я курил в коридоре...

– Квазиполигравитационный три-эль-фита-переход в минус-эн-квадрат-плоскость, – забубнил Гришка, сведя глаза к переносице. Может, он другое что сказал, Чижигов все равно ни хрена не понял.

– Слушай, Кеш, – Гришка, косясь на часы, потерял Чижигова за рукав. – Я, ты извини, срочно должен в подвал бежать, там сейчас опыт пойдет. А тебе с этим надо в пятую лабораторию, к Аристиду Прокопьевичу, скажи – от меня. Как пройти, я объясню.

Он выдрал из конторской книги лист и начеркал китайскую головоломку, закончив ее крестиком.

– Сначала здесь, а после сюда и сюда, ясно, да? Вечером позвони мне, ты связи со мной не теряй.

Около часа Чижигов провел в движении по невообразимо заковыристой, но с неумолимостью физического закона повторяющейся траектории, пока не выпал из нее у дверей пятой лаборатории, которая временно расположилась в помещении третьей. И выяснил, что Аристид Прокопьевич вчера вылетел на месяц в Новосибирск читать лекции, но это не точно, а где точно, никто не знает. Возможно, во второй лаборатории, но это вряд ли.

Еще двадцать минут Чижигов пробирался на волю.

Устало шлепая по Менделеевской линии, поднял воротник от мелкого дождика и загрузил.

Всю пятницу он провел в раздумьях. Гришку по телефону застать не удавалось ни дома, ни на работе. И дождь все моросил.

В иероглифах записных книжек наткнулся на старый домашний адрес Сережки Бурсикова, тихого мальчонки, насморк еще у него не проходил вечно. В свое время ходил слушок, что он после школы в духовную семинарию подался.

А черт его знает, подумал Чижиков... Подумал и решился.

Остаток дня он потратил на наведение справок.

Сел в субботу вечером на поезд, отправлявшийся с Витебского вокзала, и поехал в один белорусский городок, где Бурсиков был настоятелем церкви. Жене сказал – в командировку; она, похоже, и не огорчилась ничуть.

Церковь стояла в заснеженном саду на холме, недалеко от базара. У ворот курили на лавочке двое.

Чижиков с некоторой опаской поздоровался, поклонившись слегка, даже шапку снял на всякий случай – благо тепло было – и осведомился, где может видеть настоятеля, Сергея Анатольевича Бурсикова?

– Вы по какому делу? – спросил тот, что постарше.

– По личному, – быстро ответил Чижиков. Уж Ильфа и Петрова он читал.

– Туда, – пожилой махнул на желтый флигель у ограды.

Во флигеле оказалась часовня, а в коридорчике позади – всякая канцелярия-бухгалтерия; Чижиков робел несколько. Он никогда не был в церкви.

Отрешенные лики святых темнели с икон. Согбенная старушка протирала тряпочкой возвышение, украшенное серебряными узорами. Крупной поступью, глядя перед собой, в черной до полу рясе, проследовал высокий прямой мужчина. Старушка бесшумно засеменила к нему, поцеловала красную крепкую руку с перстнем на указательном пальце.

Воскресная служба кончилась с час, настоятеля Чижиков нашел уже переодетого.

– Я вас слушаю, – бегло сказал настоятель, не предлагая Чижикову сесть.

Выглядел он, вопреки ожиданию, заурядно и, по мнению Чижикова, неподобающе. Без бороды, выбрит был настоятель, коротко подстрижен, в стандартном дешевом костюмчике. И лицо помидором.

– Здравствуйте, Сергей Анатольевич. – Чижиков не знал, как себя вести.

– Здравствуйте. – Он явно не тянулся к разговору.

– Я Чижиков, – сказал Чижиков.

– М-да?

– Мы учились вместе...

– Э?..

– В одном классе, в школе, Кеша Чижиков, Чижик, помните?

– Оч-чень приятно. Разумеется. Слушаю вас.

Рядом люди ходили, – не располагала обстановка. Визит грозил рухнуть. Чижиков разволновался и обнаглел.

– У меня очень важное до вас дело. – Он значительно сощурился. – Необходим конфиденциальный разговор. Желательно в нерабочей... м-м... Лучше дома. Я приехал специально.

– Вы настаиваете, – недовольно отметил настоятель. – Подходите к пяти.

Он сказал адрес и взялся за пальто.

Чижиков побродил по городу. На базаре купил три кило отличной антоновки – пусть Илюшка витаминится.

Настоятель принимал его в тесной проходной зале – гостиной, видимо.

– К вашим услугам...

Чижиков повторил номер с открыткой. Настоятель следил зорко.

– И что же? – спросил он наконец.

– Как? – растерялся Чижиков.

– Вы фокусник?

– Это не фокус, – выразительно сказал Чижиков. Ожидая вопроса, крутил бахрому ска-терти. Настоятель неодобрительно посапывал.

– Хотите чаю? – предложил он.

– По-моему, это чудо, – застенчиво объяснил Чижииков.

– Э?... – удивился настоятель.

– Ну ведь... Бог творит чудеса!.. – выдал Чижииков напролом и покраснел.

– Не надо, – осадил настоятель. – Не надо.

– И не в чудесах, – с неожиданной тоской добавил он, – совсем не в чудесах заключается вера. Хотите чаю?

– Да не хочу я чаю! – обозленный Чижииков отчаялся на крайние меры.

В лепной золоченой раме святой Мартин резал пополам свой плащ. Картина напротив: старик с изукрашенным распятием.

– «А теперь делить буду я!» – процитировал Чижииков и отобрал у доброго святого недо-разрезанный плащ. Княжеским жестом пустил его на стол. Пристукнул увесистым золотым распятием.

Пыльный грубый плащ пребывал на столе и пах потом. Придавливал толстые складки тусклый крест с искрящимися камнями.

Лицо настоятеля замкнулось...

– Нельзя ли восстановить порядок? – отчужденно попросил он.

Чижииков плюнул с досады.

– Жертвую на храм, – отвечал в раздражении из прихожей.

Вечером он пил чай в поезде, грыз ванильные сухарики. Долго ворочался на верхней боковой полке, мысль одна все мучила. Ночью он проснулся, лежал.

А мысль эта была такая:

Теперь он может уйти в свою избушку.

С утра заскочив домой положить в холодильник яблоки для Илюшки, он отправился в Русский музей.

Стоял, стоял перед картиной. Будоражащие запахи хвойной чащи, дымка над крышей, казалось, втягивал, приопуская веки.

Сорвал незаметно травинку. Травинка как травинка, зеленая.

Смотрительница устала из угла. Эге, засомневался Чижииков, увидит еще кто, скандала не оберешься. Начнут за ноги вытаскивать, с картиной сделают что-нибудь, а потом выкручивайся как хочешь. Надо ночью, решил он. Спрятаться в музее, а когда все уйдут – вот тогда и лезть.

Легко сказать – спрятаться... Придумал. Присмотрел через два зала натюрморт с ширмочкой: можно отсидеться. Натюрморт скульптурой заслонен, смотрительница вяжет, носом клюет, народу нет – подходяще... Для страховки вымерил шагами два раза расстояние до своей картины, теперь с закрытыми глазами нашел бы.

Но сегодняшний вечер захотелось побыть дома. Напоследок, елки зеленые...

Печален и загадочен был он этот вечер. Даже жена в удивлении перестала его пилить. Чижииков целовал часто сына в макушку, переделал все по дому и жене отвечал голосом необычно ласковым и всепрощающим, что ее как-то смущало. Перед сном, тем не менее, поскользнувшись на ее взгляде, улыбнулся с тихой грустью и поставил свою раскладушку.

Он явился в музей около пяти и, улучив момент, без приключений забрался в свой натюрморт. За ширмочкой валялся всякий хлам, он уселся поудобнее и стал ждать.

Переход он задумал осуществить в двадцать ноль-ноль. Пока все разойдутся, пока то да се...

Время, разумеется, еле ползло. Хотелось курить, но боязно было: мало ли что...

А там... Первым делом он сядет в траву у ручья и будет курить, любясь на закат. Потом... Потом напьется воды из ручья, ополоснется, пожалуй, смывая с себя въедливую нечистоту города.

Кусты колышутся под ветром. Прохладно. Вот он встал и пошел к избушке. Оп! – полосатый бурундучок мелькнул в траве. Чижигов постоял, улыбаясь, и поднялся на рассыхающееся крыльцо. Вдохнул с легким счастливым волнением – и толкнул дверь.

Ширма упала. Чижигов вскочил, проснувшись. Без двенадцати минут восемь. Он подрагивал от нетерпения.

Первый шаг его в темном зале был оглушителен. Он заскользил на цыпочках. Шорох раскатывался по анфиладе.

Так... Еще... Здесь!..

Темнел прямоугольник его картины. Скорей взялся потными руками за раму.

Задержав дыхание, закрыв глаза и нагнув, как ныряют, голову – влез.

Что-то как-то...

Осознал: крик. И – предчувствие резануло.

«Не то! – ошибка! – сменили!» – ослепительно залихорадило.

Оскользясь в грязи на пологом склоне, раздираясь нутряным «Ыр-ра!!», зажав винтовки с примкнутыми штыками, перегоняли друг друга, и красный флаг махался в выстрелах внизу у фольварка.

– Чего лег?! – рвась на хрип.

Ощущение. Понял: пинок.

– Оружие где, сука?!.. – давясь, проклекотал кадыкастый, в рваной фуражке.

Обмирая в спазмах, Чижигов хватанул воздух.

– Из пополнения, што ль?

– Да, – не сам сказал Чижигов.

– Винтовку возьми! – ткнул штыком к скорченной фигуре у лужи. – Вишь – убило! И подсумок!

Чижигов на четвереньках ухватил винтовку, рукой стер грязь.

– Встань! В мать! Телихенция... Впер-ред!

Чижигов неловко и старательно, довольно быстро побежал по склону, подставляя ноги под падающее туловище. Кадыкастый плюхал рядом, щерясь, косил на него.

Передние подсыпали к зелени и черепицам окраины, там правее дробно-ритмично затакало, фигурки втерлись в пашню.

– Ах твою в бога!.. – рядом, упав, проскреб щетину. – Конница в балке у них...

Чижигов увидел: слева в километре выскакивают по несколько, текут из земли всадники, растягивая в ширину, стремятся к ним.

– Фланг, фланг загинай!.. – отчаянно пропел сосед, пихнул, вскочив, Чижигова, они побежали и еще за ними. Слева перебежали, ложились, выгибая цепь подковой.

Упали, дыша.

Выставили стволы.

Раздерганная пальба.

Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, заворачивая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница.

– Стреляй, твою! – оскалась, сосед вбил затвор.

Как он, Чижигов внимательно передернул со стальным щелком затвор. Локти податливо ползли из упора.

«...Выход – где – запомнить – не найду – как же...» – прострочило в мозгу и не стало, потому что он принял целящийся взгляд поверх конской морды, пеганый в галопе чуть вбок заносил задние ноги, казак привставал на стременах, неверная мушка поддела нарастающий крест ремней на холщовой рубаше...

Всхлипывая горлом, напряженно тараща заслезившийся глаз, потянул спуск и невольно зажмурился при ударе выстрела.

Транспортировка

В комнате накурено. Стены в книжных стеллажах. За пишущей машинкой сидит 1-й соавтор. Настольная лампа освещает его мясистое лицо и короткопалые руки. 2-й соавтор расхаживает по ковру, жестикулируя чашкой кофе. Он постарше, лет пятидесяти, худ, выражение лица желчное.

1-й соавтор (*обреченно*). Как всегда... Через неделю истекает последний срок договора, а у нас – конь не валялся...

2-й соавтор (*деловито*). Нужна конкретная зацепка для начала...

1-й соавтор. Это пожалуйста. М-м... Человека раздражает постоянная толкотня перед его домом. Он живет на одной из центральных улиц, рядом с универмагом, и мимо подъезда всегда снует толпа народа.

2-й соавтор. А в самом подъезде занимаются спекуляцией... Ладно, не отвлекаемся... И вот – человек постепенно начинает замечать, что народу перед его подъездом становится все меньше...

1-й. Так. Как его зовут? Имя для условной страны...

2-й (*листает телефонную книгу, морщит лоб, швыряет на диван*). Что-нибудь двусложное. Тарара-бух... В детстве я думал, что «Три мушкетера» – это «Тримушки Тёра». Какие-то тримушки некоего Тёра. Тримушки... Тримушки-Бух...

1-й. Тримушки-Бабах... Тримушки-Бабай... Тримушки-Бай... Тримушки-Дон...

2-й. Тримушки-Тон... Тримушки-Бит... Тримушки-Тринк...

1-й. Тримушки-Дринк. Джонни уыпьем уодки.

2-й. Тримушки-Трай...

1-й. Максим Трай. Путешествие на планету Транай. Драй трамвай.

2-й. И черт с ним.

1-й. И черт с ним. Нарекли. Пущай Тримушки-Трай.

2-й. Портрет.

1-й. Упитанный блондин, рост выше среднего, возможны очки.

2-й. Очки у нас недавно уже были. Ни к чему. Даешь снайперов. Нет, очков не надо. Полноценный человек. Довольно ущербности. Жена, двое детей, дома и на работе никаких неприятностей, и никаких авиационных и прочих катастроф. И никаких инопланетян и рецептов из старинных книг.

1-й. Прах и пепел! Помилосердствуй! Тут можно написать только характеристику для ЖЭКа и некролог!

2-й. Тихо! Тихо. Без штампов. Ему... мм... мм... тридцать три... нет, намек на Христа... тридцать пять, многовато... тридцать два года. О. Расцвет сил.

1-й. Уж вы мои силушки... Гуманитар. Психолог. Нет, к дьяволу психоанализы, нормальный так нормальный. Значит – не молодой профессор. Во: средний уровень. Учитель. Школьный учитель. Литературы.

2-й. Осточертели всем твои учителя литературы. Ну прямо сговор: или литературы, или математики, или физики. Ботаник он! Географ! Чертежник!

1-й. Ага. А также дворник, шорник и по совместительству завхоз, который не ворует. Не будь свиньей – я тебе уступил космос, катастрофы и чудеса – уступи мне литературу, это справедливо.

2-й (*делает останавливающий жест, ставит чашку на торшер, закуривает, сосредотачивается*). Итак, Тримушки-Траю тридцать два года. Он работает учителем литературы в школе. Зарплаты хватает, жена и двое детей, семью любит. Квартира в приличном квартале.

Единственный источник раздражения – толкотня перед домом. А коль раздражает лишь это – ясно, что жизнь у него тип-топ.

1-й. И о карьере сей сеятель разумного, доброго, а также вечного за умеренную зарплату не мечтает. Но – он не маленький человек, нет. У него даже были предложения, да и сейчас он имеет возможность перейти преподавать в университет... э-э... или в издательство... но – он любит свою работу, вот в чем дело... Именно в ней видит смысл. Начальство его ценит, коллеги уважают, ученики любят и даже стараются подражать ему в некоторых привычках.

2-й. И пусть хоть один м-мэрзавец посмеет заявить, что это не фантастика. Да. Причем он ловит себя на том, что с каждым годом ученики его становятся все толковее. Работать с такими – сущее удовольствие. Они много способней тех тупиц, в среднем, чем были в их возрасте большинство его сверстников.

1-й. Детали!

2-й. Выше среднего роста, румяный, очень густые русые волосы зачесывает назад. По вечерам все семейство сидит в гостиной, он тут же проверяет сочинения, двухлетний сын, его копия, возится у него на коленях. Дочке семь лет, любит убирать со стола, изображая хозяйку, часто бьет посуду, что никого не огорчает, кроме нее самой. Квартира стандартная, обстановка стандартная, стулья и диван слегка изодраны котом, непородистым и некастрированным. На лето уезжают к морю, кота оставляют соседям. Кот серый, с белым животом и кончиками лап и черным носом.

1-й. Кот получился... Носит обычно синий костюм, то есть Тримушки-Трай, естественно, а не кот, сорочки голубые или желтые, галстук повязан узким тугим узлом. Всегда на месте за пять минут до назначенного срока. В школе просторные классы, окна во всю стену, учебные стереовизоры, широкие лестницы из искусственного мрамора, стены со звукопоглощающим покрытием, зелень во дворе и прочее подобающее.

2-й. Ну и серый асфальт и мутное небо города, шелест шин, запах бензина, вой подземки и ее заплыванные перроны, огни реклам, рестораны и мусорщики, парки, уголовная хроника...

1-й. Мусорщиков нет – машины. Мусорщики исчезли лет десять назад.

2-й. Уголовной хроники тоже уже практически нет. Примерно в то же время она резко пошла на убыль.

1-й. Десять лет назад произошли некоторые изменения в сенатской комиссии...

2-й. Десять лет назад Тримушки-Трай был полон страха перед неизвестностью. Студентом он принимал участие в студенческих волнениях и демонстрациях. Студенты требовали снижения платы за обучение, отмены воинской повинности и права на труд. На плече Тримушки-Трая остался шрам от полицейской дубинки.

1-й. Дубинка, однако, не сабля. Ладно. Короче, в стране было скверно. Безработица. Кризис. Нехватка топлива, сырья, жилья и чего угодно. Цены росли, зарплаты падали, законы уже сточались, гангстеризм процветал...

2-й. И странно, что они вообще не вымерли...

1-й. В общем, да. Отвали.

2-й. Вперед. *(Выходит в туалет.)*

1-й стучит на машинке. Суть абзаца сводится к тому, что по окончании университета по курсу английской (под вопросом) филологии Тримушки-Трай зарегистрировался на бирже безработных и перебивался полгода на пособие, мел улицы изношенными джинсами и простужался, ночуя на парковых скамейках.

2-й *(входя и заглядывая через его плечо)*. Но через полгода ему повезло. Он получил место учителя в специализированной школе. Будучи способным и образованным специалистом, успешно выдержал тесты и прошел по конкурсу – тем более что конкурсы уменьшились, очередь на бирже начала рассасываться и вообще страна понемногу стала оправляться от кризиса.

1-й. Править придет-ся-а... Переписывать заново.

2-й. Ладно. Вперед. Все отлично. Сейчас Тримушки-Трай не только доволен своим положением. Он доволен правительством – это важнее. За прошедшие десять лет в стране наладилось процветание. В Декларацию прав внесены поправки. Президент переизбран на третий срок. Массы довольны – изобилие. Интеллектуалы довольны – есть применение их мозгам, средства для научных исследований. Демократы довольны – есть полная свобода всяческих волеизъявлений и предпринимательств.

1-й. Хотя последнее – вранье, но об этом Тримушки-Трай может судить только по газетам, правда, зная цену ихним газетам.

Но – все здорово. Вроде, Тримушки-Трая даже на тротуаре перед его домом толкать перестали. В один прекрасный день он обращает на это внимание. Его ни разу не толкнули, когда после работы в час пик он возвращался домой. Он даже удивился. Подумал, что универсальный магазин сегодня не работает. Посмотрел – нет, открыт, правда народу немного. Тримушки-Трай хмыкнул, свернул в свой подъезд и вошел в лифт.

На обед жена подала его любимый бефстроганов с жареным картофелем, спаржу и яблочный пудинг. Отдыхая в кресле с коктейлем, Тримушки-Трай поделился с женой своим наблюдением. Не отрываясь от вязания, жена ответила, что пару недель назад тоже обратила на это внимание, только, скорей всего, они просто привыкли к этому району. Не так уж, в сущности, много людей в пресловутом Большом городе.

Но в воскресенье Тримушки-Трай в своем открытии решительно утвердился. Они отправились гулять с детьми в Центральный Парк. Очереди на карусели не было. Редкие прохожие фланировали по аллеям или отдыхали в тени на скамейках. И почти никто не кормил ручных белок – а когда-то вокруг каждой, спустившейся на землю, собиралась толпа.

У Тримушки-Трая возникло нехорошее сосущее ощущение. Он посмотрел на жену; они поняли друг друга.

2-й. Тем большим событием в спокойной доселе жизни Тримушки-Трая явилась беседа с контрразведчиком Департамента лояльности. В понедельник после уроков директор пригласил его в кабинет и оставил их вдвоем. Изящный молодой человек с интеллигентным лицом повернул в дверях ключ и предъявил Тримушки-Траю удостоверение. Тримушки-Трай удивился и слегка испугался, честно говоря. Он закурил, подумал, спохватился и предложил сигарету контрразведчику. Контрразведчик не курил. Контрразведчик предложил рассказать о себе.

– Так, наверно, в моем досье все указано, – простодушно сказал Тримушки-Трай и порозовел, ощутив свои слова бестактными.

Контрразведчик улыбнулся непринужденно и поощрительно.

– Вы не волнуйтесь, – успокоил он. – Вы лояльный гражданин, и вы, разумеется, понимаете, что в нашей работе, как и в любой другой, имеются свои особенности... если хотите, мы условимся считать этот разговор дружеской беседой без каких бы то ни было последствий. Устроит?

Растерянный, но и успокоенный, Тримушки-Трай изложил недолгую биографию. Контрразведчик в паузах одобрительно кивал. Он был определенно ненавязчив и обаятелен: Тримушки-Трай раскрепостился и поглядывал на него с симпатией.

Контрразведчик перевел разговор на преподавание литературы.

– Вы, мне известно, разработали собственную систему тестов для выяснения интересов ученика и уровня его гуманитарной пригодности, если так можно выразиться? Простите, я не специалист...

Польщенный Тримушки-Трай махнул рукой:

– Ну, уж и целая система... У каждого учителя свои приемы выяснения, кто чем дышит. В зависимости от этого и строишь работу.

Через сорок минут они расстались друзьями – по крайней мере, Тримушки-Трай так чувствовал.

– Во вторник, в десять утра, позвоните, пожалуйста, по этому телефону. В школе вас подменят. Рабочие часы будут оплачены. Мужской уговор: вся беседа должна остаться между нами. Согласны?

Тримушки-Трай пожал протянутую руку с искренним дружелюбием, какое возникло бы, вероятно, у кролика, снискавшего уважение травоядного удава.

1-й. Поскольку все в природе устроено по принципу взаимодополняемости, то жены простодушных людей, как правило, проницательны; и жена Тримушки-Трая отнюдь не составляла исключения. Из вида и поведения мужа нынешним вечером следовало, что нечто произошло и что это нечто он не намерен подвергать обсуждению. А посему была придумана печаль, претензии, ссора, примирение с коньяком и любовью, и будь Тримушки-Трай реалистом настолько, насколько он сам себя воображал, он понял бы, что в лице его жены Департамент лояльности прохлопал работника с большими данными. Ибо он выложил все, пребывая в уверенности, что делает это абсолютно добровольно, и легкая дрожь нарушителя государственной тайны щеколтала его.

– Тебе хотят предложить работу, – заключила она.

– Мне? Они? Какую же? – чистосердечно удивился Тримушки-Трай.

– Как сказать... Но они поняли, что ты способен на большее.

Жены маленьких людей часто честолобивы за двоих, если не за все семейство. Самое обидное, что они сплошь и рядом бывают правы в своих анализах обстановки, а вынужденность смиряться с тупостью и вялостью суженых ведет их к презрению – если только любовь не оказывается выше обоснованных амбиций. Но Тримушки-Траю везло и здесь – жена любила его. Так что сейчас она просто желала подпихнуть главу семейства в нужном, по ее мнению, направлении, как жука булавкой.

– И ты примешь предложение, – констатировала она.

Сам генерал Джексон Каменная Стена не сумел бы высказать эту формулу тоном более категорическим.

Под напором превосходящей воли Тримушки-Трай принял единственно разумное в подобных ситуациях решение: сделать по-своему, а после отовратиться.

Но – он знал свою жену хорошо. И – любил ее. Из чего следует, что к десяти утра во вторник он не мог бы ответить, кого боится в сложившихся обстоятельствах больше – жены или Департамента лояльности.

2-й. Он позвонил и назвал. Ответили, что пропуск приготовят к одиннадцати часам. На проходной у дежурного. Назвали адрес.

Дежурный был здоровенный мужик с борцовой шеей. Он изучил паспорт Тримушки-Трая и кивнул на окошечко – бюро пропусков. В окошечке пожилая женщина в военной форме выписала пропуск, оторвала от корешка и протянула. Дежурный еще раз изучил – теперь уже пропуск – и кивнул на лифт: «Четвертый этаж».

Тримушки-Трай помедлил, вдохнул-выдохнул перед дверью с нужным ему номером – 407. Часы в конце коридора сипло отзвонили четыре четверти и ударили раз за разом. Тримушки-Трай расправил плечи и постучал.

Дверь распахнулась сама. В просторном затененном кабинете за огромным полированным столом сидел человек в клетчатом пиджаке.

– Прошу вас, – сказал он будничным, чиновничьим голосом.

Тримушки-Трай вошел. Дверь закрылась.

– Садитесь, – чиновник кивнул на глубокое кресло.

Тримушки-Трай сел, утонув в кресле так, что голова его торчала на уровне стола, и это сразу создало ощущение неловкости и зависимости.

Чиновник извлек из ящика стола аккуратную папку и принялся листать. Тримушки-Трай, полагая в папке свое досье, немало готов был отдать за удовлетворение естественного интереса заглянуть туда.

1-й. Да, надо добавить, что в воскресенье вечером Тримушки-Трай позвонил нескольким университетским приятелям. Кого застал – потрепался на житейские темы, пытаюсь незаметно переводить разговор в то русло, что в городе стало, вроде, ха-ха, посвободнее. Разговоры сии развития не получили. Возникло неопределенное чувство неудобства, заминки, собеседники соглашались... а черт его знает, может, это просто кажется. То есть понятно, что просто кажется, но... нет, не клеились разговоры. А часть однокашников по старым телефонам не значилась, и телефонные станции разыскать их не сумели. Что ж, поразъехались, дело обычное...

2-й. В жизни Тримушки-Трая наступил самый трудный момент.

1-й. И в нашей повести тоже.

Курят в молчании. Чиновник продолжает листать досье.

2-й. Нет, собственно... Если человек попадает в систему, раньше или позже он все равно узнает об общем положении тех дел, которыми его система занимается. А без людей не обойтись... А берут всегда людей проверенных... и всегда есть средства, которыми можно держать их в узде... В некий день и час Тримушки-Трай, работая на предназначенном ему месте, осознает истину... поэтому оптимальным вариантом представляется сразу выдать ему информацию и проследить реакции... тем паче что система ничем ведь не рискует и в случае его отказа. Суют его на должность не рядового исполнителя, а, как ни крути, своего рода творческого деятеля. Потом – предлагают же не первому попавшемуся, он подходит по всем данным.

Нет – это логично. Тримушки-Трай должен узнать все. Такова логика системы. Ею и будет сейчас руководствоваться чиновник.

1-й. По-твоему, идет?..

2-й. Смотри сам.

Тримушки-Трай скованно сидит в глубоком кресле, и румяным его сейчас назвать трудно.

1-й. Веселенький разговор ему предстоит.

2-й. Ладно. Вперед.

Чиновник поднимает глаза от папки. Глаза у него с желтоватыми в прожилках белками, карие зрачки покрыты голубоватой мутной пленкой.

Чиновник. Простите? Вы инспекция из нулевого отдела?

1-й. Что-оо?

2-й. Нам время исчезнуть.

Хватает 1-го за руку и тащит к двери. Чиновник нажимает ногой под столом кнопку звонка. Два охранника вырастают из дверей.

Чиновник. Почему вошли эти господа?

Охранники изображают позами верноподданность и непричастность.

Потрудитесь объяснить, как вы сюда проникли!

1-й (*восхищенно*). Паршивец, а! Ты, однако, не зарывайся, а то ведь я щас опохмелюсь – и тебя не будет!

2-й (*свистящим шепотом*). Заткнись, кретин, идиот!.. (*Ударяет его локтем в живот. Чиновнику.*) Это типичное недоразумение. Прискорбный казус!.. Видите ли, мы – писатели... (*Теряется, не зная, как вразумительно приступить к объяснению.*)

Чиновник (*с понимающим лицом*). Писатели. Журналисты?

2-й. Ну да, почти...

Чиновник. Удостоверения, пропуска?

1-й. О скот!

Чиновник. Сдать надзору четвертого. Обыскать и изъять по описи. Идентифицировать. Оставить за мной. Подать объяснительные по команде.

Охранники, каждый правой рукой сворачивая левое запястье соавторов, выдворяют их, и дверь закрывается; слышны удаляющиеся по коридору шаги и вопль 1-го соавтора: «Да мать твою!...», переходящий в сдавленное мычание.

Чиновник (*вздыхая, Тримушки-Траю*). И вот из-за такого ЧП порой летит насмарку вся служба. Как прикажете работать в таких условиях? (*Достает из стола пачку сигарет, предлагает Тримушки-Траю, закуривает сам. Доверительно.*) А у меня кардиограмма ухудшилась. Курение противопоказано. Поди брось тут... Держу вот на службе пачку...

Переходит в одно из двух кресел в углу, рядом с журнальным столиком, жестом предлагая Тримушки-Траю занять второе; в стене, отделанной панелью под дуб, открывает маленький бар, разливает по бокалам коньяк и разбавляет из сифона.

Ну-с, почувствуйте себя непринужденнее. Мы с вами почти коллеги, кончали один университет, правда, я на девять лет раньше. Социолог. Филолог, социолог, – родственные души. Так вот, не скрою от вас, что хотя видимся мы и впервые, но (*кивок на стол, где осталась пачка*) кое-что, и даже немало, мне о вас известно, – вы понимаете, просто такая у нас работа, как у каждого своя работа, все это обычно, нормально, да – и как ваши взгляды, так и сами вы лично мне глубоко симпатичны. Глубоко! Не сочтите за грубую лесть. Лстить мне вам, как вы понимаете, незачем. Дело в другом. И не в вашем личном обаянии, хотя оно незаурядно. Поверьте.

Так вот. Вы человек с искренними убеждениями. И придерживаетесь своих убеждений даже вопреки материальной выгоде, карьере, известности. Именно так, не надо возражать! Вы получаете предложения от университетов – и отклоняете их. А это как-никак профессорский оклад и перспективы для научной работы. Издательство на должность, которую предоставляло вам, берет человека менее подходящего, а платит ему вдвое больше, чем получаете вы. Что же вас останавливает? Не стесняйтесь, голубчик, люди, как известно, вечно стыдятся вовсе не того, чего следовало бы.

Я сам отвечу вам. В нашем достаточно бессмысленном мире вы занимались, простите, занимаетесь одним из немногих дел, имеющих смысл: вы учите детей. Причем не абстрактной математике – литературе. Вы воспитывали из них, по мере своих сил, людей – в подлинном смысле этого слова. Вы учили их внутренней честности и порядочности, учили понимать и чувствовать прекрасное, быть терпимыми, мыслить самостоятельно и поступать благородно – пусть даже в ущерб материальной выгоде и карьере...

А сами, отклоняя предложения и приглашения, рассуждали примерно так: «Материально я выиграю немного. Того, что я имею, мне хватает. Как-то сложится все на новом месте? Я иду утром на работу без отвращения. Какого еще черта человеку надо?». Вы, голубчик, как всякий закоренелый идеалист, считали себя последовательным реалистом. Идеалист, заметьте, в хорошем, в высоком смысле слова.

Таких людей весьма, голубчик, и весьма мало. И мы таких ценим на вес золота. «Мы» – я подразумеваю государственный аппарат. Ибо именно такие люди, вкладывающие душу в свое дело, не просто добросовестные и способные, нет, талантливые и преданные своему делу, жизненно необходимому стране и народу, я говорю – не государству, заметьте, государство – аппарат, пшик, каркас для скульптуры, корабль для команды, – такие люди служат тем же целям, которым служит или, во всяком случае, обязано служить государство – оставим высокие слова нашим ораторам, – служить тому, чтоб люди были людьми и жили по-человечески. (*Допивает бокал, ставит, вздыхает, машет рукой и закуривает еще сигарету.*)

Дорогой мой, единственная задача государства – чтобы люди жили по-человечески. Но чего это стоит, боже мой, чего же это стоит!.. Вы помните, что творилось еще десять лет назад? Безработица, бандитизм, нищета!.. Наркоманы, экстремисты, забастовки, демонстрации – отчаявшиеся люди требуют того, на что имеют право по одному уже рождению! У кого?

У так называемых «правителей»... А что могут эти «правители»? Ну что они могут, я вас спрашиваю? Рабочих мест не хватает, энергии не хватает, сырья не хватает, валюты не хватает, квартир и больниц не хватает, и все увязано одно с другим! не пошевелить... Ну, какой вы, вот вы можете предложить выход? А? Да не бойтесь вы, господа, говорите, это откровенный разговор, вам ничего не грозит. Ну что: социальные перемены, революция, национализация, обобществление?

Тримушки-Трай (*нерешительно*). Допустим...

Чиновник. Допускаю! Хорошо! Первое: все собственники, владельцы средств производства автоматически становятся в ряды безработных. Чудно! Анархия в производстве, это второе. Резкий экономический кризис – три. Четыре – недовольны не только экспроприированные, но и потребители их продукта – продукт на время исчезает, а потребляют все. Подходит? Нет. Оставить их на местах с правами наемных менеджеров? Но что это даст? Деньги все равно в банках, недвижимость все равно в государстве. А угроза гражданской войны? А забастовки всех, всех частных предпринимателей? Военное положение, газовые гранаты, национальная гвардия – в ход, что ли? Зачем? чтоб вернуться к разбитому корыту? Нет, голубчик, экономист вы слабый. Ну, следующий способ?

Тримушки-Трай. Гм... Меньше потреблять... отказаться от ненужного в быту. Высвободится энергия, сырье, средства.

Чиновник. Прежде всего высвободятся рабочие руки, и государству придется кормить еще мириады безработных и их семьи. Резко нарушится оборот средств – люди будут меньше покупать. Вы призываете фактически к удешевлению рабочей силы – это антиисторично и антинаучно, я не говорю уж о гуманистическом аспекте. За тот же труд люди будут иметь меньше благ – это забастовки. Мы не получим высвобожденных средств на подъем экономики – мы прежде всего потеряем мощности и средства, разрушим государственный бюджет, не сведем концов с концами. Нет?

Тримушки-Трай. А временно... равномерно уменьшить производительность труда?

Чиновник (*ласково и устало, словно ребенку*). Ну, сможем занять всех. Что имеем – поделим на всех. А чего не имеем – откуда возьмем? А нехватку во всем – ее тоже на всех поделим? Экономика-то тютю у нас... И подъема ее так не достичь никогда – наоборот, угробим навеки. Стать луддитами ратуете, что ли?.. Полная наивность...

Тримушки-Трай (*отрекаясь от своих проектов*). Да. Разумеется. Государство сделало колоссальное дело. Мне не надо это доказывать. Я голосую на выборах.

Чиновник. Доказывать, к прискорбию, приходится даже неоспоримые истины. Да – государство сделало. Мы сделали. Я вот, скромный, как говорится, винтик машины, вылечу завтра с инфарктом – через час заменят, но я говорю – мы. И – мы с вами, лично с вами – вместе.

Кстати – вы не могли не отметить, что ученики ваших последних лет толковее предыдущих, а?

Тримушки-Трай. Д-да... У меня есть такое... не впечатление, нет, они действительно более развиты и интеллектуальны.

Чиновник. Бесспорно. И все, или почти все они должны бы получить высшее образование и работать мозгами, а?

Тримушки-Трай. Я думаю так же.

Чиновник. Будьте уверены, так и произойдет. Они достойные ребята, и государство о них позаботится. (*Понижая голос.*) И вы тоже, сами, лично вы тоже должны о них позаботиться.

Тримушки-Трай (*понимая, что встреча подходит к тому, ради чего затеяна*). Я думаю так же.

Чиновник (*прикасаясь к его руке, сердечно*). Вы не могли ответить иначе. Поэтому мы и пригласили именно вас. Вас!..

Тримушки-Трай. Я должен что-либо делать?

Чиновник. Только то, что велит вам ваша совесть. А ваша совесть не может не велеть вам приносить максимальную пользу людям.

Тримушки-Трай. Как бы... Разумеется...

Чиновник. Открою вам секрет. Первый из секретов, который я вам открою. Да не пугайтесь, голубчик, неужели вы думаете, что я вас в стукачи вербую!.. Полноте.

Так вот. Мы несколько расторопнее и, смею надеяться, разумнее вашего Департамента обучения. Потому что уже год применяем ваши тесты. И при полном уважении к вам как к филологу и преподавателю сочту долгом присовокупить, что ваши способности психолога много и ценнее, и качественнее... я не нахожу подходящих слов, грубо льстить не хочу... но мы, как естественно предположить, используем сливки мировых достижений.

Тримушки-Трай. Я должен буду уйти из школы?

Чиновник. Повторяю, вы должны будете делать только то, что повелит вам ваша совесть. Но мы были бы счастливы, – открываю карты сразу, – мы очень заинтересованы заполучить вас к себе. Транспорт и коттедж государственный, все льготы сотрудника нашего департамента, пенсионный возраст на пять лет ниже общего. Оклад – двадцать пять двести в год; четверть президентского и вдвое выше среднего. Дело – психология. Разработка, проверка и внедрение тестовых систем для социальной и профессиональной дифференциации. Будучи сам по образованию социологом, искренне заверяю, на основании полного комплекса данных вашей собственной биографии, что вы именно тот человек, какие нам крайне, подчеркиваю – крайне, видите, я ничего не скрываю от вас, – требуются.

Тримушки-Трай. Когда ответ?

Чиновник. Не торопитесь. Обдумайте спокойно. (*Снова наполняет бокалы.*) Вы ведь согласны, что долг каждого – максимально использовать свои способности на благо своего народа и всего человечества?

Тримушки-Трай. Безусловно.

Чиновник. Значит, в принципе вы уже согласны. О нет, я на вас не давлю, упаси бог! Еще один момент: а как быть с преступником, которого невозможно перевоспитать? садистом? Ваше мнение?

Тримушки-Трай (*с непониманием*). Изолировать?..

Чиновник. И пусть порядочные люди его кормят, одевают, сторожат?

Тримушки-Трай. Он должен трудиться. Принудительно.

Чиновник. Обречь на рабство?

Тримушки-Трай. Воспитание личности созидательным трудом...

Чиновник. Ага. Закатать лет на сорок каторги – и покойник осознает ошибки. Нет, вы определенно большой гуманист.

Тримушки-Трай. Я не совсем понимаю... Но смертная казнь у нас запрещена законом...

Чиновник. Вы соображаете: куда я гну? Хорошо. Еще вопрос: вы согласны, что назначение человека – не есть, пить, гадить, спать, развлекаться, а в первую очередь – оставить свой созидательный след на земле?

Тримушки-Трай. Разумеется...

Чиновник. Не осудите, что с вами, образованным и талантливым человеком, я разговариваю прописными истинами. Они, знаете, так привычны, что по привычке опускаются, исчезают при рассуждениях.

Продолжаю: следовательно, долг каждого человека и гражданина не только созидать самому, но и всячески способствовать, чтоб так же жили другие, все?

Тримушки-Трай. Так.

Чиновник. Так. Именно так. И если наркоман, сексуальный маньяк, киллер мафии, подонки потенциально способны построить прекрасное здание, или насадить благоухающий сад,

или проложить дорогу через пустыню, – то наш долг реализовать эти его возможности на благо ему и нам?

Тримушки-Трай. Ну. Так. Конечно.

Чиновник. Конечно. Вы слышали о теории Кайми-Отта?

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник. А о Ван-Гоге, Шелли, Галуа вы слышали? Не обижайтесь... А знаете пословицу: «Избранники богов умирают рано»? Задумывались, конечно, – филолог – о тридцати годах, и тридцати шести-семи, и сорока – сорока двух? Масса примеров, да?

Ах, голубчик, все в слова играем. Человек приходит, чтобы уйти, и чем больше оставляет, тем меньше остается его собственного материального существования.

Легенды не лгут, голубчик. Сущность теории Кайми-Отта к тому и сводится. Я имею в виду легенды и сказки о превращениях. Дракон в принца и наоборот, глина в человека и наоборот... и важно тут, заметьте, не заколдовать, а расколдовать. В этом отличие злых волшебников от добрых. Из уродливой оболочки извлечь прекрасную истинную сущность. Уродливо же то, что не соответствует тысячелетиями сложившимся представлениям о добре, пользе, красоте, справедливости. Разве не гуманно превратить уродливого садиста в то, чем он был предназначен стать на земле: в цветущий сад?

Тримушки-Трай (*поддаваясь его тону*). Да, да... если бы это было возможно...

Чиновник. И важно не ошибиться. Как важно не ошибиться, вы понимаете! Не использовать государственную печать для колки орехов. Не пускать броневую сталь на кастрюли, красное дерево на туалетную бумагу!

Тримушки-Трай. Да, да...

Чиновник. Вот в этом и будет заключаться ваша задача. Гуманнейшая, я бы сказал, задача.

Тримушки-Трай (*с недоумением, еще исключая догадку; как проснувшийся человек*). Что?

Чиновник. Мы говорили с вами о кризисе, который пережила страна. О практической невозможности преодолеть его обычными средствами. О назначении человека. И обнаружили единство взглядов, не так ли?

Тримушки-Трай. Т-так...

Чиновник. Даже в экстазе наслаждения мы сокращаем наш век и приближаемся к смерти. Нельзя одновременно получать удовольствие от вкуса пирожка и его вида. Это я к тому, что (*резко перегнувшись через стол, глядя в глаза, жестко*) население наше несколько уменьшилось, вы обратили внимание, не правда ли?

Тримушки-Трай (*как бы в гипнотическом внушении машинально кивает*). Д-да... (*С выражением появляющегося ужаса*.) И... что же?..

Чиновник. Полноте, голубчик. Я с вами совершенно откровенен. Не притворяйтесь же и вы таким непонятливым. В сущности, раз уж вы побаиваетесь и стесняетесь себя самого, открою вам: не так уж это вас и волнует.

Тримушки-Трай. Вы хотите...

Чиновник. Помилуйте. Избавьте меня от формулы: «Вы хотите сказать этим, что... Боже мой! Этого не может быть!...» Будьте честнее. Интеллигент не должен быть фарисеем.

Тримушки-Трай. Я слушаю вас...

Чиновник (*наполняет его бокал коньяком, на сей раз не разбавляя*). Выпейте! Да! Мы – мы! – взяли на себя тягчайший груз ответственности! На себя! (*Нервно, с болью*.) Чтоб спасти всех... Достойных... Чтоб вы не подошли на помойке, а ваши ученики не выросли скотами. А ваши дети появились на свет... (*Закуривает. Доверительно*.) Наш отдел самый вредный из всех. Нервов, нервов... А платят столько же.

И перестаньте, я вас умоляю, делать лицо Христа, которому предлагают за три десятки избавиться в профилактических целях от Иуды. Вам это не идет.

Тримушки-Трай. Вы поймете меня... и извините... я отказываюсь.

Чиновник. И прежде чем петух пропоет, трижды... Слушайте, я перестану вас уважать, честное слово. Ну давайте рассудим трезво:

Первое. Подавляющее большинство людей у нас счастливо. Работа по душе, достаток, покой.

Второе. Счастливы не баловни судьбы, не жизнедеятельные приспособленцы, а – лучшие головы, порядочные, терпимые к ближним.

Третье. Преступности нет. То есть порядочные люди не рискуют погибнуть ни за понюх табаку, а другие порядочные люди не тратят жизнь на борьбу с мерзавцами.

Четвертое. Перенаселенности нет – даже вас никто не толкает на вашем тротуаре, верно?

Пятое. Сырьевой кризис, энергетический, нехватка средств на медицину, обучение – все это ликвидировано; царит экономическое процветание.

Шестое. Никчемные люди, отбросы породы гомо сапиенс, недостойные вообще дышать – воплотились непосредственно в материальные ценности. Без пота, заметьте, без унижений, без жестокостей и страданий – гарантирую вам. Да это честь для них!

Чего же вы еще можете желать?

Тримушки-Трай. Фашизм!..

Чиновник. Не низводите себя до обывателя. Эта мания – наклеить ярлык и успокоиться...

Тримушки-Трай. Кто осмелится присвоить право!..

Чиновник (*саркастически, быстро*). Право спасти вас, заблудших баранов? А кто дал вам право получать свою капусту?

Тримушки-Трай. Люди, их судьбы...

Чиновник (*поспешно перебивает*). Типичная ошибка, порочное заблуждение. Кто поведал вам, что такое – люди? Правоммерно ли упорствовать в ереси, что мерзкий, преступный, жалкий, отталкивающий, гадкий человек – это истинная сущность материи, а хрустальный купол здания – не истинная? Вы ошибаетесь, и ошибаетесь наивно, Тримушки-Трай. Человек, ставший паровым катком, всегда был паровым катком. Всегда. Мы лишь возвращаем ему его истонную сущность. Понимаете?

Ну, какой упрек еще вы мне предъявите? Справедливость?

Тримушки-Трай. Справедливость.

Чиновник. А справедливо ли, что гений живет в дерьме и очень недолго, самым коротким и прямым из известных ему способов превращая себя в шедевры, коими наслаждаются сытые?

Тримушки-Трай. Это его – высшая! – форма существования.

Чиновник. А мы даем такую – высшую! – форму существования – каждому! Почему вы хотите лишить их удела избранных? Вы не впадаете в элитарность, а, демократ?..

Тримушки-Трай. Гений избирает сам!

Чиновник. А мы помогаем слабому! Он служит людям – на века: вот высший смысл. А от нас с вами останется пшик. Так что его удел даже и выше.

Тримушки-Трай. Я отказываюсь.

Чиновник. По вашей вине человек, предназначенный природой стать белоснежной надстройкой лайнера, может превратиться в зеркало для бара. Ведь ваша задача, господин учитель, – определять, кто чего стоит.

Кроме того – подумайте о собственном назначении. О полной реализации всех заложенных в вас возможностей. Ведь чем полнее напрягает человек все свои способности – тем в большей степени он именно живет, а не прозябает. Стремление к самоутверждению, жажда самореализации, долг перед обществом велят нам жить в максимальном напряжении сил, делать самое большее, на что мы годимся.

Тримушки-Трай. Мне неловко вас задерживать и утомлять, но я отказываюсь.

Чиновник (*с презрительно-насмешливыми нотками*). А вы не знаете, отчего не задумывались раньше, куда деваются люди и откуда берется все? Может, у нас завелся гаммельнский крысолов, а вместо дудочки у него рог изобилия, мм?.. Да, у нас институты слухов, отвлекающая информация, контроль утечек, выборка по кустам с учетом сфер связей и знакомств, но ведь имеющий глаза да разует их, коллега! Вам было плевать на всех! Вы общались с семьей и коллегами по школе – это один слой, нужный, мы здесь не трогали, – прочие вас не волновали. А вы не допускаете, что в глубине души подозревали нечто подобное, мм? Но ваше сознание не желало дискомфорта, и эта скверная мысль туда просто не допускалась: так швейцар отгоняет от дверей ресторана шокирующего вида бродягу.

Оставьте же хоть сейчас лицемерие. Отдайте себе отчет в том, что ваш услужливый и изощренный интеллигентский разум подает наверх именно то, что требуется психоморально-интеллектуальной структуре вашей личности для нормального функционирования. Станьте честны! И сумеете сохранить верность себе, увидев все вещи в их нагой сути, не зависящей от вашего эгоистичного стремления сохранить добродетель в собственных глазах. Вот тогда я, может быть, стану уважать вас по-настоящему.

Тримушки-Трай. Всю жизнь я учил детей честности и добру...

Чиновник (*перебивает*). Кстати, не забудьте о собственных детях. Где гарантия, что они станут интеллектуалами? А для своих всегда случаются послабления, все на свете, знаете, люди...

Тримушки-Трай. Кто знает, пока они вырастут... И потом, они у меня умные ребята... Нет.

Чиновник (*вытягивает из нагрудного кармана своего клетчатого пиджака свежий белый платочек и с некоторой аффектацией вытирает лоб. Лоб бледный, как и все лицо, в частых мелких морщинках*). Вы меня утомили.

Тримушки-Трай (*тоже вытирается. Ворот его голубой сорочки промок*). Боюсь, что мы не договоримся.

Чиновник. Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Будьте мужчиной. Потому что, судя по вашему тупому упорству, через час вы выедете из ворот малоприметного здания в трех кварталах отсюда в виде чего-нибудь вроде дюжины унитазов. Сомневаюсь, чтобы вы, как истый яйцеголовый, годились на что-либо лучшее.

Пауза. Видно, что Тримушки-Трай взвешивает все в последний раз. Выглядит он явно измученным. Судя по выражению лица, он уже в значительной мере утратил способность соотносить. Принимает вид совершенно отрешенный.

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник (*извиняющимся тоном*). Разумеется, вы понимаете, что лично я испытываю к вам, к вашей стойкости только симпатию – при всем моем сожалении о вашей непонятливости, – но и при вашей непонятливости вы понимаете, что мы не можем, не должны, не имеем морального права выпустить вас с той информацией, которую вы получили.

Тримушки-Трай. Пусть... Другие и так поймут, в конце концов.

Чиновник. Вы не иначе как считаете, что здесь дураки собрались, коллега. Нет – не поймут. Тем, кто поймет, мы предложим работать с нами. Одни начнут работать с нами, другие – на нас, с позволения выразиться. Помимо этого, мы уже ввели психологический отбор – убеждаетесь на себе; тесты ваши небезынтересны, но без вас лично мы благополучно управимся; к тому же завершается программа исследований по введению отбора генетического. Далее – мы уже почти привели уровень населения к оптимуму, а при дальнейшем наращивании экономики и вообще, вполне вероятно, отойдем от современного метода. Временные, так сказать, и экстренные меры.

Ладно. (*Дружески подмигивая.*) Помогу вам завершить эту маленькую сделку с вашей маленькой нездоровой совестью. Знаете, что делает разумный человек, если совесть у него захромала? Покупает ей костыль, голубчик. Хотя вы и так уже, в сущности, согласны, но – стесняетесь. Будь по-вашему. Ультима рацию.

Кряхтя, открывает в панели рядом с баром экран телевизора. Включает. Появляется изображение жены Тримушки-Трая, кормящей детей: двухлетний сын увертывается от ложки с кашей, дочка смотрит осуждающе.

Еще Цезарь поучал – води дело с людьми семейными, они покладисты. Обязан ли я пояснять, что унитазаполучится не одна дюжина, а четыре? или три с мелочью – это вне моей компетенции. Тихо! Тихо! Ну?! Работаете? Да – нет, времени не даю. Все! Нет?

Тримушки-Трай. Да.

Чиновник. Без десяти двенадцать. Мы с вами хорошо управились. На десять минут прежде срока. Выпейте еще, коллега, не переживайте – коньяк казенный. А работа вам понравится, я уверен. Возможности у нас неограниченные. База, аппаратура – это ж сказка. Мечта любого ученого.

Что же до ваших переживаний – голубчик, с непривычки новое дело часто слегка пугает. Пустое. Привыкнете, увлечетесь. Везде своя специфика. Люди переходят в вещи, дела – это же закон природы. Учитывая законы, помогать им, направлять, использовать, – естественное дело и право человека.

Кстати, а кто были те двое, вы знаете? Не догадались? Нет? М-да... А я знаю. И они, я думаю, тоже все знают... Такая работа.

Возвращается за свой огромный полированный стол, садится спиной к окну, так что против света виден только его силуэт на фоне ярко голубеющего неба – утро было хмурое, а сейчас распогодилось. Щелкает тумблером селектора.

Дежурный? Четыреста седьмая. Двое за мной. Результаты?

Селектор. Документов нет. По редакциям не значатся. По центральному справочному не значатся. По дактилоскопии не значатся. Допрос неадекватен. Дан запрос на психиатрическую экспертизу.

Чиновник (*тихо и даже с некоторой грустью*). Запрос отменить. Акт по форме двенадцать. Текущим транспортом в утилизацию. Накладную к отчетности. Рапорт в общем порядке.

Селектор. Есть. (*Щелкнув, отключается.*)

Чиновник. Вот такие пирожки, голубчик. Ну, давайте ваш пропуск, поставлю печать. Топайте себе домой, успокойте жену. Трейлер придет в среду, в девять утра. Переберетесь в наш городок – это пятнадцать миль от города, побережье, закрытая зона – рай. Четыре дня на устройство, в понедельник в восемь пятьдесят звоните по тому же телефону.

Порадую напоследок: вероятно, в будущем вам предстоит работать над интереснейшей и благороднейшей задачей, которая должна прийти к вашей филологической душе вполне по вкусу. Поскольку ряд авторитетов считает в принципе малогуманным сокращать срок существования материи в форме гомо сапиенс, наделенной сознанием гомо сапиенс, то в перспективе перед нами вырисовывается задача обеспечить этому сознанию полнометражную, так сказать, жизнь, независимо от реального времени. Пусть себе субъективно проживут за пять минут транспортировки хоть Мафусаилов век и семь сундуков приключений. А время – хм... ученые так и не выяснили, что это такое... кто знает... Для самих-то себя они явятся полноценными долгожителями, так что им грех жаловаться. Поскольку реальность дана нам в наших ощущениях, верно? мм? – или вы не придерживаетесь этого тезиса? – то для них реальность будет поистине восхитительна. Ну, разве не благородная задача?

Тримушки-Трай (*забирает отмеченный пропуск, направляется к дверям, уже у порога задумывается на секунду и, обернувшись, спрашивает с мстительным интересом*). Послушайте, коллега, а вы не думаете, что эта задача уже решена?

Чиновник (*с искренним профессиональным интересом, но недоверчиво и слегка не понимая*). То есть?

Тримушки-Трай. Что реально-то мы с вами находимся сейчас уже в транспортировке, превращаемся в унитазы и хрустальные здания? А это – так... гипноз... наше субъективное представление.

Чиновник (*раздраженно*). В свободное время я с удовольствием побеседую с вами о Шопенгауэре и прочем. В садике, вечером. За коктейлем.

Тримушки-Трай. А все же?

Чиновник. К сожалению, мы не располагаем более временем. Работа есть работа. Честь имею кланяться.

Кошелек

Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения – он был просто добрым. Его любили, глядя иногда как на идиота и заботливо. И принимали услуги.

Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.

У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, – но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.

На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, приближался после работы к дому, Гражданке, причем в руках держал тяжеловесную сетку с консервами перенагруженного командировочного и, вспоминая свежий номер «Вокруг света», стыдливо размышлял, что невредно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, – известность, правда, некоторая смущала, – но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлось бы просто кстати. Случилось так, что Павел Арсентьевич остался на Ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится.

Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить.

Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предшествующий октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева (острили: «Если Лосева откроет рот – раздастся голос Зелинской») даже заболеть наладились на пару, так что когда задымил вопрос о невеличской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. Тем не менее в Невеле именно он, среди света и мусора перестроенной фабрики, целую неделю выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают?

А по возвращении затребовался человек в колхоз. Толстенский Сергеев ко времени сдал жену в роддом, а «Москвича» в ремонт, вследствие чего картошку из мерзлых полей выковыривал Павел Арсентьевич. Он служил как бы дном некоего фильтра, где осаждались просьбы, а предложения застревали по дороге туда.

Слегка окрепнув и посвежев, он прибыл обратно, уже снег шел, как раз ко дню получки. Получки накапало семьдесят шесть рублей, да премии десятка.

Среди прочих мелочей того дня и такая затерялась.

В одной из натисканных мехами кладовых ломбарда на Владимирском пропадала бежевая болгарская дубленка, а в одной из лабораторий административного корпуса фирмы «Скороход», громоздящегося прямоугольными серыми сотами на Московском проспекте, погибала в дальнем от окна углу (как самая молодая) за своими штативами с пробирками ее владелица Танечка Березенько, – с трогательным и неумелым мужеством. Надежды на день полочки треснули, и завалилась вся постройка планов на них: до Ноябрьских праздников оставалось четыре дня.

Излишне говорить, что Павел Арсентьевич сидел именно в этой лаборатории, через стол от Танечки. В дискомфортной обстановке он проложил синюю прямую на графике загустевания клея КХО-7719, поправил табель-календарик под исцарапанным оргстеклом и нахмурился.

Молчание в лаборатории явственно изменило тональность, и это изменение Павел Арсентьевич каким-то образом ощутил направленным на себя.

Дело в том, что дома у него висел удачно купленный за сто рублей черный овчинный полушубок милицейского образца, а у Танечки в дубленке заключалось все ее состояние.

Короче, вызвал тихо Павел Арсентьевич Танечку в коридор и, глядя мимо ее припухшей щеки, с неразборчивым бурчаньем сунул три четвертных. Увернулся от Сеньки-слесаря, с громом кантовавшего углекислотный баллон, и торопливо к автомату – пить теплую газировку...

И вот поднимался он на эскалаторе, и жалел жену... Среди толчеи площади рабочие обертывали кумачом фонарные столбы, а когда Павел Арсентьевич опустил глаза – на затоптанном снегу темнел прямоугольничек: кошелек. Только он нагнулся, как трамвай раскрыл двери, толпа наперла и так и внесла сложенного скобкой Павла Арсентьевича с кошельком. Пока он кряхтел и штопором вывинчивался вверх, сзади загалдели уплотняться, вагоновожатая велела освобождать двери, даме с тортом и ребенком придавили как первый, так и второго, юнцы сцепились с мужиком, передавали на билеты, трамвай разгонял ход... – момент непосредственности действия как-то исчезал, а злосчастная застенчивость сковывала Павла Арсентьевича все мучительнее. Спросил бы кто... А то вот, мол, благородный выискался, оцените все его честность и кошелечек грошовый, гордого собой... Заалел Павел Арсентьевич (и то – давка), однако собрался с духом уже, – да раздвинулись двери, народ вывалился и разбежался в свои стороны, и остался он один на остановке.

И тут обнаружил, что рука-то с кошельком – в кармане. Тьфу.

Черт ведь... Теперь в бюро находок завтра тащиться...

Кошелечек коричневый, потертый, самый средненький. Срезая пахнущим по-зимнему соснячком путь к подъезду, Павел Арсентьевич не выдержал – обследовал... Содержимое равнялось одному рублю, ветхому, сложенному пополам. Эть, – из-за пустяков...

– Верочка, – сказал он в дверях, улыбнувшись и ясно ощутив движение лицевых мускулов, создавшее улыбку, – сегодня, знаешь...

Жена была верной спутницей жизни Павла Арсентьевича и настоящим другом; они делились всем. Она выразила взглядом дежурную готовность мирно принять известие и помочь найти в нем положительную сторону. Они хорошо жили.

– Мапочка! бежит! – запаниковала Светка из кухни, грибной дух и шипение распространились одновременно, Верочка взмахнула руками и исчезла. Проголодавшийся Павел Арсентьевич стал настраиваться к обеду: разуваться, переодеваться, мыть руки и попутно растолковывать Валерке, что такое бивалентность и (подглядев в словаре) амбивалентность, причем соглашался долговязый Валерка высокомерно, – возрастное...

За столом Павел Арсентьевич, дуя на суп, изложил про дубленку. Верочка разложила второе, налила кисель, щелкнула по макушке Валерку за то, что он жареный лук из тарелки

выуживал, и умело раскинула высшую семейную математику, теория которой ханжески прикидывается арифметикой, а практика сгубила не один математический талант.

После, выставив детей и конфузясь, Павел Арсентьевич чистосердечно поведал обстоятельства находки и предъявил кошелек. Верочка ознакомилась с рублем номер ОЕ 4731612, 1961 года выпуска, обязательным к приему, подделка преследуется по закону, и сказала:

– Бир сом!

– А? – встревожился Павел Арсентьевич.

– Бир манат, – сказала Верочка. – Укс рубля. Адзин рубель. Добытчик мой!..

Посмеялись...

Назавтра у Верочки после работы проводилось торжественное собрание, так что Павел Арсентьевич должен был спешить домой – контролировать детей. В четверг же, следуя закономерности своей жизни, он трудился на овощебазе (неясно, вместо кого): таскал в хранилище ящики с капустой. Когда расселись на перерыв, Володька Супрун, начальник второй группы, стал по рублю народ гоношить. Бутерброды у Павла Арсентьевича были, рубля же – нет... А Володька ждет, и все смотрят... Плюнул про себя Павел Арсентьевич, достал найденный кошелек, который потом в бюро сдать намеревался, и подал рубль, под шуточки компании.

За портвейном с Володькой он же в очереди давился.

Застелили ящики, устроили застолье, встретили предварительно наступающий праздник 7 Ноября. По-человечески, по-свойски; хорошо.

Праздничным утром Павел Арсентьевич еще кейфовал в постели, а вернувшаяся из универса Верочка уже варила картошку, перемешивала салат и наставляла Светку не-мед-ленно поднимать ленивых мужчин. И водочка на белой скатерти отпотевала, и шпроты, и огурчики, так что Павел Арсентьевич умильно подивился Верочкиной изворотливости.

Ответ ему был:

– Пашенька... да я у тебя же в кошельке взяла...

Павел Арсентьевич не понял.

– Ну... который ты нашел... В куртке нейлоновой, что для овощебазы, во внутреннем кармане... лежал...

Павел Арсентьевич совсем не понял. Розыгрыш.

– Двадцать рублей, – растерялась Верочка. – По пятерке. Три шестьдесят сдачи осталось...

Валерка, паршивец, из туалета голос подал:

– Дед-Мороз принес, чего неясного!..

Насели на Валерку, но он с шумом спустил воду. По телевизору загремел парад, Светка индейским кличем потребовала своей доли веселья в торжестве, пожаловал Валерка и нацелился отмерить себе алкоголя, – праздник раскручивал свое многоцветное колесо: утюжить костюм, ехать гулять на Невский, из автоматов обзванивать с поздравлениями знакомых, собираться в гости к Стрелковым на Комендантский аэродром... Возвращаясь ночью, вспоминали, как Верочка однажды из мешочка пылесоса вытряхнула десятку... Мало ли забот...

В этих заботах он с легким сердцем пожертвовал жениховствующему, предсвадебному Шерстобитову два билета на Карцева и Ильченко, а сам подменил его в дружине: подняв ворот тулупчика, до полуночи патрулировал пустынную Воздухоплавательную улицу, знакомясь с историями из жизни бывалого двадцатилетнего старшины.

Из почтового ящика в подъезде Павел Арсентьевич вынул открытку с напоминанием о квартплате.

– Ну-ка... тряхни нашу самобранку! – пошутил он, поцеловав Верочку в прихожей. И как-то... не то чтобы они друг друга поняли... а может, и поняли...

Верочка открыла защелку стенового шкафа, достала из синей нейлоновой куртки с надорванными карманами кошелек, с улыбкой открыла, перевернув, и потряхнула. На зеленый линолеум прихожей выпорхнули синенькие пятерки: раз-два, три, четыре...

В спальне испуганный совет шел шепотом, хотя дети в другой комнате давно спали. Ночью Верочка грела молоко: Павел Арсентьевич не мог уснуть, а снотворное в их доме отродясь не требовалось.

– Товарищи, – храбро спросил Павел Арсентьевич в лаборатории, – кто мне двадцать рублей возвращал, братцы?..

Прозвучало бестактно. Большинство хмыкнуло, а Танечка Березенько покраснела. Толстенький Сергеев пожал ему плечо и мужественным голосом попросил обождать аванса. Павел Арсентьевич смутился, отнекивался.

Отнекиваться у Агаряна, Алексея Ивановича, начальника лаборатории, не приходилось. Алексей Иванович хлопотливо усадил его в кресло, угостил сигаретой, осведомился о жизни, после чего ушипнул себя за кавказские усики и поручил бегленько накидать ему тезисы для выступления на отраслевом совещании, – за последние полгода, только основы, ну, как он умеет. Всех след простыл, а Павел Арсентьевич терзался муками слова, пока сдал перелицованный текст злой золотозубой блондинке, распускавшей свитер в пустом машбюро.

Перед сном он стукнул кулаком по подушке, извлек из тумбочки возле кровати помещенный туда кошелек и дважды пересчитал восемь бумажек пятирублевого достоинства.

– Верочка, – фальшиво и крайне глупо обратился к ней Павел Арсентьевич, – ты зачем сюда-то свой аванс положила?..

Аванс лежал в денежной коробке из-под конфет «Белочка», в бельеовом шкафу. Павел Арсентьевич закурил в спальне. Верочка пошла греть молоко.

От субботника, проводимого в четверг, Павел Арсентьевич неумело попытался увильнуть. («С таким лицом отказать в просьбе – значит обмануть в искреннейших ожиданиях... Непорядочно...») И выгребал Павел Арсентьевич ветошь из закройного без всякого подъема духа.

И подозрения его не могли не оправдаться.

Плюс двадцать ре.

А в пятницу хоронили директора пятого филиала, и отряженный от лаборатории Павел Арсентьевич стоял с траурной повязкой среди венков с лицом воистину скорбным...

Плюс двадцать ре.

В его отсутствие Верочка погасила задолженность за квартплату, прибегнув к сумме из этого кошелька. Грянула сцена.

Убедившись в недостатке, Павел Арсентьевич хлопнул своим персональным Клондайком об стену и призвал Верочку в спальню.

– Что – это? – твердо спросил он.

Верочка засвидетельствовала:

– Это деньги.

– Откуда? – надавил Павел Арсентьевич. Для него такая интонация являлась признаком значительного раздражения.

Верочка ответила:

– Из кошелька, – и нервно засмеялась.

Ночное совещание постановило: ну его к лешему. Унизительно и небезопасно. Что надо – на то они сами заработают. Еще неизвестно, откуда эти деньги в кошельке берутся. И вообще, что это за кошелек такой. Может, здесь такое замешано, что потом грехов не оберешься. Лучше держаться подальше. А посему – сдать в бюро находок, и пусть кому принадлежит – тот и владеет.

На Литейном, в бюро находок («гибрид сберкассы и камеры хранения вокзала»), Павел Арсентьевич заполнил за стойкой бланк. Похожий на гардеробщика в синем халате старик казенно кивнул. Павел Арсентьевич сунулся в карман, засуетился и оцепенел: забыл дома... Конфуз вышел.

Перерывали дом всей семьей. Валерка брезгливо возил веником под ванной. Светка, перетряхивая игрушки, деловито разломала старую гармошку и нелюбимую куклу Ваньку под предлогом поисков внутри них. Посреди развала Верочка прозрачно посмотрела Павлу Арсентьевичу в глаза, влезла рукой во внутренний карман его пиджака и достала искомый предмет.

Предмет содержал сто десять рублей.

Вдвое против вчерашнего.

– Паша, – сказала Верочка и оробела, – может, так надо?..

– Кому? – резонно возразил Павел Арсентьевич. И сам себе ответил: – Мне – нет. – Подумал и добавил: – Тебе – тоже нет.

Еще мысль проплыла, что у Танечки есть дубленка, а у Верочки нет, что у Сергеева имеется знакомый частник-протезист, вставляющий фарфоровые зубы... Вздохнул Павел Арсентьевич и обнял жену.

Теперь перед высокой двустворчатой дверью бюро он зафиксировал кошелек в кармане. По заполнении бланка карманы в совокупности содержали: носовой платок, сигареты «Петровские», спички, ключи от дома и почтового ящика и шестирублевую проездную карточку на декабрь. Абзац.

В заснеженном сквере у метро «Чернышевская» он закурил на скамеечке; осенился – проверил.

Достал.

Пересчитал. Двести двадцать как одна копеечка.

«Удваивает, негодяй...» – прошептал Павел Арсентьевич.

Зажал постыдный рог изобилия в кулаке и направил решительные шаги обратно.

Кошелек неукоснительно исчез при пересечении линии порога и появился по выходе. Павел Арсентьевич мрачно произнес не к месту фразу: «Вот так верить людям» и пошел вон.

Четыреста сорок.

Выкинуть? Ну, знаете... Да и... тоже не получится...

Следующий отчаянный заход добавил пятерку. Эта мелочность подачи воспринималась особенно оскорбительно. Мол, не ерунди, дядя, ты уже все понял.

Умница Верочка самочинно приобрела бутылку «Старого замка», и два зеленоватых стаканчика с вином светились, как в добрую старь, на тумбочке у кровати.

Выявленная закономерность не поддавалась материалистическому истолкованию, а в идеалистическом они были не сильны. Ученый совет твердого мнения не вывел. Информацию постановили во избежание труднопредсказуемых последствий не распространять, а в качестве дополнительных мер предпринять походы в филиал Академии наук и районное отделение милиции, а также дать объявление в «Вечерку».

Насчет Академии наук Павел Арсентьевич представлял себе туманно, а вывеска милиции молочно белела по соседству. Сержантик в рыжих бакенбардах понимающе проследил, не отрываясь от телефона, как потерянного вида гражданин охлопал себя по груди и бокам, покраснел и ретировался.

Обозвав себя аферистом, Павел Арсентьевич за углом ревизовал утаившиеся от органов средства, каковые увеличил таким образом на один ветхий рублишко: кошелек явно издевался.

Объявление в «Вечерке» незамедлительно потерялось: никаких отклонений и неожиданностей. Кошелек приветствовал разменной монетой двадцатикопеечного достоинства.

Нежелание очевидного позора удержало от контактов с Академией наук.

Дома густела неопределенная напряженность. Павел Арсентьевич запретил себе вдаваться в ее анализ, крепя заслон от предательски неверных соблазнов. Воля его подрагивала и держалась, как флагшток среди туманных руин.

– А многие бы радовались, – простодушно заметила Верочка. – В конце концов, он же платит тебе за добрые дела... – интонация звучала неопределенно...

– И даже за добрые намерения, – помедлив, продолжил неподкупный муж. – Ладно...

Под ее боязливым взглядом он вынул из кошелька четыреста сорок шесть рублей двадцать копеек и спустился в морозный и мирный вечер, ощущая себя чужим самому себе.

Начав твердым почерком заполнять бланк почтового перевода, он обнаружил, что адреса Министерства финансов не знает. Приемщица, озабоченная краснотой своих глазок девочка, усмотрела в вопросах насмешку, но пошла советоваться с другой девочкой, озабоченной линией челки. Под их взглядами Павел Арсентьевич занервничал, как объявленный к розыску преступник при опознании, и рассудил, что министерство не может принять на баланс сумму неизвестно откуда, а как оформить – он не знает. Да и адрес не выяснился.

Назавтра в обеденный перерыв он составил в профкоме фирмы заявление о перечислении в Фонд мира. Оформили деловито и спокойно, но вспоминался Павлу Арсентьевичу медосмотр призывников: стоишь голый перед женщинами, и за профессиональной обыденностью все равно угадывается простецкий и стыдный интерес.

– И что теперь? – задала Верочка вопрос после ужина.

– А что теперь? – благодушно отозвался Павел Арсентьевич, отметивший славный день двумя кружками пива и теперь размышлявший о парилке.

Верочка протянула кошелек:

– Пятсот.

– Черт какой, – печально молвил Павел Арсентьевич. – А?..

– А я еще когда за тебя выходила, знала, что все у нас будет хорошо, – прорвало вдруг и понесло Верочку. – Мне девчонки наши говорили: «Смотри, Верка, наплачешься: хороший человек – это еще не профессия. Он же такой у тебя правильный, такой уж – все для всех, весь дом раздаст, а сами голые сидеть будете». Но я-то чувствовала, что все не так.

Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Арсентьевича задело неприятно... Нечто не совсем ожидаемое и знакомое было в нем...

– Паша, – тихо сказала Верочка и вдруг заплакала. – Ну что ты мучишься?.. Уж неужели ты не заслужил?..

– Да что ты несешь? Что заслужил? – в бессилии и жалости вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. – Устал я!

– Все же... все тобой пользуются. Должна же быть справедливость на свете...

– Какая еще справедливость! – закричал Павел Арсентьевич, комкая в душе белый флаг капитуляции. – Квартиру дали, зарплаты получаем, в доме все есть, какого рожна?!..

И нелепо подумалось, что ему сорок два года, а он никогда не носил джинсов. А ведь у него еще хорошая фигура. А джинсы стоят двести рублей. А Светка через десять лет станет невестой...

По лаборатории ползли слухи. Скромный облик Павла Арсентьевича обогатился новой чертой некоей оживленной злости. Предначертанность отчетливо проступила с прямизной и однозначностью рельсовой колеи.

И – лопнул Павел Арсентьевич. Сломался. (И то – сколько можно...)

...В Гостином поскользнулся на лестнице, в голове волчком затанцевала фраза: «На скользкую дорожку...», и он не мог от нее отделаться, когда отсчитывал в кассу за венгерскую кофту кофейного цвета, исландский кофейной же шерсти свитер, куклу-акселератку со сложением гандболистки, когда принимал у нагло-ласковых цыганок пакеты с надписью «Монтана» и на Кузнечном рынке набивал их нежнейшими, как масло, грушами, просвечивающим вином...

градом, благородным липовым медом желтее топаза, когда в винном, затовариваясь марочным коньяком и шампанским, в помрачении ерничая выстукал чечетку («Гуляет мужик... с зимовки вернулся», – одобрительно заметили за спиной), когда оставшиеся сорок семь рублей, доложив три двадцать своих кровных, пустил на глупейшую якобы хрустальную вазочку в антиквариате на Невском.

– Откуда приехал? – со свойским одобрением спросил таксист у разваливающейся груды материальных ценностей на заднем сиденье, меж которыми вертелась кроличья ушанка Павла Арсентьевича.

– С улицы Верности, – зло отвечал Павел Арсентьевич. – Дом тридцать шесть.

Себе он приобрел десять пар носков и столько же носовых платков, приняв решение об отмене всяческих стирок. Хотел еще купить стальные часы с браслетом, но денег уже не хватило.

Неуверенный возглас и заблудившаяся улыбка Верочки должны были изобразить их невинность, непричастность к свалившемуся изобилию – ну, как если бы они получили наследство от дальнего и забытого родственника. Светка возопила о Новом годе; Валерка удивился отсутствию нравоучений. Павел же Арсентьевич издал неумелое теноровое рычание, отведаль коньяку, пожалел, что не водка или портвейн, и припечатал точку – веку воткнул: «Ну и черт с ним со всем». Перевалив внутренний хребет самоуничижения, он почувствовал себя легче.

Валерка высказался в том духе, что лучше б часы, а не свитер.

Светка, чуя неладное, опасалась, что утром все исчезнет.

Верочка прикинула кофту и пошла в спальню с выражением то ли оценить вид, то ли всплакнуть.

А Павел Арсентьевич заполировал коньячок шампанским, мелодично отрыгнувшись, и напомнил себе записаться на прием к невропатологу и получить рецепт на снотворное.

Однако спал он чудно. Снились ему джунгли на необитаемом острове, среди лиан порхали пестрые попугаи с деньгами в клювах, а он подманивал их манной кашей, варящейся в кошельке, втолковывая, что кошелек портится без денег, а попугаи гибнут без каши, и если он не наденет джинсы, то они не научатся говорить, усовещивая, что машина ему не нужна – не пройдет в джунглях, а вездеход ему, как частному лицу, не продадут.

– Для вас! – кричал он, шлепая по теплой каше ладонью. Попугаи ворковали, кружась: «Паша, Паша...» – но денег не выпускали.

– Паша, – сказала Верочка, дуя ему в лицо. – Не кричи... Ты дерешься...

Случай предоставился тут же: в Архангельске упорно не клеил Л-14НТ, зато клеил немецкие моющиеся обои дома Модинов и уламывал каждого откомандироваться за него. Сборы Верочкой «командировочного» чемодана Павла Арсентьевича и проводы в аэропорт носили невысказанный подтекст.

Под порошистым небом Архангельска звенела стынть; маленькая одноэтажная фабричка оказала ему прием – авторитет! – забронировали гостиничную одиночку, директор попотчевал в ресторашке... неудобно...

Возясь до испарины в обе смены, с привычной скрупулезностью проверяя характеристики состава и режима выдержки, не мог он не думать – сколько это будет стоить... Раскумекав простейшее и указав парнишке-директору дать разгон намазчицам за свинскую рационализацию (мазали загодя и точили лясы), честно признал, что и за так работал бы не хуже.

На родном пороге, отряхая с себя пылицу северной суровости и вручая домочадцам тапочки оленьего меха с вышивкой, оттягивал ожидаемое...

Возмутительно суммой в три рубля оценил кошелек добросовестнейшую наладку клевого метода крепления низа целому предприятию. Уязвленный и разочарованный Павел Арсентьевич слегка изменился в лице.

– Как же так? – произнесла Верочка с обманутым видом. – И здесь тоже... – Подразумевалось, что ее представления о справедливости и воздаянии по заслугам в очередной раз не совпали с действительностью.

Так что билеты в Эрмитаж на испанскую живопись, из таковой все равно знавший лишь фамилию Гойя и картину «Обнаженная маха», Павел Арсентьевич уступил Шерстобитову хотя и готовно, но не без некоторого внутреннего раздражения. Все же, когда за добро хотят платить – это одно, но подачки...

Однако оказалось – десятка... Хм?..

Участие в составе комиссии по проверке санитарного состояния общежития профессионального училища – двадцать.

Составление техкарты за сидящую на справке с сыном Зелинскую – тридцать.

Передача Володке Супруну двухдневной путевки в профилакторий «Дибуну» – сорок.

С неукоснительной повторяемостью прогрессии выростала привычка, растворявшая душевное неудобство. В свободные минуты (дорога на работу и с работы) Павел Арсентьевич пристрастился размышлять о природе добра и предназначении человека.

В фабричной библиотеке он выбрал «О морали» Гегеля, с превеликим тщанием изучил первые четыре страницы и завяз в убеждении, что философия не откроет ему, откуда в кошельке берутся деньги.

Принятие на недельный постой покорного сорокинского кота (страдалец Сорокин по прозвищу «Иов» вырезал аппендицит) – девяносто рублей.

Провоз на метро домой Модина, неправильно двигавшегося после отмечания своего сорокалетия, и вручение его жене – сто рублей.

Добросовестнейший Павел Арсентьевич постепенно утверждался в мысли о правомерности своего положения. Говорят, период адаптации организма при смене стереотипа – лунный месяц. Так или иначе, – к Новому году он адаптировался.

– Не исключено, – поделился он мыслями с Верочкой вечером на кухне, – что подобные кошельки у многих. Как ты думаешь?..

Верочка подумала. Электрические лучи переламывались в белых плоскостях гарнитура. Новый холодильник «Ока-III» урчал умиротворенно. Она соотнесла оклады знакомых с их приобретениями и признала объяснение приемлемым.

Доставка трех литров клея для нужд школьного родительского комитета – сто пятьдесят рублей.

Помощь при переезде безаппендиксному Сорокину – сто шестьдесят рублей.

И азартность оказалась не чужда Павлу Арсентьевичу: впервые конкретный результат зависел лишь от его воли. Дотоле плавное и тихое течение неярких дней взмутилось и светло забурлило. Краски жизни налились соком и заблистали выпукло и свежо. Прямая предначертанности свилась в петлю и захлестнула горло Павла Арсентьевича. Жажда стяжательства обуяла его тихую и кроткую душу.

Павел Арсентьевич втянулся, превращаясь в своего рода профессионала. Деловито вертел головой: что еще он может сделать? Проходя коридором, бросался в дверь, за которой двигали столы. Отправлялся в дружину каждую субботу; лаборатория переглядывалась: дома, видать, нелады...

Дома были лады. Очень даже. Жить стали как люди.

Павел Арсентьевич отыскивал молоток и гвозди и чинил ветеранше фабричной химии Тимофеевой-Томпсон каблук, вечно отваливавшийся вследствие ее индейской, подвернутой носками внутрь походки. До полуночи подвергался психофизическим опытам темпераментного отпрыска Зелинской, посещавшей театр. Сдав в библиотеку многомудрого Гегеля, до закрытия расставлял с девочками кипы книг по стеллажам; в благодарность его собрались наградить «Ночным портье», – он отказался с испугом...

– Вы похорошели, Павел Арсентьевич, – отметили Зелинская и Лосева, оглядывая его енотовую шапку. – Что-то такое мужское, знаете, угрюмоватое даже в вас появилось.

Зеркало ни малейших изменений не отражало, но, уловив несколько «женских» взглядов, Павел Арсентьевич решил, что нравиться еще вполне может. Ничего такого.

Беспокоила лишь работа. Времени на нее не хватало. Он опасался, что это заметят, но каким-то образом дело двигалось, в общем, ничуть не медленнее, чем раньше. С облегчением убедившись в этом, он успокоился.

Верочка (при дубленке) записалась на финский мебельный гарнитур «Хельга», и тут оказалось, что срочно продают новый югославский, но деньги нужны в четыре дня. Исходя из соображений, что мебель дорожает, решили деньги собрать.

С оттенком сожаления припоминал Павел Арсентьевич, сколько в прошлом не было ему оплачено. Ну – ...

Он приналег. Хватал на тротуаре старушек и переводил их под ветхий локоток через переход. В столовой помогал судомойке собирать грязную посуду. Занимал на всех очередь за апельсинами и бежал предупреждать, выстаивая после два часа в слякоти. Навестил в больнице Урицкого, на Фонтанке, помирающего Криничкина. В густом и теплом запахе урологического отделения Павел Арсентьевич сомлел. Криничкин, желтый, облезлый и старенький, был толковым химиком и работал в их лаборатории с самого ее основания. Все он понимал, кивал и спокойно улыбался с плоской подушки; и казалось, что боль его проявляется в этой улыбке... Павел Арсентьевич принес ему конфеток, свежих журналов, три гвоздички, передал приветы от всех... Ах ты, господи...

Сумма сложилась. Кошелек выдавал теперь по триста за раз. Удар настиг с неожиданной стороны. Сергеев, косясь на польские сапожки Павла Арсентьевича, хмурясь и крикая, попросил одолжить тысячу на год: водил рукой по горлу и материл жулье-авторемонтников и кандидата-гинеколога, пользовавшего жену частным образом.

Павел Арсентьевич сохранил самообладание.

– Пашка, ты меня угробишь, – отреагировала на известие Верочка.

Вздохнули. Поугрызались.

Плюнули. Дали.

Разрешилось неожиданно: утром Павел Арсентьевич вручил тысячу деловито-счастливому Сергееву вечером Верочка вынула из кошелька тысячу двести.

– Па-авлик, – прошептала ночью Верочка и потерлась об него носом, – у меня такое ощущение, будто мы с тобой моложе стали...

– Ага, – признался он.

Новый способ был прост и хорош. Павел Арсентьевич стал давать деньги в долг. Расслоились слухи о наследстве из-за границы. Неопределенными междометиями Павел Арсентьевич оставил общественное мнение пребывать в этом предположении, достаточно для него удобном. Облаготельствование проводилось с глазу на глаз с присовокуплением просьб – и обещаний в ответ – не распространяться. Однажды Павел Арсентьевич в неприятном смысле задумался об ОБХСС; позже его удивило, что тогда он этой мысли не удивился...

Черно-вишневый с бронзовой отделкой югославский гарнитур, компактный и изящный, включал в себя тумбочку под телевизор. На каковую и поставили цветную «Радугу», свежая старенький «Темп» в скупку в Апраксином.

Купаясь мысленным взором в синдбадовых красочных далях «Клуба кинопутешествий», Верочка развесила витиеватую фразу:

– И какая же белая женщина не мечтает сидеть дома и заниматься семьей – при наличии достатка, – прибегая к общественно полезной деятельности эпизодически и в необременительной форме, по мере возникновения потребности, но не регулярнее и чаще.

Павел Арсентьевич соотнес Гавайские острова с грядущим летом и неуверенно завел речь о Сочи.

– Этот муравейник в унитазах? – удивилась Верочка с пугающей прямолинейностью выражений. – Приличные люди давно туда не ездят.

И настояла на Иссык-Куле: горный воздух, экзотика и фешенебельная удаленность от перенаселенных мест.

Под черным флагом пиратствовал Павел Арсентьевич в обманчивом океане добрых дел.

Но петля оказалась затяжной. Павел Арсентьевич пытался сообразить, чего ему не хватает. Первые признаки недовольства он обнаружил в себе через несколько месяцев.

В яркое воскресенье, хрустя по синим корочкам подтаявшего снега, Павел Арсентьевич высыпал помойное ведро и с тихой благодетельностью помедлил, постоял. В безлюдном (время обеда) дворе обряженная кулема на качелях – Маришка из второго подъезда – старательно сопя, пыталась раскачаться. «Сейча-ас мы...» – Павел Арсентьевич подтолкнул, еще, Маришка пыхла и испускала сияние от удовольствия и впечатлений.

В лифте он вспомнил... и не то чтобы даже омрачился... но весь тот день не исчезала какая-то тень в настроении.

С этого эпизода, крупинки, началась как бы кристаллизация насыщенного раствора.

Павел Арсентьевич честно спросил себя, не надоели ли ему деньги, и так же честно ответил: нет. Неограниченность материальных перспектив скорее вдохновляла. Но...

Накапливалась одновременно и какая-то связанность, усталость. Он больше не был ни легок, ни чудаковат, и сам знал это. Павел Арсентьевич отметил в себе моменты внутреннего злорадства при совершении своих добрых дел. Мол, нате, – а знали бы вы... Стал ловить себя на нехороших, неожиданно злых мыслях.

Он понял, что профессия оказалась тяжелее, чем он предполагал. И, пожалуй, оплата, как ни высока она теперь была, производилась все же по труду. Этот успокоительный вывод, вместо того чтобы укрепить душевное равновесие Павла Арсентьевича, непонятным образом усиливал внутреннее раздражение.

Система меж тем функционировала отлаженно, от Павла Арсентьевича даже не требовалось личной инициативы. Однако к каждому поступку ему теперь приходилось понуждать себя, и он отчетливо сознавал это.

Бунт вызревал в трюме, как тыква в погребе.

Но сначала в марте пришло письмо от брата, из Новгорода. Просил приехать.

Затемно в субботу Павел Арсентьевич и отбыл «Икарсом» с Обводного и вкатил в Новгород серебряно-солнечным утром.

В ободранной квартире, похмельный – нехорош был брат... После ухода жены (несколько лет назад) он тосковал, запивал иногда, говорил о жизни, жалел всех и все пытался объяснить...

Они пили в кухне, нежилой, голой – два брата, два невеселых стареющих мужика, и думал Павел Арсентьевич, что лучше б Нина его разлюбезная ушла гораздо раньше, и все бы тогда еще сложилось счастливо, пьянел, считал ее стервой и шлюхой, а потом и ее жалел, и бубнил неискренне, что все к лучшему, и искренне – что она из тех, на ком вообще жениться нельзя...

Наутро брат встал снова черен, Павел Арсентьевич потащил его выгуливать, под закопченными сводами «Детинца» осетрину по-монастырски медовухой запили, а вечером дома он заставил его разгребать мусор, пришивать номерки к грязному белью и менять перегоревшие лампочки.

В понедельник, позвонив Агаряну и Верочке на работу, он хозяйничал, купил новые занавески и швабру, мыл пол, все заблестело, а вечером выпили – уже немного, перебирали детство, пили за детей, поминали отца и мать и плакали.

Павел Арсентьевич подарил брату кофейный пиджак и приемник «Океан» и велел приезжать на следующие выходные.

А дома он вынул из кошелька толстую пачку зеленых пятидесятирублевых. Глупо подумал, что доллары – тоже зеленого цвета...

В пушистом кофейном джемпере и вранглеровских джинсах он сел за семейный стол и поковырялся в индейке.

Вызревшая тыква оказалась бомбой, стенки разлетелись, локомотив сошел с рельс и замолотил по насыпи.

Эффект в лаборатории оказался силен. Даже очень силен.

Павел Арсентьевич явился на работу ровно в восемь сорок пять и закрыл за собой дверь, уходя, ровно в семнадцать пятнадцать. Масса ужасных вещей вместились в этот промежуток времени.

В восемь пятьдесят пять он отказался утрясать вопросы с технологами.

– Супрун, – с сухим горлом ответил он, – это компетенция начальника группы. Или завлаба. Я запустил работу. Пусть прикажут – тогда пойду.

Супрун растерялся, стушевался, просил извинения, если обидел, и только потом обиделся сам.

Алексей Иванович Агарян, заглянувший с мягким пожеланием приналесть, получил ответ:

– Кто везет – того и погоняют.

Агарян обомлел и ущипнул себя за усики. Похолодевший от усилия над собой Павел Арсентьевич стал точить карандаш.

Каждый час он выходил на пять минут курить в коридор, и в лаборатории словно включали тихо гудящий трансформатор: «Крупные неприятности... ОБХСС... вызывают в Москву... любовница...»

– Извините – я ни-чего не могу для вас сделать, – ласково, с состраданием даже сказал он бескаблучной Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон. Старая дама в негодовании ушла к затыжчикам.

Теперь Павел Арсентьевич не садился в транспорте, чтоб не уступать потом место. На улице смотрел прямо перед собой: пусть падают, кому нравится, его не касается. Отворачивался, когда женщины брались за пальто: не швейцар.

Существование его двинулось в перекрестии пронизывающих взглядов; они вели его, как прожекторные лучи намеченный к сбитию самолет.

В последующие дни он отказался от встречи с подшефными школьниками, овощебазы, дружины и стояния в очереди за колготками, заполучив неприязнь Тимофеевой-Томпсон, Зелинской и Лосевой, Шерстобитова, который все еще не женился, но уже на другой, и Танечки Березенько. В его отсутствие для успокоения общественного самолюбия решили, что Павел Арсентьевич нажил расстройство нервов вследствие переутомления.

Без двадцати семь он являлся домой с продуктами из универсама, с аппетитом обедал, шутил, возился со Светкой, мыл посуду, декламировал прочувственные нравоучения Валерке и читал в постели журнал «Юный натуралист».

По истечении пятнадцати суток этого срока испытаний он получил пятьдесят пять рублей аванса, кои и вручил Верочке со скромным и горделивым видом наследника, отрекшегося от миллионов и заколотившего копейку грузчиком в порту.

Кошелек пятнадцать суток провел в запертой на ключ тумбочке; ключ был упрятан в старый портфель, а портфель сдан в камеру хранения.

По освобождении кошелек предъявил тысячу восемьсот пятьдесят рублей: на полсотни больше последней выдачи, как и наладился.

Спорить и бессмысленно ломиться против судьбы они с Верочкой не стали, деньги отложили, а часть пустили на жизнь.

Ночью в туалете Павел Арсентьевич составил крайне детальный список: что в жизни делать обязательно, а что – сверх программы. «И никакого произвольного катания, – шептал он, – никакой самодеятельности».

Жизнь приобрела напряженность эксперимента. Павел Арсентьевич боялся лишний раз улыбнуться. Мучился, взвешивая каждое слово. Дома обедал, смотрел телевизор и ложился спать – все. «Как все нормальные мужья», – веско объяснил Верочке.

Еще пятнадцать суток.

Тысяча девятьсот.

Нехороший блеск затлел в глазах Павла Арсентьевича. Ночами он просыпался от сердцебиений (по-современному – тахикардия).

Назавтра, скованный от злости, он сидел в вагоне метро, отыскивая глазами женщин постарше, поседевшие; и сидел.

Танечке Березенько ни с того ни с сего вlepил, что надо соотносить траты со средствами.

В скороходовском дворе оглянувшись, подобрал камешек и с силой запустил в голубя; не попал.

Сергееву велел пошевеливаться с долгом; он не миллионер.

Тимофеевой-Томпсон прописал ходить в обуви без каблуков: и по возрасту приличнее, и для ног легче. «А также для чужих рук», – негромко добавил.

Какие услуги!..

Пружина разворачивалась в другую сторону: треск и щепки летели. В воздухе лаборатории пыльным цветом распустились нервные колючки.

Зелинской и Лосевой было велено пройти заочный курс техникума легкой и обувной промышленности, а также бросить бегать в театр и записаться – с целью замужества – в клуб «Тем, кому за 30».

Агаряну было положено заявление о десятке прибавки. Агарян вырвал два волоска из усов, подписал и двинул в бухгалтерию.

Павел Арсентьевич ждал конца этих пятнадцати суток, как зимовщик – уже показавшегося на горизонте корабля со сменой. Корабль подвалил, и в пену прибоя посыпались с автоматами над головой десантники в чужой форме.

Тысяча девятьсот пятьдесят.

Любимым местом в доме постепенно стала у Павла Арсентьевича ванная. Там он мог быть один, долго и вроде по делу. Он пристрастился сидеть там часа по два каждый вечер; дети мыли руки перед сном на кухне.

Он сидел под душем, хлещущим по разгоряченному лысеющему темени, время от времени высываясь к прислоненной у мыльницы сигарете. «Гад, – шептал он, затягиваясь, – паразит, врешь, что хочу, то и делаю».

Чего он хотел, он уже решительно не знал, а делал следующее:

Потребовал двухдневную путевку в профилакторий; и получил, и не поехал, но Сорокин тоже не поехал.

Совершил прогул: вызвал врача, настучал градусник, подарил коробку конфет и получил больничный по гриппу на пять дней. Позвонил в лабораторию (телефон стоял давно – триста ре) и злобно потребовал навестить его – как он навещал всех. Вечером примчалась делегация в составе Зелинской и Лосевой с хризантемами и Супруна с «Мускатом», которую Павел Арсентьевич и велел Верочке не пускать, передавая, что он заснул впервые за двое суток.

Вышел в день совещания по итогам первого квартала, потребовал слова и вознес ханжеским голосом льстивую и неумеренную хвалу администрации, заработал неожиданно аплодисменты, спохватился и тут же подверг администрацию черной клеветнической критике, а деятельность родной лаборатории смешал с грязью, предложив чистку, ревизию и пересмотр

планов работы и штатного расписания, снова сорвал аплодисменты и с легким сердечным приступом был отвезен домой на такси.

Кошелек платил. Павел Арсентьевич потерял всякую ориентацию, словно слепой в неведомости. Он обратился к своей душе, узрел в ней скверну и грянул во все тяжкие. Перестал здороваться с соседями по площадке. В комиссионке предложил взятку продавцу за японские электронные часы «Сейко»; часы нашлись тут же.

На грани невменяемости Павел Арсентьевич украл в универсаме пачку масла и банку сардин, заставил кассиршу дважды пересчитать и вслух сказал: «Жулье». Он стал пить и ругаться. Кошелек платил.

В два часа ночи Павел Арсентьевич обнаружил себя в незнакомой комнате и почти в такой же степени незнакомой постели, где лежала незнакомая женщина. Восстановив в памяти предшествующие события, он убедился, что изменил Верочке сознательно. Домой назло не звонил и пришел лишь вечером после работы. Был принят с пониманием и уважением – усталый добытчик, глава семьи. Кошелек заплатил.

Ушибившись о бесплодные крайности, Павел Арсентьевич решил попытать счастья в золотой середине. И бросил делать вообще что бы то ни было.

Он бросил ходить на работу. И вообще никуда не выходил. Поставил в ванную переносной телевизор, бар и пепельницу и сидел целыми днями среди благоухающих сугробов немецкого шампуня, пил черный португальский портвейн по шесть пятьдесят бутылка, курил крепчайшие кубинские «Партагас» и прибавлял теплую воду.

Верочка плакала...

Кошелек платил.

Холодным апрельским утром Павел Арсентьевич умыл лицо, побрился, выпил крепкого чаю, надел старую синюю нейлоновую куртку, сел в троллейбус, доехал до Дворцового моста и с его середины кинул кошелек в воду. Выпил кружку пива, позвонил на работу, сообщил, что тяжело болел и завтра придет, дома произвел уборку, приготовил обед, забрал удивленную и обрадованную Светку из садика и поведал пришедшей Верочке финал всех событий.

– Ну и слава богу, – сказала Верочка, с лица которой словно сняли теперь светомаскировку. – Так и лучше.

Вечером они ходили в кино. И весь следующий день тоже был славный, теплый и прозрачный.

А дома Павел Арсентьевич увидел кошелек. Он лежал на их постели, отсыревший, и на покрывале вокруг расходилось влажное пятно. На тумбочке испускала струйку кучка мокрых денег.

– Ааа-аа!... – голосом издыхающего барса сказал Павел Арсентьевич.

– Пришел, – сказал кошелек. – Мерзавец... Свинья неблагодарная. – И простуженно закашлял. – Ты соображаешь хоть, что делаешь?

Павел Арсентьевич взвизгнул, схватил обеими руками мокрую потертую кожу, выскочил на балкон и швырнул ее в темноту, вниз, на асфальт.

– Вот так, – хриповато объявил он семье. И не без рисовки стал умывать руки.

Назавтра, отворив дверь, по лицам домашних он сразу почуял неладное.

Кошелек сидел в кресле под торшером. Нога у него была перебинтована. Он привстал и отвесил Павлу Арсентьевичу затрещину.

– Он в травматологии был, – хмуро сообщил Валерка, отведя глаза.

Окаменевшая Верочка двинулась на кухню. Кошелек потребовал чаю с лимоном. Отхлебнул, поморщился на чашку и сказал, что даст на новый сервиз, хотя они и не заслужили.

Петля стянулась и распустилась сетью: началась оккупация.

Кошелек велел, чтоб его величали Бумажником, но откликался и на Портмоне. Запрещал Светке шуметь. Ночью желал пить чай и читать биографии великих финансистов, за кото-

рыми гонял Павла Арсентьевича в букинистический. На дверь ванной наклеил голую девицу из журнала. По телевизору предпочитал эстрадные концерты и хоккейные матчи, сопровождая их комментарием, кто сколько получает за выступление. Во время передачи «Следствие ведут знатоки» клеветал: говорил, что все они взяточники и сажают не тех, кого следует, и поучал, как наживать деньги, чтоб не попадаться. И за все исправно платил.

Под его давлением Верочка записалась в очередь на автомобиль и на кооперативный гараж. Кошелек обещал научить, как повернуть все в полгода.

Однажды Павел Арсентьевич застал его посылающим Валерку за коньяком, с наказом брать самый лучший. Валерке сулился магнитофон к лету.

Верочка говорила, что теперь уже ничего не поделаешь, а когда они поменяют с доплатой свою двухкомнатную на четырехкомнатную – она уже нашла маклера, – то у Бумажника будет своя комната, и все устроится спокойно и просторно.

Именование его кошелька Бумажником Павлу Арсентьевичу очень не понравилось. Еще менее ему понравилось, когда Кошелек погладил Верочку ниже спины. Судя по отсутствию у нее реакции, случай был не первый.

Павел Арсентьевич пригрозил уволиться с работы и пойти в ночные сторожа. Кошелек парировал, что он может хоть вообще не работать – хватит и работающей жены, с точки зрения закона все в порядке. Да хоть бы и оба не работали, плевать, с милицией он сам всегда сумеет договориться.

Павел Арсентьевич замахнулся стулом, но Кошелек неожиданно ловко ударил его под лопатку, и он, задыхнувшись, сел на пол.

Когда Светка гордо объявила, что подарила Маришке из второго подъезда синий мячик и помогала искать котенка, Павел Арсентьевич напился до совершенного забвения, попал в вытрезвитель, из которого и был извлечен через час телефонным звонком Кошелька.

...Билет он взял в кассах предварительной продажи на Гоголя. До Ханты-Мансийска через Свердловск. Там есть и егеря, и промысловая охота, и безлюдность и отсутствие регулярного сообщения, – он прочитал все в энциклопедии. Друг его институтского друга работал в тех краях лесничим. Пристроит.

Он оставил Верочке письмо в тумбочке и поцеловал спящих детей. Чемодана с собой не брал. Одолжит денег и купит все на месте.

Утро в аэропорту было ветреное и ясное. Самолеты медленно рулили по бетонному полю и занимали место в ряду. Гулко объявили регистрацию на его рейс.

Павел Арсентьевич прошел контроль, магнит, стал в толпе ожидающих выхода на посадку и засвистал пионерскую песенку.

Подъехал желтый автобус-салон, прицепленный к седельному тягачу-ЗИЛу, дежурная сдула кудряшку с глаз и открыла двери; все повалили.

Трап мягко поколебался под ногами, и Павла Арсентьевича принял компактный комфорт лайнера. Его место было у окна.

Салон был полупустой и прохладный. Павел Арсентьевич застегнул ремень, улыбнулся и закрыл глаза. Дверца хлопнула. Трап отъехал. Засвистели турбины, снижая мощный тон. Они тронулись.

Потом город в иллюминаторе накренился, бурая дымка подернула его уменьшающийся постепенно чертеж, и Павел Арсентьевич задремал.

– Минеральная вода, – сказала стюардесса.

Павел Арсентьевич протянул руку к подносу, и тут же протянулась к пластмассовой чашечке с ручкой без отверстия рука соседа. Рядом сидел Кошелек.

Он солидно раскинулся в кресле у прохода и благосклонно разглядывал круглые коленки стюардессы под смуглым капроном.

– А покрепче ничего нет? – со слоновой игривостью поинтересовался Кошелек, поднимая доброжелательный взгляд к ее бюсту.

– Покрепче нельзя, – без неудовольствия отвечала стюардесса, и в ее голосе Павел Арсентьевич с тоской и злобой различил разрешение на подтекст. Она повернулась с пустым подносом и пошла за следующей порцией.

– А? – сказал Кошелек и подмигнул вслед стройному и округлому под синим сукном. – Ни-че-го... В Свердловске они на отдых пойдут; там посмотрим. Выпьем, причастимся? А то ведь с утра не выпил – день пропал.

Он вынул из внутреннего кармана плоскую стеклянную бутылочку коньяку.

– Потом в туалете по очереди покурим, точно? А в Свердловске хватай в буфете два коньяка и дуй прямо к диспетчеру по пассажирским перевозкам. А то мы с тобой в Ханты-Мансийск до морковкиных заговен не улетим.

А вот те шиш

Осенняя набережная курортного города.

– Приветствую!

– Виноват?..

– Багулин? Я не ошибся.

– Решительно не могу припомнить...

– Вы изменились меньше, чем я. Тридцать шестой, Москва, а?

– А-а!.. да-да... но все же?..

– А избушка под Тулой, зима?

– Так-так-так-так... ну же!

Багулин,

около 70 лет, хорошо сохранившийся, рослый, седина малозаметна в густых русых волосах. Одет тщательно, с учетом моды; манера держаться добродушно-покровительственная. Чувствуется, что человек этот себя уважает и собой доволен, к тому имея основания.

Арсентий,

того же возраста, но выглядит старше. Худощавый, нервный; некоторую неуверенность в себе прикрывает иронией и порывистой решительностью. Новая одежда топорщится на нем, вызывая сходство с манекеном в провинциальном универмаге. Впечатление производит неопределенное: не знаешь, чего ожидать от такого человека.

Обозначим их для краткости просто **Б.** и **А.**

Чуть отодвинувшись, они оценивают друг друга.

А. Вот – встреча...

Б. Вот встреча! Через века, а!

А. Какими судьбами здесь?

Б. (*хозяйски поведя рукой*). Живу.

А. Здесь? Давно?

Б. Четвертый год. Вышел на отдых – и осел на берегу теплого моря.

А. (*завистливо вздыхает*). Королевский вариант. Хорошо обосновался? Как квартира?..

Б. (*с естественностью*). Купил дом. Сад. Аркадия, понимаешь, и идиллия!..

А. Мечта. Мм. Мечта. Большой?

Б. (*скромная улыбка*). Не слишком. Шестьдесят пять метров. Четыре комнаты, кухня, веранда. Но уютно, знаешь. Жизнь мечтал пожить в своем доме. Купил кресло-качалку! Вечером сядешь в нем на веранде, пледом накроешься, книжку возьмешь, цикады стрекочут, море шумит... Винцо домашнее свое – чистый виноград...

Слушай! Едем ко мне! Мигом. Я на машине. Посидим... Ты-то как?

А. У тебя машина?

Б. Да вот же – синие «Жигули». Ну, едем. Приглашаю. Мы с женой вдвоем, дочка в Киеве, сын в Ленинграде, попробуешь вино...

А. *(сглатывает, покачивает головой, смотрит на часы)*. У меня самолет через три часа.

Б. Куда?

А. В Москву.

Б. Ты там?

А. Да...

Б. Так и прожил?

А. Да...

Б. И откуда сейчас?

А. Из Ставрополя. Впереди гроза, вот посадили, торчим здесь.

Б. Э, так еще сто раз вылет отложат. Едем! От меня позвоним в аэропорт, справимся, – телефон я себе поставил, я тут у них как-никак депутат горсовета.

А. *(мнетя)*. Не могу... У меня там встреча назначена...

Б. *(шутливо грозит)*. Небось какая-нибудь дама?.. Ох, ты старый жук!..

А. *(смуценно)*. Что ты, ну... Может, если хочешь, там посидим в ресторане, а?..

Б. Зря. Точно не можешь?

А. *(вздыхает)*. Точно.

Б. *(напористо)*. Ну!

А. Нет... надо в аэропорт.

Машину Багулин ведет элегантно и со вкусом – он все делает элегантно и со вкусом. На лице Арсентия удовольствие от комфорта, в позе некоторая напряженность.

Б. Работаешь еще?

А. На пенсии...

Б. Какая?

А. Девяносто четыре.

Б. Что ж... Кем ушел?

А. Инженером.

Б. Старшим?

А. Просто инженером.

Б. *(сочувствует со своего высока, уяснив социальный статус старого знакомого)*. Эх, Сенька!.. Как был ты добрым с юных лет – так, небось, и ехали всю жизнь на твоём горбу, кому не лень. Да...

Семья есть?

А. Нет, знаешь.

Б. Женат хоть был?

А. Да как-то все так...

Б. Да. Ясно... Сейчас-то – что делал в Ставрополе?

А. С похорон...

Б. Вот как... Кто?..

А. Сестра.

Б. *(соболезнуя барственным лицом)*. Годы наши... Крепись, старина. Мы мужчины, дело такое...

А. *(спокоен)*. Да. Конечно.

Полупустой по дневному времени ресторан, жизнь аэропорта за стеклянной стеной. Столик в углу; распоряжается за ним, безусловно, Багулин.

Б. Не «Реми Мартен», но коньячок сносный.

А. *(прищипывает)*. Напиток!.. Дорог, слушай, дьявол.

Б. (*полагая, что уловил смысл*). Ты – мой гость сегодня. Да, да, дискуссия закрыта.

А. (*кратко подчиняясь*). Завидую людям, умеющим жить. Всегда завидовал.

Б. (*принимая на свой счет должное; с самодовольством как нормой поведения*). Умение зависит от тебя самого. Вот ты так и остался в Москве. Зачем? Чего всю жизнь цеплялся? Вот – я подался на Восток. Надо было решиться? – надо. Непросто? – ничего страшного. Результат? – налицо. Кандидатская? – пожалуйста. Докторская? – просим. Директор института? – будьте любезны. Трудом? – трудом. Но без этого дикого столичного суетливого напряжения и дворцовой грызни.

А. Я всегда знал, что ты развернешься в жизни. Не сомневался... Ты всегда умел поступать по-крупному. Не боялся резко класть руля... Не всем это дано. Я рад, что ты добился многого. Состоялся. Ты и должен был.

Б. (*учит*). А чего, чего бояться? Осмотрелся, оценил – и давай!

А. (*прислушиваясь к трансляции объявления рейса на Гамбург*). За границей, вероятно, бывать приходилось...

Б. (*небрежно*). Случалось. Англия, Индия, Алжир. Работа, конечно, график жесткий, но присутствовали, прямо скажем, возможности и для удовлетворения любопытства. Такова логика – не боишься медвежьих углов – так видишь мир.

А. (*он уже под хмельком*). Помню давние разговоры. Помнишь!.. Да! Брать судьбу за глотку. Старость... гм... вторая молодость... Молодец. Завидую. Прожил.

Б. (*великодушно*). Ну, и у меня не совсем все по планам выходило. Жизнь, как известно, вносит коррективы.

А. (*с мгновенным проблеском глаз*). Это точно. Вносит.

Б. Но ты на жизнь не вали! Ты голова был, спокойный, дотошный, что я, не помню! Тогда еще говорили: не будь лежачим камнем, умей добиваться!.. Эх, журавеле... журавелов в небе.

Беседа приобретает некоторую бессвязность, которую можно отнести за счет алкоголя. Каждый следует скорее мыслям собственным, чем отвечая собеседнику. Впрочем, такой стиль позволяет яснее понять их настроения.

А. Пиджак у тебя шикарный.

Б. Лайка. У нас – четыреста рублей. Дочь из ГДР привезла.

А. Это – она в Киеве?

Б. Преподает в университете.

А. А внуки?..

Б. Двое.

А. У нее дружная семья. Да?

Б. (*крохотная пауза*). Хорошая семья.

А. Это замечательно.

Б. А у тебя?

А. А у меня? Да. А у меня – я. Холостяк. Я говорил, да?

Б. Ах, гуляка!

А. (*горестно*). Я не гуляка. Я – так... я – чижик... Вот у тебя было... и семья... а я старый неудачник!..

Б. Думать надо! Бороться надо! (*Неискренне обнадеживает*). Может, еще женишься?

А. У тебя и сын в Ленинграде...

Б. (*с теплотой*). Год назад Горный институт кончил. Сейчас в Метрострое, к Новому году вот премию получил. Собирается в будущем году в аспирантуру.

А. Ты – победитель, да?

Б. Гм. Бр. А что ж.

А. Да! Вот... Слушай, а зачем ты здесь?..

Б. *(похлопывает его по плечу).* На второй круг пошли. Рассказывал же. Пошли трения в институте, мне надоело... горите вы все, думаю. Жалость и презрение: старики, сосущие проценты с прошлого. Хромает такой задохлик по институту, восемь месяцев из двенадцати помирает и оклемавается, что и знал – пере забыл... грех один... Нет! – красиво и вовремя. Людям не мешать и самому в удовольствие пожить. Доктор я? – доктор. Директор? – директор. Награды имею? – имею. Право на отдых заслужил? – горбом заработал. Живу хорошо? – как бог в отставке. Пенсии двести, и сбережений на мой век хватит, дом в саду и машина в гараже.

А. И качалка на веранде.

Б. Да.

А. И цикады стрекочут.

Б. Стрекохут, стервы.

А. И запах магнолий. И море шумит.

Б. *(возможно, подозревая иронию, но не желая допускать подобной мысли).* Ах, старина... Вот сидим мы с тобой сейчас... Неважно все это... Время все уравниет... Как подумаешь иногда – а зачем оно все было... зачем ломался, уродовался... Может, ты-то правильной жил... Спокойно...

А. Что было – всегда с тобой. Есть такая гипотеза – живешь всегда во всех своих временах.

Б. *(абсолютно согласный).* Полагаешь?

А. Ты жизнью доволен?

Б. Да.

А. Вот.

Б. *(утешает).* Не надо ни о чем жалеть!..

А. Сейчас посмотрим.

Б. Что?

А. *(Бледнеет. Смотрит ему в глаза долгим трезвым взглядом. Тишина буквально материализуется до синевы и звона. Странное жутковатое ощущение возникает. Словно безумием пахнуло.)* Ты – помнишь – двенадцатое – января – тридцать – шестого – года?

Б. *(слегка заворуженно).* Нет...

А. *(гипнотическим голосом).* Угол Мира и Демушкина. Пятый этаж. Комната.

Б. Ф-фу, господи! Ну конечно! Как ее звали-то... Да Зинка! Акопян, Чурин!..

А. А вечер двенадцатого января? Зима, снег, патефон, Лещенко.

Б. А что тогда такое было-то?

А. Ты – в сером костюме. Акопян принес коньяк. Елка. Танцевали и уронили елку. Она стояла в ведре с водой, ведро опрокинулось, воду подтирали.

Б. Смутно... Черт его знает... Нет, наверное... Допустим. А что?

А. Ты не помнишь, что было тогда?

Б. *(в недоумении от его тона).* Да нет же... А что?

А. Совсем-совсем не помнишь?

Б. *(чистосердечно).* Клянусь – нет.

А. Размолвочка вышла...

Б. *(со смехом).* Какая даль, боже мой!.. Не подрались?

А. *(мрачно).* Куда там... мне с тобой. Да и твоё обаяние... все симпатии были на твоей стороне. Ты всегда умел – выставить недруга ослон и мерзавцем.

Б. Дружи-ище! что за воспоминания! Клянусь – ничего не помню! Ну хочешь – хоть не знаю за что – попрошу сейчас у тебя прощенья? Ну – хочешь? Кстати – в чем было дело-то?..

А. *(с театральной торжественностью).* Поздно.

Б. Верно!..

А. Поздно. *(Вертит рюмку, опускает глаза)*. Ты – ты не помнишь... Что для тебя... оскорбление похода, право победителя... Были времена – я должен был бы убить тебя или застрелиться. А ныне – ничего, глотаем и утираемся...

Б. *(холодно)*. Ты, похоже, не умеешь пить. Никогда, припоминаю, не отличался.

А. С тех пор я многое умею. Будь спок. *(Наливает)*.

Б. *(отчужденно)*. Твое здоровье.

А. Твое понадобится тебе больше.

Б. Чувствую, нам лучше расстаться сейчас. *(Делает движение, чтобы встать)*.

А. *(удерживает жестом)*. Прослушайте десятиминутную информацию. Так ты не помнишь? Начисто? Я так и подозревал. Ладно... *(Откидывается на стуле, глубоко переводит дыхание, закуривает. На лице его появляется улыбка, которая в сочетании с угрюмым выражением придает ему неожиданную жесткость, даже властность.)* Начнем.

Ты помнишь Ведерникова, не правда ли?

Б. Слава богу. Естественно. Был у него несколько раз на приеме в Москве.

А. Знаю. *(Неожиданно показывает Багулину фирменную этикетку на изнанке галстука. Этикетку на внутреннем кармане пиджака.)* Нравится?

Б. Англия... То что надо.

А. На инженерскую пенсию, мм? Уда-ачник... А фамилия Забродин говорит тебе что-нибудь? Из аппарата референтов Ведерникова?

Б. Слышал, похоже...

А. Прошу *(протягивает паспорт)*.

Б. *(озадачен)*. Не понимаю...

А. Я сменил фамилию перед войной. Взял фамилию жены. По некоторым обстоятельствам.

Б. *(еще не осознал)*. Ты-ы?!

А. К вашим услугам. Ведерников два года как помер. Ушел и я. У новой метлы свой аппарат.

Б. Ты – Забродин?

А. Осознал, похоже. Далее. Улавливаешь, нет? Ведерников тебя не слишком жаловал, а?

Б. Сволочь был первостатейная.

А. *(укоризненно)*. К чему категоричность. Деловые отношения!.. У такого человека всегда аппарат – своего рода фильтр-обогащитель между ним и сферой его деятельности. А в аппарате тоже люди. Большинство пружин, ты, естественно, не знал. А я – не главный был винтик, но – в центральном механизме.

Вникаешь?

Когда в сорок восьмом году ты не получил комбинат, а прислали Гринько – это были просто три строки в докладной записке Ведерникову. Как и кем составляются записки – ты общее представление имеешь. А Гринько был, в общем, здорово нужен на Свердловск! Но – маленький доворотик в начальной стадии движения. Ты ведь прицеливался тогда на комбинат – а он был фактически у тебя в кармане уже.

Б. *(ошарашенно и недоверчиво)*. Ты... ерунду ты городишь!..

А. Хорошенькая ерунда! Гринько принял комбинат, ты стал замом, и после первого же квартала он свалил на тебя все шишки – он-то новый, а ты сидел уже два с половиной года. И тебя удвинули в Кемерово – где ты абсолютно правильно сориентировался, перешел в КТБ и занялся наукой.

Б. *(говорит ему, в общем, нечего)*. Та-ак...

А. *(в тон ему)*. Та-ак... И написал кандидатскую по расчетам нагрузки кабелей, и ВАК промариновал ее два с половиной года, та-ак?

Б. Ну...

А. Тпру!.. И за это время Плотников защитил в Москве свою диссертацию: фактически твой метод с расширенным применением. И его заявка была признана оригинальной, и ты остался даже без приоритета, а тема эта стала Плотниковской, и он сделался на ней член-корром! Как тормозится диссертация в ВАКе, тебе, надеюсь, не нужно долго объяснять. Что Плотников работает на Ведерникова, ты тоже, если и не знал, то мог догадываться. А кто приложил руку, чтобы ты не проскользнул? Пра-авильно...

Б. Слушай... Погоди... Слушай!.. (*машет рукой протестующе, как бы пытаясь задержать*).

А. (*с лицемерной печалью*). Мне очень жаль, что ты не помнишь то двенадцатое января на Демущкина. (*Стучает ладонью по столу, начальственно и уверенно.*)

Ты защитился, и как раз пошло расширение. И твое КТБ логично должно бы было отпочковаться и расширяться в институт. А вместо этого был создан однопрофильный институт в Омске! Ай-й-й-й какая досада, а? И сел на него Головин! И сейчас Головин – в министерстве! Ведерников? А что ему: «Доложить!» Естественно – доложил. Оч-чень, кстати, он мою память ценил. И благодаря моей памяти Каплин не взял тебя в Челябинск. А Плотников за это время стал доктором и получил Государственную! Так?

Б. Ну... (*совершенно смят, растерян и потерян*).

А. Щербину помнишь?

Б. Зав по кадрам?

А. Именно. Двоюродная сестра моей жены была его женой. Понял?

Б. Вот ка-ак...

А. И ты опять крутнулся, и перебрался в Красноярск, и скромно сел на отдел – отдел! Отдаю тебе должное – перспективный отдел, точно рассчитал. И защитил докторскую ты только в шестидесятом году – а был тебе уже пятьдесят один, и перспективным ты быть потихоньку переставал. И ВАК продержал твою докторскую еще четыре года, и когда ты в шестьдесят втором получил институт – это был потолок. Потолок!

Б. (*с выпущенным воздухом*). Во-он оно что...

А. В шестьдесят восьмом тебе представился последний шанс, помнишь? Симпозиум в Риме через доклад в Москве, опять же через Ведерникова; определение основного направления дальнейших работ. И ты не поехал. Поехал Сеницын. И кончилось тем, что Сеницын тебя съел.

Вот и вся твоя карьера.

Б. (*типо*). Я всегда чувствовал... Я всегда предполагал... Чья-то рука...

А. Верно чувствовал. Продолжаю. Раздел мелочей быта. Только, прошу, без эксцессов. Ну – когда ты еще такое узнаешь, а? Гамбургский счет. Мне, видишь ли, немного обидно, что ты совсем забыл тот вечер двенадцатого января.

Да. Мне всегда нравилось на тебя смотреть: такой красивый, уверенный, такой любимый женщинами. Рога очень тебе идут. Вообще когда жена на двенадцать лет моложе – это чревато, ты не находишь?

Б. (*тихо, наливаясь*). Сотру, мразь!..

А. (*холодно*). Сначала имеет смысл получить информацию, нет? Итак: пятьдесят пятый год, и она едет на курорт, Крым, ах, прелесть!.. Ты на что рассчитывал, юга не знаешь? И без меня обошлось бы. Но – можешь запомнить адресок: Москва, Воронцов проезд, двенадцать, сорок семь. Гонторов Алексей Семенович. Можешь процитировать своей супруге и насладиться ее реакцией. Это, видишь ли, мой старый знакомец, профессиональный, я бы сказал, бабник. Жизнь на это дело положил! После него ей с тобой в постели ну никак не могло быть интересно. Ты же в это время утрясал в Москве собственные дела. Ну, я и спросил как-то по телефону Будникова, где семейство твое. А Леша – Гонторов – как раз в отпуск ехал. Я и порекомендовал ему, с присовокуплением личной просьбы.

Б. Ложь, бред, ахинея!!..

А. Не думаю... Леша нет надобности хвастать... Да он и письма мне показывал... Полюбопытствуй, заявись к нему. Да и поройся получше в памяти – как она вела себя с тобой первое время после отпуска, – поймешь. Ты ж слеп и самоуверен, как все супермены.

Б. *(мотая головой)*. Вранье! Просто дохнешь от зависти, старый хрыч, перст без подпорки!

А. *(иронично)*. Я?.. Не смейся. Я почти прадедушка. Четверо внуков. Какая зависть?

Б. *(упрямо цепляясь)*. Все врешь. Нет никого и ничего у тебя! И не было!..

А. *(издевательски)*. Прощу в гости. Приму в приличной квартире, те же шестьдесят метров, что у тебя. Дача – сносная, хотя и не в Кунцеве, все удобства. Еще что? Машина. Не люблю тупорылых «фиатов». Серая «Волга», скромно и со вкусом. Не веришь? *(С наслаждением, медленно, вынимает из внутреннего кармана роскошный бумажник, из него – пачку фотографий и водительские права.)* Прощу.

Б. *(неохота борется с недоверием и любопытством. Смотрит)*. Что ж. Поздравляю. Что еще имеете сообщить?

А. Не вспомнил двенадцатое января?

Б. *(взрываясь)*. Нет!! будь оно проклято! Кровавое двенадцатое января *(с истерическим смехом)*.

А. *(светским тоном)*. Напоследок – пара милых пустяков. Дочь твоя кафедру в Киеве не получила и вряд ли получит. Колесницкому она, видишь ли, не нравится. Наберись нахальства – позвони ему, спроси, не поступала ли ему информация из Москвы. Колесницкий подчинен Семенову, а Семенов дружен со Щербиной. Крайне просто.

Б. Все?

А. С аспирантурой твоего наследника, куда он уже раз не прошел, вариант аналогичный.

Б. Все?

А. И логическое завершение. Сиди мужественнее, экс-мужчина. Нахожу уместным сейчас двум врагам, сидящим лицом к лицу и подводящим итоги, выпить за здоровье друг друга. *(Пьет.)* А здоровье у тебя, милый мой, ни к черту *(его начинает разбирать смех)*. Ха-ха-ха! Удачник! ха-ха-ха!

Б. *(уничтоженный, скрывая тревогу)*. Ну?

А. *(бессердечно)*. Ха-ха-ха! У тебя язва, да? Ха-ха-ха! Ох, прости! ха-ха!.. *(Утирает слезы)*. У тебя рак, любезный. Рак. И жена это знает. И дети. И если ты найдешь способ заглянуть в свою карточку, тоже узнаешь. И если просто перестанешь прятать от правды голову под крыло, то припомнишь все симптомы и сам поймешь.

Б. Откуда ты знаешь?

А. Разве я не могу по-хорошему поинтересоваться у врача здоровьем хорошего друга, дабы, скажем, облегчить его страдания дефицитным лекарством из Москвы?

Теперь – все.

Да. Объяснение.

Я-то, видишь ли, хорошо запомнил вечер двенадцатого января тридцать шестого года. Это не прощается. Жизнь с плевром твоим в душе прожил. Вот и разделал тебя под орех. Наилучшим способом.

А сейчас – позвонил, узнал в горисполкоме твой день и часы приемные, специально прилетел. Ну, отдохнул заодно пару дней – можешь справиться в «Приморской» о моем счете. И встретил тебя – как хотел, нечаянно. Выслушал сначала твою собственную версию счастливой жизни. Ха-ха-ха! Удачник... Приехал пенсионер доживать старость в домик с садиком, так и тут скоро скапсится.

Б. Да что хоть было в тот чертов вечер?

А. Вот вспоминай и мучься.

Б. *(последняя вспышка сил)*. А меня ведь еще хватит на то, чтобы сейчас избить тебя.

А. Фу. Несolidно. Два старых человека. Меня ведь хватит еще на то, чтобы отравить тебе последний год существования. Излишки площади, излишки участка, заявление в милицию об избиении, письмо из Москвы – и никто тебя здесь не защитит.

Все. Свободен.

Б. *(не находит ничего крепче театральной формулы)*. Будь ты проклят.

А. *(ласково и недобро)*. Не волнуйся. А то еще вмажешься куда на своей жестянке, ГАИ – а ты пил, откупаться, ремонт...

Некоторое время молча, неподвижно, смотрят друг на друга.

Причем сейчас

Багулин

– старик за семьдесят, очень усталый, одетый со смешной и жалкой претензией.

Арсентий

– собранный, жесткий, полный того, что принято называть нервной энергией. Строен, худощав, дорогие вещи сидят на нем свободно и небрежно.

Багулин поднимается и уходит, и хотя идет он сравнительно нормальной походкой, но кажется, что он горбится и шаркает ногами.

Уже темно. За стеклянной стеной в густой сини – мигающие огни самолетов. Зажигается свет.

Арсентий смотрит вслед Багулину, достает носовой платок, оттирает лицо и шею – и словно это был фокус с волшебным платком – неуловимо преобразается в того старика, каким и был в начале встречи.

А. *(внимательно оглядывает стол, считает в уме, достает бумажник, считает деньги. Облегченно)*. Хватает. Так и думал. Придется ехать общим. Ладно, меньше двух суток... *(Говорит с собой негромко и спокойно, как человек, давно привыкший к одиночеству)*. Вот уж поистине – старческое безделье и маразм... Но крепко я его придавил. Крепко... Всему вроде поверил, а!.. А что – я весной месяц этим развлекался: все сходится... людей половина уже перемерла, – и при желании не опровергнет. С женой даже если – Лешка подтвердит... не-ет, психологически я тебя прищучил, Багулин. И диагнозу своему ты теперь до конца никогда не поверишь... нехай тебя покрючит.

Закуривает, закашливается,

разгоняет дым рукой.

Кхе! Кх-хе!.. Да. А ведь – боялся я тебя всегда, Багулин. И сейчас – тоже... побаиваюсь. Ты – сильней... крупней, так сказать. И ничего – ничего мне было с тобой не сделать. Не убивать же, в самом деле.

Вот – сыграл наверняка. Без малейшего риска, друг мой. И разрушил изрядно всю твою жизнь, не правда ли? Не более чем сменой точки зрения.

Смешная жизнь – уничтожается сменой точки отсчета, а!..

А ведь даже пощечину дать тебе не посмел... Так и прожил с фигой в кармане. И под конец эту фигу показал. Ничтожество... А ты – да, так или иначе ты величина. Или – мнимая величина, если я тебя так?

Но ты не помнишь... Что же – тот вечер в итоге обошелся тебе дорого. Вспоминай! *(Хихикает)*. Это было не двенадцатого января, а шестого марта, ты можешь вспоминать долго!..

Ох, паспорт менять обратно... Ну вот же засела заноза у старого обалдуй! Десять рублей... а пенсия двадцать четвертого. Ну... не помирать же под чужой фамилией. Поиздержался я, поиздержался... У Лешки одолжу, посмеемся в субботу над этой комедией!.. *(Проходящей официантке)*: счет, пожалуйста.

Недорогие удовольствия

А может, я и не прав

Свою литературную судьбу я считаю начавшейся с того момента, когда во время прохождения лагерных сборов от военной кафедры университета я пошел на риск первой публикации и написал рассказ в ротную стенгазету. Сей незатейливый опус, решительно не имевший значительных литературных достоинств, тем паче опубликованный в весьма малоизвестном издании тиражом одна штука, вызвал неожиданный резонанс. В рассказе я не до конца одобрительно отзывался о некоторых моментах курсантского внутреннего распорядка, как-то: строевая подготовка, строевая песня, надраивание сапог перед едой и т. д. Из редакционных сообщений отрицательное мое к этому отношение было по форме облечено в панегирик, где желаемый эффект достигался гипертрофией восхвалений. Прием это старый, азбучный: восхваления достигали такого количества, что переходили, нарушая меру, в противоположное качество, – что и требовалось.

Курсанты-студенты тихо радовались содержанию, а офицеры кафедры тихо радовались форме (возможно, они не обладали столь изощренным диалектическим чувством меры, как изощренные гуманитары – историки и филологи). Этот литературный экзерсис по-своему может расцениваться как идеальный случай в искусстве, где каждый находит в произведении именно то, что родственно ему.

Но – скрытые достоинства искусства из достояния элиты рано или поздно становятся всеобщим достоянием, или, по крайней мере, доводятся до всеобщего сведения. Миссия просветителя пала на одного майора, волею судьбы закончившего вместо военного училища университет. Он открыл тот аспект искусства, который предназначался вовсе не ему, а когда человек сталкивается в искусстве с тем, что предназначено не ему, он часто впадает в дискомфортное состояние. И возникшее ущемление и раздражение он считает своим долгом разделить с единомышленниками в вопросе, каковым надлежит быть искусству и как оно должно соотноситься с жизнью.

Майор приступил к комментированному чтению. Он подводил офицеров к стенгазете и настойчиво предлагал ознакомиться. Когда читатель заканчивал и недоуменно вопрошал: «Ну и что же?», майор с университетским образованием удовлетворенно и с превосходством улыбался и разъяснял малоквалифицированному коллеге вредоносную и замаскированную сущность пасквиля, торжественно следя, как лицо очередного травмированного неисповедимым коварством литературы вытягивается, являя собой подтверждение древней истине «ибо во многой мудрости много печали, и кто умножает знание, тот умножает скорбь».

Вслед за тем я узнал, что означает «автор ощутил на себе влияние собственного произведения».

Миссия просветительская, как известно, неразрывно связана с миссией воспитательной. Покончив с первой, майор безотлагательно приступил ко второй. Он выстроил роту на плацу, выставил меня по стойке «смирно» и высказал свои взгляды на литературу и литераторов, богатством языка высоко превзойдя скромный стиль моей безделушки. Он обладал поставленным командным голосом, и эрудицию пополнила не только наша рота, но и весь полк, собравшийся у окон казарм.

Лишь раз в своей энергической речи он промахнулся: пообещал с моим рассказом прийти в деканат; рота предвкушающе заржала, представив прелестнейший конфуз: в деканате сидели люди, волею привычки понимающие скорее филологов, чем кадровых строевиков. (В дальнейшем майор исправил свою оплошность, вполне грамотно.)

Первым моим гонораром явились, таким образом, пять нарядов вне очереди. И когда ночью, выдраив туалет, я курил там в печальном предвидении ближайшего будущего, зашедший сержант из другого взвода, лет уже под тридцать, усатый, толстый, очень какой-то добрый, уютный и домашний, пробасил сочувственно: «Что, брат, трудно быть писателем на Руси?»

Слово «писатель» было применено ко мне в первый раз. И я даже почувствовал в этой ситуации некое посвящение.

Остается добавить, что я был уличен на госэкзамене в незнании материальной части и приборов и единственный из двухсот тридцати человек его не сдал. Перед четвертым заходом главы учебника снились мне постранично. А в ноябре в деканат пришла основательная бумага с военной кафедры, где поведение мое в период военных сборов квалифицировалось как отменно недисциплинированное и безнравственное: майор не стал приходить в деканат с рассказом, разумно учтя все факторы. В результате меня чуть не выперли из университета, и если бы майор увидел мое мученическое лицо, с коим я доказывал необязательность отчисления меня с пятого курса, мотивируя это государственными затратами и своей безрассудной любовью к литературе, он счел бы себя сторицей отмщенным.

Видимо, по врожденной беспечности характера я не сделал выводов из этой достаточно поучительной для мало-мальски сообразительного человека истории. Несмотря на то, что я кончал русское отделение, золотая фраза Чехова: «Младенца по рождении надобно высечь, приговаривая при этом: «Не пиши! Не пиши!» не укоренилась в моем поверхностном сознании достаточно глубоко. Ибо второй рассказ я опубликовал в факультетской стенгазете, после чего факультет разделился по отношению ко мне на три части: первые сочли меня гением, вторые доискивались сути насмешки над читателем, а третьи просили объяснить им, почему меня приняли в университет, а не в специнтернат для дефективных детей; это была самая многочисленная часть.

Но – «если человек глуп, то это надолго». Имея в характере наряду с беспечностью упрямство, я, пострадав от двух собственных рассказов, взялся за изучение чужих и придумал себе тему диплома: «Типы композиции рассказа». Тема эта необъятна тем более, что в нашем литературоведении ею и поныне никто не занялся; тем сильнее она меня привлекала. Строго говоря, способы построения рассказа вполне перечислимы, если не лить воду и не мутить ее. Однако от меня, разумеется, шарахались все здравомыслящие преподаватели, не желая связываться с подобным авантюристом, пока не нашелся один страстно любящий теорию литературы доцент, запамätовавший, не иначе, что его недавно выгнали за нечто же подобное из другого университета.

В результате я представил к защите диплом, превзошедший мои собственные ожидания.

Когда в заключение процедуры защиты дипломанты были допущены в аудиторию и высокая комиссия встала для зачитания приговора, я, стоящий по алфавиту обычно в начале списка, своей фамилии вообще не услышал. Я невольно завертел головой, как бы пытаюсь со стороны обнаружить – где же я-то, когда председатель голосом Левитана известил: «Что же касается дипломного сочинения...» – и моя фамилия закачалась на краю бездонной качаловской паузы. Аудитория ухнула. Я обомлел. Зачли диплом за кандидатскую? Вряд ли. Не то настроение у комиссии. Не припомнят здесь таких случаев. Так, прямо... Два?! Провал на защите... небывало... дожили... «то комиссия не пришла к единому мнению об оценке, – включился председатель обличительно, – и постановила назначить дополнительного оппонента, с тем чтобы провести повторную защиту».

Мои однокашники, работающие сейчас в университете, говорят, что подобных случаев на их памяти не было больше.

Мнения членов комиссии, как я узнал позже, охватили полный диапазон: от «отлично с рекомендацией в аспирантуру» до «неудовлетворительно».

Дополнительным оппонентом оказался не больше не меньше тогдашний директор Пушкинского дома.

После повторной полчасовой перегрызни комиссии за закрытыми дверями, когда прочие защитившиеся обрушились на меня с руганью за нервическое ожидание по милости моих изысков (комиссия, впрочем, сводила собственные научные счета), я поймел нейтральную четверку. После чего директор Пушдома с заведующим кафедрой отечески обсели меня и полчаса усовещивали в формализме, объясняя, почему отказался Эйхенбаум от «Как сделана гоголевская «Шинель»».

И я понял, что не судьба мне принадлежать к счастливым, которые занимаются вещами, понятными и приятными всем, или хотя бы всем коллегам.

Через год, подав свои рассказы на конференцию молодых писателей Северо-Запада, я подвергся двум полным разносам и двум замечательным восхвалениям (как нетрудно подсчитать, нуль в итоге). Но вынесенной за скобки осталась первая фраза руководителя семинара, подтвердившая мои подозрения: «Никто никого никогда писать не научит». Так что польза была.

После этого благословения старшими собратями по перу я два года вообще не писал, собираясь с мыслями, и еще два года писал ежедневно, бросив работу, счастливо страдая над текстом до бессонницы и дрожи в коленях. Не показывал я написанного никому, кроме разве что младшего брата – он вырос под известным моим влиянием и вредного литературного воздействия на меня оказать, по моему разумению, не мог. Я был молод и честолюбив, и войти в литературу хотел сразу, сильно и красиво. Я воспитывался в американском духе: «Свое дело ты должен делать лучше всех». Своим делом я считал рассказ. Вернее, короткую прозу, ибо рамки жанра новеллы размыты сейчас абсолютно: прочитав по данному вопросу все, что имелось в ленинградских Библиотеке Академии наук и Государственной публичной на русском, английском и польском, я в этом полностью убежден. Ясно, это не помогает писать – рыба не знает, как она плавает, а ихтиологи могут тонуть, – но я стал рыбой, которая может сказать, как она плыла и почему.

И в двадцать восемь лет решив, что я пишу очень хорошую короткую прозу, я стал рассылать рукописи по редакциям в ожидании фанфарного пения и гонораров.

Больше всех остальных мне понравилась редакция одного толстого журнала в белой обложке. Она возвращала рукописи через неделю. Я стал все папки рассказов пропускать сначала через нее, чтоб не залеживались. Седьмая серия вернулась с рецензией в одну строку: «Послушайте, это же несерьезно...»

Я заинтересовался редакционной механикой и выяснил, что на «самотеке» сидят стоперы-литконсультанты – сами, по моим представлениям, решительные неудачники и бездари. Забавнее другое: всем нравились или не нравились разные рассказы. Всегда!

Из неопределенных отзывов друзей, начавших получать мои опусы на прочтение, следовал тот вывод, что пишу я так себе. Средне пишу. Но уж ежели что-то определенное нравилось или не нравилось – всем разное, никогда не иначе. Я стал ставить опыты: пять людей получали пять рассказов с просьбой выделить лучший и худший. Обычно получалось пять лучших и пять худших. «А вообще, – глубокомысленно говорилось мне, – они у тебя все разные. Тебе надо что-то одно», – и каждый указывал на удачный, по его мнению, рассказ.

Желая тем временем привлечь к себе внимание редакций с тем, чтобы меня там хоть читали толком, я со свойственной мне практичностью решил на эффективный шаг. Со скоростью три страницы в час (быстрее не умел печатать) я испек три «рассказа» до бреда фривольного характера. «Брать» они должны были первой же фразой – чтоб уж не оторваться до конца. Автор выглядел маньяком не без юмора, помешанным на, как бы это, интимной стороне жизни. Расчет строился на природном любопытстве, скажем так, сотрудников редакций.

Пока я распечатывал шесть экземпляров, дабы закинуть приманку сразу в шесть журналов, с творчеством сим ознакомились несколько друзей. Не надо быть провидцем, чтобы сообразить, что именно это они объявили отличной литературой, а читанное ранее – ерундой. Это окончательно подорвало мое доверие к читательским откликам, так что акция моя имела уже минимум одно положительное следствие, – не считая того веселья, с каким я эту ахинею порол.

В собственноручно склеенных розовых папках с зелеными тесемками я отправил свой доморощенный «Декамерон» радовать центральные редакции (из предосторожности не указав своего адреса), а через месяц повторил второй серией. Выработав таким образом у редакторов положительный условный рефлекс на мою фамилию, я отправил настоящие рассказы, считая, что теперь их по крайней мере сразу прочтут. И в общем не совсем ошибся.

Лишь один из шести журналов не ответил. Прочие отреагировали сразу. Наиболее симпатизирующий ответ, трехстраничный, скорбел: «Печально, что присущее вам, судя по предыдущим рассказам, чувство юмора направлено пока лишь на привлечение внимания к себе». Настоящие рассказы у них, как явствовало, так же как и у моих друзей, интереса не вызвали.

Пока я изучал литературный процесс, мои университетские друзья продвигались по службе. Подстрекаемый их практическими советами, я пришел к выводу о неизбежности личных контактов. Я стал налаживать личные контакты. Меня посвятили в два самых привилегированных литобъединения. Я отсчитывал в Доме писателей копейки на малолюбимый мной кофе. Но повторялось неуклонно: всем нравилось разное, что трактовалось мне в ущерб.

В редакциях мне советовали изучать жизнь. Я бестактно возражал, что перегонял скот на Алтае, строил железную дорогу в Мангышлаке и т. д. Тогда мне советовали больше работать: работал я ежедневно до упора. Тогда, морщась, объясняли, что я еще в поиске и не нашел своей темы, что подтверждается наличием совершенно непохожих рассказов. И этот камень преткновения мне было не спихнуть. Я опасался, что если прочту редактору лекцию на тему «что такое рассказ», литературные взгляды его, возможно, и расширятся, но перспектива нашего сотрудничества сузится до черты порога.

Эти две формулировки – «молодой автор находится в поиске» и «писатель еще не нашел своей темы» – реяли над моим бедствием как два черных вороновых крыла. Впоследствии прибавилась еще пара дубинок: «нарочитая усложненность» и «неясно авторское отношение».

Мне же всегда хотелось писать именно разные рассказы. Не то чтобы хотелось – они должны быть разные. Так я чувствую и понимаю. Каждый материал сам выбирает свою форму, и каждый рассказ – это не изложение неких фактов и мыслей, но больше – это всегда нахождение единственного органичного воплощения материала, построения его, языковых средств, позиции автора, чтобы в результате из этого единого целого возникла та, если можно так выразиться, надежда, которая и является сутью рассказа.

В идеале каждый рассказ – это открытие другого мира, а не еще одна дверь в мир один и тот же.

Можно, найдя удачную формулу и «поставив руку», писать рассказы схожие, где автор ясен сразу по одному рассказу. «Мир Лондона», «мир Шукшина». У каждого – своя сфера, за ее пределы он не ходок. Пусть он гений, талант, мир его уникален, воззрение самобытно, – но жизнь-то – всякая! Каждая комбинация элементов неповторима и дает другой мир; должны быть разными и рассказы, а не ситуации и даже не характеры, – мир рассказов должен быть разным.

Подобными объяснениями я пытался оправдывать свою преступную разноплановость и непохожесть рассказов. В чем мало преуспевал. Я казался сам себе то бесталанным Дон-Жуаном от новеллистики, то неправильной пчелкой из «Винни-Пуха», которая делает неправильный мед.

На мое везение, был конкурс ленинградских фантастов (анонимный!), и мой рассказ занял первое место. Его напечатали в Риге, взяли в альманах, перевели в Болгарии и охали

в других местах, – кому это не знакомо. Но – стали брать: по одному рассказу из пяти-шести, советуя и надеясь, что в будущем получат все рассказы наподобие понравившегося, «сильного», – чтоб попохожее.

И только на тридцатом году жизни я познакомился с одним более чем признанным писателем, автором десятка книг и среди прочего – мощных рассказов, который поведал, как, будучи помоложе, наполучал критических шпилек за «разнородность» своих рассказов, за убежденность, что рассказы и должны быть разными. Я, помнится, дернулся и помахал руками. И весь тот вечер норовил макать сигареты в чай и перебивать старшего единомышленника маловразумительными восклицаниями в том духе, что как это здорово.

И всегда хотелось мне выпустить такую книгу, чтоб все рассказы в ней были разные – даже если у меня есть и сходные. Потому что сборник рассказов представляется мне не в виде строя солдат, или производственной бригады, или даже компании друзей или семейства за столом, а в виде собрания самых различных людей, по которым можно составить представление о человечестве в целом. Отбор по росту, расе, полу или профессии здесь просто неуместен. По человеку – всех рас, народов, ростов и судеб. А общего у них то, что все они люди с одной планеты. И чем более разными они будут, тем богаче и полнее составится в единое целое мозаика жизни.

Лодочка

Октябрьский день был ясен и чист насквозь. Я бродил по Михайловскому саду: сухое стынущее сияние осени, ограненное в узорную чернь оград. Перспективы обнажались. Отдыхали на скамейках старички, курили молодые стильные мамы, мелькала детвора в азарте. Мальчишки пускали в пруду бумажные кораблики, они скользили по чернолитой плоскости. Один достиг берега около меня. Я поднял его, размокшая бумага развернулась; чернила расплылись на ней.

«.....и место рождения: 14 авг. 1900 г., с. Ольговка бывш. Екатеринославской губернии (Днепропетровская обл.).

Партийность, год вступления: член КПСС 1919 г.

...нер-экономист, Ленинградский по

...тут в 1930 г.

немецким – объясняюсь

...в 1956 г.

Жена: X X X

Дочь: X X X

...густ 1917 г. – рассыльный страхового акц

...ства «Волга».

...18–2/II-1920 – боец 270 стрелкового полка 24 Пролет

...таря ревтрибунала 2 Донской дивизии.

...чик Ленинградского торгово...

...п/х «Роза Люксем...

6/X-1930–26/II-1938 – редактор Лениздата водного трансп...

партбюро 202 полка

Гангутского полка

...лховский фронт

41 г.

...евраль 1942 г. – комиссар 24 инж. бригады

...краинский ф

3 танковая армия

VIII-1946 – преп. инж. дела военной ка...
...953 – инженер-экономист
Совета рабочих, крестьян...
...тов – секретарь.
юзный комитет – зампре...
1936, орден Красной Звезды – 1940, ор...
йны I степ. – 1943, медали «За оборону С...
ие Праги» – 1945, «За победу над фашистс...
1975 г.
ул. Белградская, д. 106, корп.....

Поправки к задачам

Августовское солнце грело приятно. Листва уже набирала желтизну. Маршал дремал на скамеечке. Он услышал шаги и открыл глаза. Генерал с молодым усталым лицом стоял перед ним. В первые моменты перехода к бодрствованию маршал смотрел с неясным чувством. Старческая водица пояснела на его глазах. Генерал был в форме того, военного, образца. «Забавно», – маршал понял, улыбнувшись: это он сам стоял перед собой и ожидал, возможно, указаний.

– Ну, как командуются? – спросил он.

– Трудно, товарищ маршал, – ответил генерал, поведя подбородком, и тоже улыбнулся.

– Трудно... – повторил маршал. Третью веку назад, подтянутый в безукоризненно сидящей форме, он был хорош... – А иначе и не должно.

Пологий склон переходил в лес на высотах. Его наблюдательный пункт находился в сотне метров. НП был такой, как он любил: основательный блиндаж накатов в шесть и рядом вышка, пристроенная к высокой сосне, маскируемая ветвями. Маршал пришел в определенно приятное расположение духа.

Генерал достал портсигар.

– Кури, – разрешил маршал. – «Казбек»? Правильно, – одобрил. – Садись, не стой. Это мне перед тобой теперь стоять надо, – пошутил он и вздохнул.

Тихо было. Спокойно. Даже птички пели.

– Волнуешься?

– Гм... Да как вам сказать, – затруднился генерал.

– Главное что, – приступил маршал и задумался... Рядом сидящий, в значимости энергии главных дел жизни, в нерешенности тревог, ощущался им по-сыновнему близким, и было в этой приязни нечто неприличное, и зависть была, и снисходительное сожаление. Явился вот, поправок небось ждет, замечаний... – Главное – тебе надо контрудар выдержать, не пуская резервы. Заставить их израсходовать на тебя все, что имеют. Иначе – хана тебе. Прорвут. Чем это пахнет – ясно?

– Ясно...

– Иначе – срыв всей операции, а тебя разрежут и перемелют. Сейчас от твоей армии все зависит. Успех двух фронтов зависит от тебя.

Генерал пошевелил блестящим сапогом. Рука с папиросой отдыхала на колене, обтянутом галифе.

Маршал развивал мысль. Знание и победы утратили абсолют, – томление списанных ошибок овладело им; анализ был выверен; он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством.

– А... стиль руководства? – спросил генерал.

Маршал сказал:

– Над собой ты волю чувствуешь постоянно, – и под тобой должны. Одного успокоить, довести до него, что все развивается нормально. На другого – страху нагнать! чтоб и в мыслях у него не осталось не выполнить задачу. Тут уж актером иногда надо быть!.. – он глянул и рассмеялся: – Эть, как я тебя учить стал, а?..

– Ничего, – рассмеялся и генерал. – Все верно!

– А в деталях? – спросил он.

– Да у тебя лично вроде так, – сказал маршал недовольно, добросовестно сверяясь с памятью. – Только, – покрутил пальцами...

– Общей достоверности не хватает?

– Вот-вот, – поморгал, подумал. – Ну, давай, – напутствовал. – Командуй! – и остался на своей скамеечке.

Поковырял палкой лесную землю, сухую, слоеную.

Растеснил воздух нежеванный механический звук мегафона:

– Всем по местам! Перерыв окончен!

На съемочной площадке приняла ход деловитая многосложная катавасия.

Генерал подошел к режиссеру.

– Что Кутузов? – спросил режиссер и изломил рот, нарушив линию усов.

– Получил краткое наставление по управлению армией в условиях мобильной обороны, – сообщил генерал.

Режиссер крикнул, махнул рукой и наставил мегафон:

– Свет! Десятки! Пиротехникам приготовиться!!

Генерал со свитой полез на вышку. Звуковики маневрировали своими журавлями; осветители расправляли провода; джинсовые киноадъютанты сновали, художник требовал, монтажники огрызались, статисты дожевывали бутерброды и поправляли каски; запахло горячей жестью, резиной, вазелином, озоном, тальком, лежалым тряпьем; оператор взмывал, примериваясь. Режиссер заступал за предел напряжения не раз до команды: «Внимание! Мотор!», пока щелчок хлопушки не отсек непомерный черновик от чистой работы камеры.

Переводя дух, потный, он закурил. Сцена шла верно. Картина двигалась тяжело. У него болело сердце. Он боялся инфаркта.

Черная «Чайка» маячила за деревьями. В перерыве маршал вступил с объяснениями. Маршал, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но передвижение техники в этом районе и направлении выглядит явно бессмысленным, а пиротехнические эффекты вопиюще не соответствуют действительности. Режиссер, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но если привести натуру в копию действительности, то на экране ничего не останется от этой самой действительности.

– Все делается единственно верным образом. И благодаря вам тоже, – любезность иссякала; прозвучало двусмысленно. Он отошел в осатанении от консультанта.

Недоказуемость истины бесила его.

Он отвечал головой за каждый кадр. Это была его главная картина. Он боялся инфаркта. Маршал мешал как мог. Он стал злом привычным.

Генерал перегнулся с вышки:

– Ви-ид отсюда, – поделился он.

Тяготимый несчислимыми условиями, —

– Дубль! – назначил режиссер, желая гарантии, терзаясь потребностью идеального совпадения кадра с постигнутой им истиной.

«Дубль...» – хмыкнул маршал.

Ему не было нужды лезть на вышку, чтобы отчетливо увидеть картину сражения. Он знал ясно, как за тем увалом, на невидимом отсюда поле заглатывая паленый воздух артиллеристы бьют по безостановочно и ровно подминающим встречное пространство танкам, как сводит

на трясущихся рукоятках руки пулеметчиков, как сближает прицел вжата в окопы пехота. Он знал хорошо, что будет здесь сейчас, если танки панцерной дивизии пройдут через порядки его ИПТАПов.

Последний танец

Под фонарем, в четком конусе света, отвернув лицо в черных прядях, ждет девушка в белом брючном костюме.

Всплывает музыка.

Адамо поет с магнитофона, дым двух наших сигарет сплетается над свечой: в Лениной комнате мы пьем мускат с ней вдвоем.

Огонек волнуется, колебля линии картины.

– А почему ты нарисовал ее так, что не видно лица? – спрашивает Лена.

– Потому что она смотрит на него, – говорю я.

– А какое у нее лицо, ты сам знаешь?

– Такое, как у тебя...

– А почему он в камзоле и со шпагой, а она в таком современном костюмчике, мм?..

– Потому что они никогда не будут вместе.

Щекой чувствую ее дыхание.

Мне жарко.

Лицо у меня под кислородной маской вспотело. Облачность не кончается. Скорость встала на 1600; я вслепую пикирую на полигон. 2000 м... 1800, 1500, 1200. Черт, так может не хватить высоты для выхода из пике.

Мгновения рвут пульс.

Наконец, я делаю шаг. Почему я до сих пор не научился как следует танцевать? Я подхожу к девушке в белом брючном костюме. Я почти не пил сегодня, и запаха быть не должно. Я подхожу и мимо аккуратного, уверенного вида юноши протягиваю ей руку.

– Позвольте – пригласить – Вас? – произношу я...

Она медленно оборачивается.

И я узнаю ее.

Откуда?..

– Откуда ты знаешь?

Я в затруднении.

– Разве они не вместе? – спрашивает Лена.

– Нет – потому что она недоверчива и не понимает этого.

– Ты просто осел, – говорит Лена и встает.

Я ничего не понимаю.

900–800–700 м! руки в перчатках у меня совершенно мокрые. Стрелять уже поздно. Я плавно беру ручку на себя. Перегрузка давит, трудно держать опускающиеся веки. Когда же кончится облачность! 600 м!!

И тут самолет выскакивает из облаков.

И от того, что я вижу, я в оторопи.

В свете фонарей, в обрамлении черных прядей, мне открыто лицо, которое я всегда знал и никогда не умел увидеть, словно сжалившаяся память открыла невозстановимый образ из рассеивающихся снов, оставляющих лишь чувство, с которым видишь ее и вдруг понимаешь, что знал всегда, и следом понимаешь, что это опять сон.

– Пожалуйста, – говорит она.

Это не сон.

Подо мной – гражданский аэродром. «Ту», «Илы», «Аны» – на площадке аэровокзала – в моем прицеле. Откуда здесь взялся аэродром?! Куда меня еще сегодня занесло?!

И в этот момент срезает двигатель.

Я даже не сразу соображаю происшедшее.

Лена обнимает меня обеими руками за шею и долго целует. Потом гасит свечу.

– Я люблю тебя, Славка, – шепчет она мне в ухо и голову мою прижимает к своей груди.

– Боже мой, – вдыхаю я, – я сейчас сойду с ума...

Она улыбается и подает мне руку. Я веду ее между пар на круг, она кладет другую руку мне на плечо; и мы начинаем танцевать что-то медленное, что – я не знаю. Реальность мира отошла: нереальная музыка сменяется нереальной тишиной.

И в нереальной тишине – свистящий гул вспарываемого МиГом воздуха. С КП все равно ничего посоветовать не успеют. Я инстинктивно рву ручку на себя, машина приподнимает нос и начинает заваливаться. Тут же отдаю ручку и выравниваю ее. Вспомнив, убираю сектор газа.

– Боже мой, – выдыхаю я, – я сейчас сойду с ума...

Я утыкаюсь в скудную подушку, пахнущую дезинфекцией, и обхватываю голову. Я здесь уже неделю; раньше, чем через месяц, отсюда не выпускают. Мне сажают какую-то дрянь в ягодицу и внутривенно, кормят таблетками, после которых плевать на все и хочется спать, гоняют под циркулярный душ и заставляют по хитроумным системам раскладывать детские картинки. Это – психоневрологический диспансер.

Сумасшедший дом.

– Вы хотите знать! Так вы все узнаете! – визжит Ирка.

Ленины родители стоят бледные и растерянные.

– Да! Да! Да! – кричит Ирка, наступая на них. – Все знают, что он жил со мной! Все общежитие знает! – она топает ногами и брызжет слюной.

– Я из-за него развелась с мужем! Я делала от него три аборта, теперь у меня не будет детей! Он обещал жениться на мне!

Она падает на пол, у нее начинается истерика.

Лена сдавленно ахает и выбегает из комнаты.

Хлопает входная дверь.

Я слышу, как она сбегает по лестнице.

Как легки ее шаги.

Она танцует так, как, наверное, танцевали принцессы. Как у принцессы, тонка талия под моей рукой. Волосы ее отливают черным блеском, несбывшаяся сказка, сумасшедшие надежды, рука ее тепла и покорна, расстояние уменьшается,

все уменьшается...

До земли все ближе. Я срываю маску и опускаю щиток. Проклятые пассажиры прямо по курсу. К пузачу «Ану» присосался заправщик. Толпа у трапа «Ту». Горючки у меня еще 1100 литров, плюс боекомплект. Рванет – мало не будет.

Хреновый расклад.

Старые кеды, выцветшее трико, рваный свитер... плевать!.. У меня такие же длинные золотые волосы, как у моего принца, и корабль ждет меня с похищенной возлюбленной у ночного причала. Смуглые мускулистые матросы подают трап, я веду ее на капитанский мостик, вздрагивают и оживают паруса, и корабль, пеня океанскую волну, идет туда, где еще не вставшее солнце окрасило розовым прозрачные облака.

На их фоне за холодным окном, за замерзшей Невой, вспучился купол Исаакия.

– А вы все хорошо обдумали? – спрашивает меня наш замдекана, большой, грузный, и очень добрый, в сущности, мужик.

– Да.

– Это ваше последнее слово?

– Последнее.

– Что ж. Очень жаль. Очень, – качает головой. – И все же я советую вам еще раз все взвесить.

– Я все взвесил, – говорю я. – Спасибо...

Мне не до взвешивания.

Машина бешено сыплется вниз. Беру ручку чуть-чуть на себя и осторожно подрабатываю правой педалью. Черта с два, МиГ резко проваливается. Не подвернуть. На краю аэродрома – ГСМ, дальше – ровный луг, за ним – лесополоса. Тихо, едва-едва, по миллиметру подбираю ручку.

Спокойно, спокойно...

Сейчас все в моих руках, только не осечься...

– ...Как вас зовут? – спрашиваю я.

– Какая разница, – отвечает она.

Хоть бы не кончалась музыка; пока она не кончилась, у меня еще есть время.

– Откуда вы? – спрашиваю я.

– Издалека.

– Я из Ленинграда... Вы дальше?

– Дальше.

Отчуждение.

Эмоций никаких.

Как по ниточке, тяну машину. Тяну. Не хватит высоты – буду сажать на брюхо. Луг большой – впишусь.

Ей-богу, выйдет!

– Может быть, мы все-таки познакомимся?

– Не стоит, – говорит она.

Ночной ветерок, теплый, морской, крымский, шевелит ее волосы.

Будь проклят этот Крым.

С балкона я вижу, как блестит за деревьями море. Не для меня. Мой туберкулез, похоже, идет к концу. После семи месяцев госпиталя – скоро год я кантуюсь здесь. Впрочем, мне колоссально повезло, что я вообще остался жив. Или наоборот – не повезло?

А вот из авиации меня списали подчистую.

Кончена музыка.

– Танцы окончены! – объявляет динамик со столба.

Я провожаю девушку до места.

– Хотите, я расскажу вам одну забавную историю? – я пытаюсь улыбаться.

– В другой раз.

– А когда будет другой раз?

– Не знаю.

Господи, что мне делать, первый и последний раз, единственный раз в жизни, помоги же мне, господи.

И все-таки я вытягиваю! ГСМ еще передо мной, но я чувствую, что вытянул. Катапультироваться поздно.

И вдруг я понимаю – запах гари в кабине.

Значит – так. Невезеньице.

Финиш.

Выход. Аккуратный, уверенного вида юноша отодвигает меня и обнимает ее за плечи. Прижавшись к нему, она уходит.

Тонкая фигурка, светлое пятнышко, удаляется в темноте.

И вот уже я не могу различить Ленин плащ в вечерней толпе, и шелест шин по мокрому асфальту Невского, и дождь, апрельский, холодный, рябит зеленую воду канала.

Зеленая рябь сливается в глазах...

самолет скользит по траве в кабине дым скидываю фонарь отщелкиваю пристяжные ремни деревья все ближе дьявол удар я куда-то лечу

Туго ударяет взрыв.

Осуждение

– Любовь моя, осень, – изрекаю я. – Когда приходит знание и покой, весна раздражает, пора беспокойства, и я жду сентября.

– Ста-ре-ешь, – улыбается Анна.

– Так, – перестаешь проповедовать, что раньше было лучше, и это старость: ясность и смирение.

– Мужчина излагает кристально, – кивает бородатый из угла. Грязноволосые эстеты, мудрецы в поисках жратвы и аудитории, богема без искусства: шайка идиотов. Отыскиваю на столе невыпитую рюмку. «А в Швеции, – повествует мымра в свитере, – вместо «Нет выхода» над задними дверьми автобусов пишут «Выход с другой стороны» – чтоб уменьшить число самоубийств». Интеллектуи отдают дань проблеме самоубийств и мудрости шведов, переходя к обсуждению свободы секса. Все они гении в сослагательном наклонении. Моя причастность томительна. «Не злись, – трогает меня Анна, – лучше мы убьем время, чем оно убьет нас». Туда же.

– Мы сейчас пойдем в ту комнату и закроем дверь, – говорю, – или побудь-ка одна, моя юная грация тридцати восьми лет.

– С римской прямоотой, – констатирует с удовольствием бородатый. «Вы умрете не от своей руки», – отворачиваюсь.

– Ты... ты... – Анна изображает готовность к эффектному жесту.

– Я? Подонок, мм? – Она охает: синяки будут. Идет покорно, опустив голову в своих химических волосах.

У Людды были не такие волосы.

Волосы такие... похожие, м-да... у Маринки были такие.

Волосы эти легко ласкают мое остывающее лицо. Потом она ложится, прижавшись, и дышит успокаиваясь. Сейчас захочет пить.

– Мы встречаемся, только когда я сама прихожу, – говорит она.

– Тем лучше, – соглашаюсь я. – Мы встречаемся по твоему желанию.

Принц из андерсоновской русалочки был осел, каких поискать. Русалочка была прекрасна, смертельно любила его – и не говорила ни слова, немая. Это ли не идеал женщины? Он женился на другой – надеюсь, получил по заслугам.

Прикосновение Маринки приятно. Смытые картинки тасуются... я слышу собственный всхрап и размыкаю веки. Она приподнимается. Я тяну одеяло.

– Я не нужна тебе, – с умеренной скорбью.

Началось; началось; ох!..

– Хочешь сливу? – остались.

– Ты не занят завтра?

– Я тебе позвоню.

Мне капает слезинка.

Из «Мира мудрых мыслей» я почерпнул, что «счастье есть удовольствие без раскаяния».

Она одевается у окна. У нее красивое тело.

– Ты не проводишь меня?

За окном фонарь, дождь; ее профиль изящен.

У Людды был не такой профиль.

Линия профиля отсвечивает голубым на летящем фоне снежинок. Убранные деревья Александровского сада отдают сумеречный свет.

– Я так боюсь первой сессии, – говорит Вика. Я успокаиваю солидно.

Мы гуляем долго после кино, и она не отнимает руки.

Прожекторы зажглись, звенят куранты Адмиралтейства.

Я читаю Блока.

Вика печальна, девочка.

– У тебя не промокли ноги, Вик? Пойдем пить чай.

В гастрономе она тоже пытается платить, «позавчера была стипендия».

Дома я пристраиваю ее сапожки под батареи.

– За благополучную сессию!

Вика пьет храбро. Я показываю стройотрядные фотографии. Пою ей наши песенки под гитару. Музыка, свеча. «Ты гладишь меня, как кошку», – морщит носик. «Кошек гладят те, кому больше некого». Она позволяет целовать себя и смотрит отчаянно.

– Какая ты красивая, Вик... Я знаю тебя давно, только ты не знала этого...

– Правда?

Она гладит мою щеку и в этом прикосновении вдруг на мгновение становится родной, и становится истиной все что я говорю и делаю.

– Милая...

И уже в темноте какое-то время мерцают отрешенно и закрываются ее глаза.

У Людды были не такие глаза.

Сейчас среди толчеи Невского я упираюсь во взгляд этих глаз.

– Сережка... – она смотрит на мое пальто, ботинки. – Что с тобой? – риторически вопрошает с жалостью, но и с отмищением... Так всплывает забытая боль, чтобы уже исчезнуть.

– О, мать, – говорю я. – Вы прекрасно сохранились. И элегантны чертовски.

В угловом кафетерии она берет нам кофе и пару пирожков мне. Я приношу чистый стакан:

– Не угодно? – вынимаю початый портвейн.

– Нет больше водки с апельсиновым соком, – усмехается Галя. – Ты изменяешь себе.

– О нет.

Не могу отказать себе в удовольствии снять шапку. Она боится смотреть на мою лысину.

– Как живешь?..

– Так. А ты: замужем, дети?

Подтверждает.

– Я ж говорил, все будет у тебя хорошо; помнишь? а ты не хотела соглашаться.

Выйдя, закуриваем.

– Дай два рубля, – прошу я. Получаю пятерку.

Она ищет формулу прощания.

– Ну что, все бабы твои были? Вся водка выпита? Выполнена программа? – говорит она своим красивым голосом.

У Людды был совсем не такой голос.

Голос Танин – закрыв глаза на солнце, я забыл о счастье – напоминает:

– Ты сожжешь плечи, Сергей, – и внутренняя улыбка постоянна в ее лице и голосе.

Уже июнь, и трава у залива высокая. Кузнечики нажаривают в ней, а позади шуршит о песок вода. Песчинки в сгибах истории и муравей на странице; мы дремлем, касаясь плечами. Таня покрывает мне спину своим платком; ее кожа нагрета и блестит. Рассеянное в воздухе светлое золото июня отполировало ее.

– А я загораю лучше чем ты, – и целует.

Тени отмечают время. Мы купаемся напоследок. Она не умеет плавать, но здесь мелко и дно чистое.

Собравшись, мы уходим босиком. Я переносу Таню через мазутистое шоссе. Она старается лежать удобнее.

За листвой видна автобусная остановка.

– Ты из-за меня совсем не учился сегодня, – говорит Таня. – Если ты получишь четверку, тебе не дадут медаль... Ты не сердишься на меня?

Она самая красивая девочка в школе. Везение мое щемит нереальным. Мы строим планы.

Свободу не подарят

Ночью в открытое окно слышны куранты Петропавловки. Восходят огни разведенного моста, мазутным теплом судов и майским запахом акаций с набережной омывается прокуренная комната.

Девчонки посапывают под тонкими одеялами, конспекты и курсовые белеют на столах.

Лик Че Гевары проясняется на стене.

Утренние краски разводят сумерки; трещат-цвиринькают воробы в недвижной листве, свежесть тянет с залива.

Двадцать три года; старуха. Выгляжу все хуже. О чем ты мечтала в тринадцать лет. И что было в семнадцать. С привычным спокойствием – в зеркало. Не проснешься. Не заснешь. Выпяченный ротик аквариумной рыбки на грязном тесте лица. Крючок. Рви губы. Больно. Мое. Дважды не будет. Он хороший. Если б... Если б...

Коридоры, двери, комнаты спящего общежития.

Надя. Все слова, что придуманы. Надя. Такой большой холодный город. Надя. Легче было носить миномет по топким зарослям. Надя. И колючки рвали куртку и шкуру. Мою черную шкуру. Мои мины рвали белые шкуры. Белое отребье, которому не нравится цвет шкур моего народа. Не так все просто. Надя.

– Почему ты не отвечаешь мне, Надя?

– Не торопи меня, Симон.

– Через месяц я уезжаю, Надя.

– Дай мне еще немного подумать, Симон.

– Ты думала долго, Надя.

– Не торопи меня. Пожалуйста, не торопи меня...

– Скажи лучше сразу... Тебе трудно это, Надя?

– Это всегда трудно.

– У тебя будет хороший дом. Я буду хорошо зарабатывать. У меня не будет других женщин, Надя.

– Я знаю...

– Тебе будет хорошо. Ты не будешь менять гражданство. Если тебе будет плохо, ты вернешься в Союз, Надя.

– Я все знаю, Симон...

– Почему же ты ничего не говоришь, Надя?..

«Не могу написать даже, какое горе ты причинила нам с матерью своим письмом. Неужели ты способна, чтоб твой муж был совсем чужой человек нашей стране, всей нашей жизни. Неужели способна моя дочь бросить Родину ради иностранца, уехать за границу. Всю жизнь мы с матерью трудились для блага нашей страны, за нее я проливал кровь, и чтобы на старости лет дожить до такого позора. Нет, этого не может быть, или ты не дочь мне.»

Четверо суток идет авиа из Усолья-Сибирского.

Старые твердые руки с вьевшейся металлической пылью. Тяжело отдыхают в темноте на ситцевом пододеяльнике.

Шаги, шаги, километры, грязь, кровь, плита восьмидесятидвухмиллиметрового миномета образца 1938 года. Дожди привалов. Покурить. Огонь. Хлопки уходящих мин. Зацепило. Держись, Федя...

Еще месяц.

– Прощай, Надя.

– Прости, Симон...

Уж лучше бы...

Шаги, шаги, мили, грязь, кровь, ствол восьмидесятидвухмиллиметрового миномета образца 1938 года. Дожди привалов. Покурить. Огонь. Хлопки уходящих мин. Зацепило. Держись, Симон...

Уж лучше бы...

Еще два года.

– Атас! Грымза идет!

– Надежда Федотовна, я сегодня не выучил...

– Тема сегодняшнего урока: восстание Спартака.

Недорогие удовольствия

Каюров копил деньги на машину. Занятие это требует определенной выдержки и силы характера. У Каюрова была выдержка и сила характера. Три года назад он составил график, и теперь через год наступал срок покупки «Лады». Цвет Каюрову наилучшим представлялся сиреневый с перламутровым отливом. Перламутровые оттенки предпочтительны в моде автомобильного мира. Некоторые связи Каюров уже наладил.

Автомобилист, известно, не должен иметь пристрастия к спиртному. Человек, положивший себе приобрести машину, тем более не должен пить; а посему некоторые на работе недолюбливали Каюрова как парня прижимистого и себе на уме. Его это, конечно, не трогало, но досадно делалось иногда: что он, обязан с ними водку распивать за проходной, лучше он от этого станет, что ли?

А начальство к нему хорошо относилось. Работу он получал обычно выгодную, но и сложную, требующую внимания, он аккуратен был, не порол брак, инструмент в порядке, не одалживался и давать избегал: кому надо – у того свое есть.

Единственное что – конечно, скучновато бывало в свободное время, по выходным особенно. Жениться Каюров попозже решил, годам к тридцати, тридцати двум даже: во-первых, прежде чем создать семью, необходимо обеспечить верную материальную базу, во-вторых – куда торопиться обузу на себя взваливать? Вообще-то он не слишком умел ладить с женщинами.

Сегодня он проснулся в девять часов – самое подходящее время для воскресенья. Солнце грело в открытый балкон, листвою пахло. Каюров полежал немного, почитал «Советский спорт», послушал передачу «С добрым утром». Потом сходил в туалет, почистил зубы, принял душ, побрился электробритвой «Бердск-3 м» и немного задумался, колеблясь в решении. С одной стороны, хотелось попить пивка. С другой, утром следовало бы выпить чашечку кофе. Тем более при наличии кофе и кофеварки, – а у ларька можно встретить различные предложения с продолжениями, к которым он относился неодобрительно.

Поэтому, сложив постель в ящик дивана, он надел «олимпийский» спортивный костюм и занялся в кухне. Растворил окно, повязался передником от брызг и, пока издавала шепчущие звуки кофеварка, распустил на сковороде бельгийского топленого масла и изготовил яичницу из четырех яиц.

После завтрака переоделся: кримпленовый песочный костюм, розовая сорочка с планкой и черные лакированные туфли. Воскресный день был хорош, и Каюров отпустил на его проведение три рубля (вернее, четыре – восемьдесят шесть копеек в кошельке оставались).

При такой погоде разумнее представлялось провести время на свежем воздухе. И он с удовольствием прогулялся пару остановок пешком, посмотрел газеты на щите, выкурив сигарету. Универмаг работал – конец месяца, он прикинул чехлы для сидений в автоотделе; барахло чехлы, надо заказывать в ателье. Сел на двойку троллейбус и поехал в ЦПКиО.

У входа купил мороженое. В аллеях происходило фланирование, он последовал. Оценивал девушек в летних полуусловных платьях, прикидывая про себя, которая могла бы стать его женой, и вообще.

Над деревьями издалека тонкий силуэт колеса обозрения не ощущался подвижным. Вблизи гигантский велосипедный обод являлся сваренным из труб, голубая краска шелушилась пластами; люльки с поскрипыванием уплывали ввысь. У турникета ждала очередь, задрав головы. Каюров купил в будочке за двадцать копеек билет у старушки в очках с треснутым стеклом, стал в конец.

Сверху все было видно здорово. Парк напоминал свое изображение на плане. Зеленый массив четко делился аллеями, озерцо блестело, лодки ползли по нему, у павильона на желтом фоне песка и сером – асфальта пестрели толпы, а потом (движение вниз) поле обзора съезжилось, представляясь меньше первоначального, – Каюров даже подосадовал, что слишком быстро, – но день был еще в начале.

Несколько минут он поглазел на качели. На качелях катались в основном дети. Особенно двое пацанов старались в раже, взлетали выше полуокружности; Каюров подумал, что так они и мертвую петлю открутят, но, отметил: качели с ограничителем. На качели он, конечно, не пошел – не мальчик.

Температура воздуха заметно поднялась. Неплохо бы, рассудил, погрести на лодке. Самое подходящее занятие – мышцы размять, и вообще сравнительно солидное занятие.

Пруд угадывался задолго по особому запаху водоема в жаркий день. Берега бархатились ряской. На дощатом причале распоряжался малый в джинсах и без рубашки. Свободные лодки имелись. Час – рубль. Но требовалось оставлять в залог паспорт, а паспорт Каюров с собой не захватил. Не набиваться же в чужую компанию... Покурил, взирая на более предусмотрительных гребцов. Высказал малому, что паспорт по положению о паспортном режиме сдавать и брать в залог запрещается.

На американских горах в протяжном лязге размазанные скоростью тележки проносились по рельсовым виражам; сдавленные взвизги девчонок; очередь следила и тыкала пальцами. Каюров продвигался со всеми, не торопясь, некуда было торопиться, однако слегка раздражаясь, что и при воскресном отдыхе приходится выстаивать очереди.

Многочисленные марши крутой лестницы вывели на верхнюю площадку. Двое парнейков принимали подающиеся снизу транспортером тележки, рассаживали в них очередных и подталкивали к спуску. Тут же под тентом несколько девчонок, – их знакомые, понятно, – раскинувшись в шезлонгах, пили пиво из бутылок.

Каюрова усадили с какой-то девицей, впереди. Тележка оказалась мелковата и вполне давала ощущение ненадежности. Сверху сделалась очевидной крутизна спуска. Их подпихнули, и они сорвались в почти свободное падение вдоль рельсов, с разгона наверх, на вершине зависли в воздухе, и хотя Каюров понимал, что вылететь нельзя, в этот-то момент как раз вылететь оказалось – раз плюнуть. Но ухнули на рельсы и устремились к черной дыре тоннеля, высота его меньше высоты тележки. Девица пискнула и прижалась к его спине. А у него нервы были хорошие.

После этих гор он посидел и покурил немного.

Потоптался за ограждением вокруг парашютной вышки. Закрепленный парашют скользил вдоль вертикального троса, дядька страховал, ловил приземляющихся, – неинтересно. Ноги у «парашютистов» болтались и подламывались, площадка выбита в пыль... Какие-то семнадцатилетние ухари – из завсегдатаев, не иначе, – прыгали спиной вперед с перил, крутя сальто между лямок, но выглядело это скорее хулиганисто, чем лихо, – все повадки у них были такие, прибалтненные.

Рядом в круглой вольере за железной сеткой авиамоделисты гоняли кордовые модели. Яркие самолетики проворно кружили на привязи, жужжа звонким металлом. Их привязанность вызвала некий протест, – хотелось свободного полета для них, высоты, пусть и закувыркаются оттуда.

Время текло в общем приятно. Каюров еще побродил по аллеям, посидел на скамейке, навешивая взгляды на проходящих девчонок, но тут рядом расположились мамаша со старушкой и младенцем в коляске, а его принялись стыдить, что курит рядом с ребенком; он выдвинул резонные возражения, что сел первый, да и здесь не детская площадка, они стронулись, поняли, что на него где сядешь, там и слезешь, но все равно настроение стало уже не то, он тоже поднялся.

Завернул к закусочной – пообедать не мешало бы. Очередь занимали, наверно, уже на ужин. Тухлый номер. Но ему повезло: рядом начали давать пиво и бутерброды. Он взял две бутылки «Адмиралтейского» и четыре бутерброда с колбасой, скушал, под вторую бутылку закурил, и настроение привелось к норме. Нет, полноценный отдых получался.

Перекусив, Каюров решил посетить комнату смеха. В комнате смеха он заскучал. Ну, кривые зеркала. Толстый – тонкий, вот веселье... Подойди и посмотри на улице в хромированный колпак автомобильного колеса – тот же эффект.

Часы показывали без двадцати четыре. Еще немного стоит поболтаться. На шесть он сходит в кино – у них рядом идет, «Свет в конце тоннеля», остросюжетный детектив, специально его на воскресенье оставил. Потом – посмотреть дома телевизор, баскет из Югославии. Нет, хороший день; можно завтра и свежим на работу, и глаза с похмелья не будут поперек, вроде некоторых.

Денег оставалось рубль шестьдесят три копейки. Полтинник на кино, гривенник на транспорт, рубль свободный. Прикинув, Каюров назначил его на игральные автоматы.

Двадцать копеек содрали за вход. Итого он располагал пятью монетами по пятнадцать.

В павильоне стереофоническим эхом отзывались электронные выстрелы и взрывы. Каюров понаблюдал из-за спин, немного стеснясь, в окошечки, где прыгали в джунглях звери, поворачивались мишени, набирали скорость и сталкивались гоночные автомобили на внезапных стремительных поворотах. Его привлекли два автомата: «Подводная лодка» и «Воздушный бой».

Сперва взялся за лодку. Перископ с двумя ручками, визир прицела, запас десять торпед. Силуэты кораблей движутся слева направо и обратно, уходя за скалы. Первые две торпеды ушли по серой воде пульсирующими пятнышками мимо. Третьей он попал: засветилось мрачное зарево, пророкотал взрыв. Приспособился, и сзади подсказывали: навести прицел заранее в угол и поджидать корабль, ловя момент совмещения. Из оставшихся семи торпед Каюров еще пять раз попал. Довольно просто. Забавно: детская, в сущности, игрушка, – а вот поди ты, дает удовлетворение.

Ознакомился с воздушным боем. Там, пронизывая с неизмеримой скоростью стратосферу, пуская отстающий ракетный гул, уходила тройка истребителей-бомбардировщиков, качаясь звеном с крыла на крыло в прямоугольном обзоре.

Каюров опустил в прорезь монету. Экран включился. Пространство понеслось назад. Самолеты уходили, сохраняя дистанцию. Он взялся за ручку управления, ловя ведущего в прицел. Панорама начала смещаться, ведущий в движении подставился в перекрестие при-

цела, Каюров нажал средним пальцем гашетку, трасса прочертила левее, он опоздал, не учел упреждение, прицел уже неверен. Остороженько подобрал ручку на себя и вправо... силуэты чуть поплыли наискось в обзоре... ведущий захватился в прицел, он снова нажал, уже чуть раньше, насадил его на огненную спицу, прямо в сопло, самолет размазался горящим стремительным клубком, разбрасывая порхающие обломки, вспухшее свечение заслонило видимость, промелькнуло внизу, когда Каюров принял ручку, линия горизонта впереди опустилась, он взял слишком высоко, двух других самолетов не было видно, он завертел головой, пытаясь обнаружить их в пространстве, заработал ручкой, ни черта, и тут что-то молниеносным пунктиром чиркнуло левее и выше, секундой позже следующая трасса прошла впритирку под правой плоскостью, он инстинктивно взял ручку на себя, и третья очередь прошла под самым брюхом, оглянулся, два перехватчика держались сзади на дистанции стрельбы, зайдя в хвост, слизнул пот с верхней губы, его машина шла в контуре их трасс, скорость вся, он резко сбросил газ и крутнул бочку с потерей высоты, они проскочили над ним, он вогнал машину в крутое пике, сменив спиралью направление, но они снова очутились сзади, доставая огнем, раскаленный металл изодрал и разнес его фюзеляж, баки взорвались, он расплылся светящейся полосой в черной безвоздушной высоте, и все кончилось, пока трасса не прошла рядом, двигатель ревел на форсаже, ручка теряла податливость, пот слепил, не оторваться, они кончали его, он попытался боевым разворотом выйти в лоб и разойтись на встречных, пульс дробил виски, они подсекли его на вертикалях, очередь обрубила правую плоскость, горизонт закувыркался хаотично быстрее отовсюду, земля ударила сверху и его принял конец света, но звезды светились ярко и поплыли вбок разом, когда он пытался подвернуть от сближавшихся трасс, он хотел катапультировать в отчаянии, но катапульта не срабатывала, скафандр душил его, они вцепились ему в хвост мертвой хваткой, он заштопорил, притворяясь сбитым, но они расстреляли его, заходя по очереди, как на полигоне, фонарь разлетелся, осколки рассекли скафандр, сосуды его лопнули, как у глубоководной рыбы, земля поднялась снизу и подхватила его мягким всепрощающим поцелуем.

И все погасло. Зажглось табло: «Игра окончена».

Каюров с трудом стоял, ухватившись за ручку. Он разжал слипшиеся пальцы и отступил, храня равновесие. Повернулся и стал не сразу делать шаги. Когда попал в выход, увидел снаружи скамейку и сел на нее.

Сидел и курил. Ветерок тянул, освежал.

Из павильона появилась девушка, оглядевшись живо, с кошельком в руке.

– Простите, у вас не нашлось бы пятнадцатикопеечных монет? – обратилась и пояснила: – А то кассирша вышла куда-то...

Она, моргнув, ждала, второпях обозначая вежливую полуулыбку.

– Поди ты знаешь куда... – сказал Каюров.

Не в ту дверь

– Папочка, ну можно, я досмотрю кино, ну мо-ожно...

– Ты видела его уже.

– Ну и что, а все равно интересно.

– И вообще кино это для взрослых.

– Но я же все равно его видела.

– Софочка, загони ты ее, наконец, спать! Половина одиннадцатого. Завтра опять трояк схватит.

– А что я могу с ней сделать? Попробуй сам загони.

– Чего я схвачу, ничего я не схвачу, я все давным-давно выучила.

– И историю?

– Д-да...

– А ну вас всех, ей-богу. – Сухоруков поднялся с дивана и прошлепал на кухню. Плотно притворил дверь, закурил. Вытер со стола, постелил газетку и уселся дочитывать зыкинскую диссертацию. Зыкин длинно и нудно писал об элементах фольклора в поэзии Некрасова. Сухоруков, признаться, Некрасова не очень любил, а Зыкина – так просто не переваривал. Но отзыв следовало дать положительный; что, впрочем, упрощало дело.

Теща взвизгнула в ванной. Опять краны перепутала.

– Софочка! – сатанея, рявкнул Сухоруков.

Жена заколотилась в дверь:

– Что случилось, мама? Ты не упала? Что ты молчишь? Что с тобой?

– А? Что? Что случилось – заволновалась теща. – Не слышу, у меня вода льется! Сейчас открою!

Сухоруков вздохнул, поправил очки и уткнулся в рукопись, делая осторожные карандашные пометки. Один черт, на защите все пройдет благопристойно.

Через полчаса он почувствовал щекочущее, неудержимое, сладкое желание утопить Зыкина в ванне. С наслаждением рисовал себе подробности убийства; в детективах Богомила Райнова это хорошо описывается.

– Чай будешь пить? – спросила жена.

– Пили ведь. Хотя... – он положил диссертацию на буфет. – Угомонились наследники?

– Легли наконец.

– Бабушка спит?

– Читает.

Чаек был тот еще. Настоящий чай Сухорукову не давали: вредно. Сердчишко, и верно, пошаливало.

– Вера Ивановна сегодня складной зонтик продавала... – сказала жена.

– За сколько?

– Сорок.

– Ну – ты купила?

– Ага; деньги с получки отдам, – коснулась его рукой. – Я дежурю завтра, не забудь забрать Борьку из садика.

Халатик был короткий; летний загар не сошел еще с нее.

– Пойдем спать.

– Я немного поработаю, Софочка. Ложись, я скоро.

На цыпочках он прокрался в большую комнату...

– Что ты там делаешь? – прошептала из спальни жена.

– Статью надо посмотреть, – прошипел он.

...вытащил с дочкиной полки «Одиссею капитана Блада», затворился на кухне и принялся заваривать настоящий чай.

Без двадцати двенадцать, когда Питер Блад готовился захватить испанский галеон, в дверь коротко позвонили.

– Ничего себе! – Сухоруков удивленно снял очки.

– Кто там? – тихо спросил он, пытаясь разглядеть визитера через глазок.

За дверью неуверенно посопели.

– Это я...

– Поздновато, знаете. – Вроде юноша какой-то. – Кто – я.

– Женя.

Сухоруков снял цепочку и открыл дверь. Паренек со странноватой ожидающей улыбкой обмерил его портновским учитывающим взглядом. Под этим взглядом Сухоруков начал ощущать свою лысину, большой живот в пижамных штанах, дряблые руки.

Паренек вздохнул, кашлянул и улыбнулся снова.

– Вы – Сухоруков?

– Ну, я... – с неотчетливым стыдом сказал Сухоруков, тщетно собираясь с мыслями...

– Я – Женя. Не ждали?

Этим вопросом – «не ждали» – он погасил возможную, вполне вероятную реакцию на свое появление, как гасят купол парашюта, который сейчас потащит по земле.

– Ждал, – солгал Сухоруков. Говоря это, он верил, что лжет, хотя на самом деле, пожалуй, сказал правду. – Проходи. Вот тапочки... Ты с рюкзаком? Давай. Тихонько, перебудим всех.

Он сунул обвисший рюкзак в угол, передумал, пристроил на столике у зеркала.

– Я беспокою вас; поздно.

– Ничего.

– ...Опоздал самолет. Сезон я с геологами в партии работал; я только из Якутска. Полевые, ясно, просадил до копейки. А дай, думаю, зайду. Меня давно подмывало... – Сейчас Женя улыбался предвкушающе (сколько у него, однако, улыбок, отметил Сухоруков). – Пока нашел вас в новом районе, – махнул рукой. – Переночевать-то позволите?

– Из Якутска... – прошептал Сухоруков. – Так тебе сейчас... сколько же...

– Двадцать два.

– Боже мой. Двадцать два года...

– Извините, где у вас туалет?

– Вот; свет, ванная, полотенце – давай.

Сухоруков зажег под чайником газ и стал выставлять еду из холодильника на стол. Принес из серванта, не дыша, боясь звякнуть, водку в хрустальном графине.

– На кухне посидим, чтоб не будить, ладно? После я тебе в большой комнате постелю.

– Ясно.

– Голоден, конечно?

– Ясно. О, чаек толковый! Старый любитель, а?

– Жена запрещает, – посетовал Сухоруков. – Вечерком иногда и отвожу душу.

– Ну, – сказал Женя, – со свиданьем!

Черту лысому такие свиданья, хмыкнул про себя Сухоруков. Выпили.

Ему было приятно смотреть, как Женя ест. Ладный такой, собранный, невесть как очутившийся в этой белой кухоньке.

Ветчина исчезла вслед за котлетами, сыр – за ветчиной, шпроты, холодные оладьи, помидоры; вазочка из-под варенья переехала в раковину; чай пришлось заваривать дважды.

– Горазд ты, брат, жрать, – подивился Сухоруков.

– Уж коли братья!.. – Женя осоловел. Закурил, с усилием сделав глубокий вдох, чтоб затянуться. – Прилично питаетесь, – признал. – Хотя выглядеть могли бы лучше. В ваши сорок шесть, распускаться, нельзя, – осуждающе покачал головой.

– Нельзя, – подтвердил Сухоруков.

– Давай выпьем за тебя, Женя, – сказал он. – Я хочу выпить за тебя.

В ванной долго стоял перед зеркалом, и руки его затряслись.

Женя листал зыкинскую диссертацию.

– Это что за ахинея? – поинтересовался он.

– Да вот, – Сухоруков замялся, – отзыв писать надо.

– Зачем? Таких слов и писать нельзя.

– Шеф попросил, – брякнул Сухоруков.

– Шеф? – удивился Женя.

– Ну да... – Сухоруков потоптался и стал мыть посуду.

– Какой шеф? – напряженно проговорил Женя.

Остатки засахарившегося варенья не растворились; открыл воду погорячей.

– Сейчас... – вазочка сверкала. Мысленно он не раз вел предстоящий разговор, да мало толку.

– Понимаешь ли... – убрал вазочку на буфет. Подумал, что Женя на его месте обязательно постарался бы уронить ее, разбить якобы нечаянно – подобает при волнении. И это вызвало в нем чувство отеческого превосходства.

– Шеф – заведующий кафедрой русской филологии.

– А...

– Я... я работаю на этой кафедре.

– Та-ак, – взводимый курок словно.

Тарелка выскользнула-таки из рук и треснула.

– Вы женаты?

– Да.

– На ком?

Голос Сухорукова от него отделился, звучал вне его.

– В общем...

Женя... Жизнь уходила из черт его лица.

– Ты думал, наверное... (почему «наверное»? – мелькнуло) конечно, что я... Ты ее не знаешь.

– ...

– Я... обыкновенный человек. Нормальный. Н-не знаменитость. Не писатель. И все такое...

Сухоруков закурил в тишине.

– НЕТ!!.

Грохот черных сапог.

Дым пожарищ.

Втопанные в пепелища яблоневые лепестки.

Задыхаясь, умирать под дождем.

– Зачем ты пришел?

– Должен ведь я был когда-нибудь прийти.

Не возражишь...

– И должен ведь я когда-нибудь уйти, – тихо Женя пошел в прихожую. Посмотрел непонимающе на снятые тапочки и обул свои разбитые башмаки.

– Погоди... – Сухоруков тянулся вслед за своими пальцами к его плечу. – Погоди, – не решался коснуться. Знал: если Женя уйдет сейчас так – он теряет его навсегда. – Нам надо поговорить.

– Поговорили. Вполне...

– Я должен многое сказать тебе. Объяснить... Это тебе же надо. Тебе.

– Нет, – сказал Женя. – Мне не надо.

– Я прошу тебя, – прошептал Сухоруков. – Десять минут. Пожалуйста. По сигарете только выкурим. Да не разувайся ты.

Сели в кухне, не глядя друг на друга.

– Пить я не буду. – Женя отодвинул рюмку. Сухоруков выпил один.

Произнес заготовленную фразу:

– Понимаешь ли, Флобер писал когда-то молодому Мопассану: «Ничто в жизни не бывает ни так хорошо, ни так плохо, как люди обычно себе воображают». (Произнеся, ощутил некое сравнение, не в свою пользу.)

... – Так вам хорошо – или плохо? Или – средне? нормально?

– А знаешь, – взвесив (в который раз), честно сказал Сухоруков, – пожалуй – хорошо.

– И давно вам так... хорошо?..

– Позволь тебе задать, – Сухоруков чувствовал себя в положении шахматиста, навязывающего партнеру заранее подготовленный вариант, – позволь тебе задать банальнейший вопрос: по-твоему, что такое хорошая жизнь? А?

Ноль размышлений:

– Уметь хотеть. Знать, чего хочешь. Добиваться этого. Остальное – шлак.

Твердо сказал. Ой как твердо. (Мало бит.)

– Да-да, конечно-конечно, – хотеть, добиваться... А как насчет соизмерения желаний с возможностями?

– Сделай – или сдохни, – говорили, вроде, англичане.

– А если сделать не смог, а сдохнуть не захотел?

– Тогда смени имя! – кричал Женя.

– Я – обычный – человек, – мерным голосом произнес Сухоруков.

– ...сменили все. Вывеска... осыпается...

– И живу мерками обычного человека.

– Ага. Семья, квартира, положение.

– Ну, – Сухоруков поморщился, – начинается школьный диспут о мещанстве и романтике. Я думал, ты умнее.

– Еще нет, – беззвучно.

– ...Я отнял у вас много времени, – сделал Женя движение, чтобы встать. – Сколько сейчас?

Сухоруков отстегнул с запястья массивный «Атлантик»:

– Возьми часы, а? – посмотрел Жене в глаза, улыбнулся (стараясь – поуверенней). – Хорошо ходят.

«Атлантик» со стальным браслетом тикал между ними на столе.

Курили.

– Что делать думаешь, Женя? Теперь куда-нибудь к рыбакам податься, на траулер, в море?

– Возможно.

– Несерьезно это все.

– Отчего же? Тысячи людей шкерят рыбу.

– Для них это жизнь; а для тебя – туризм...

– Ваше занятие лучше?

– Пойми, Женечка, – вздохнул Сухоруков, – я же тебе добра желаю. Пойми – только добра.

– Скверное это занятие, – пробормотал Женя, – всегда всех понимать. Быть умнее всех. Потом оказывается, ты же и виноват всегда.

– Ты же хочешь писать. Тебе волей-неволей надо всех понимать.

– Замечание с далеко идущими последствиями.

– ...Пишешь?

Пожал плечами.

– Рассчитываешь сделаться писателем?

– Там видно будет.

– Там уже видно! Слава, деньги, заграничные поездки... Господи, как старо, смешно, банально. Детство, романтика.

– Я пробуюсь.

– Я же говорю: детство, романтика. Куда пробьешься, откуда пробьешься? Что за военно-шахтерская терминология? Знаешь, что будет дальше? Мне-то известно.

Дальше ты будешь «набирать биографию» и лезть в печать. Напечатают, в конце концов. Примелькаешься, заведешь знакомства, станешь своим человеком. Годам к тридцати пяти издай книгу. Кто-нибудь ее тихонько похвалит. Все.

Тут-то тебя и прищемит. Ты честен и бездарен. И – прости – тщеславен. Безнадежное сочетание. Халтурить не захочешь, создать шедевр не сможешь.

И устанешь от всего этого: безденежья, неуют, одиночества, неуверенности в завтрашнем дне, от всех нелегких дрызг литераторского ремесла. И то, что ты сейчас с презрением считаешь рутиной: дом, семья, работа и зарплата, – то покажется берегом обетованным. Нормальная, повторяю, человеческая жизнь счастьем покажется – да так ведь оно и есть.

...Примерно так у меня и вышло. Учел бы ты, голубчик, опыт мой, что ли. Чем раньше покончишь со своими наполеоновскими планами – тем лучше. Честно признаться самому себе в поражении, смириться – трудно. На это тоже силы нужны. Постарайся найти в себе эти силы как можно раньше.

– Спасибо за советик. Я уж лучше постараюсь найти в себе силы не смиряться.

– Почему, – в отчаянии простонал Сухоруков, – почему ты не желаешь мне верить? я ли не читал твои опусы? мне ли тебя не понять! Послушай меня – и в сорок шесть ты при своей энергии будешь хотя бы заведовать кафедрой – не то что я теперь... Ты должен мне верить.

– Я должен вам верить, – медленно произнес Женя, глядя перед собой, – я готов поверить даже, что я бездарь; но почему... еще... когда вы женились? – Он навел взгляд на Сухорукова.

– А... – сказал Сухоруков. – Двенадцать лет...

– И раньше...

– ...Она сама ушла от меня. Ты это хотел знать... Позднее я понял, что слишком много от нее требовал. Сильная любовь, видишь ли, накладывает на любимого большие обязательства, к которым тот обычно совершенно не готов. И еще... Ведь обладание любимым зачастую не избавляет от мук неразделенной любви.

Женя поднял голову.

– Резонер, – он выпустил сигаретный дым, кривя рот. – Я устал от ваших афоризмов, – пробарабанил пальцами по столу... – Неудачный обмен годов на цитаты.

Непробиваемое превосходство молодости исходило от него. Учить этого парнишку жизни было все равно что редактировать Бабеля.

– Ничего себе в гости сходил. – Женя хмыкнул, улыбнулся.

– Нет, – объявил он, – не нравитесь вы мне.

– Какой есть, – вздохнул Сухоруков, – что поделаешь.

– Я пошел, – ответил Женя и протопал в прихожую.

– Уже...

– Пора мне. – Женя взял свой рюкзак. – Пора, – открыл дверь.

– Заходи, – тупо сказал Сухоруков.

– Ноги моей здесь не будет.

– Ты не можешь думать обо мне плохо, – торопливо заговорил Сухоруков. – Совесть моя чиста. (Это была правда – почему сейчас он сам себе не верил?) Я все-таки сделал кое-что в науке. Дети у меня хорошие... (Что я несу? – ужаснулся он...)

Женя рассмеялся, стоя уже на лестничной площадке.

– Прощайте, Евгений Сергеевич. – Он сплюнул. – Ноги моей здесь не будет! – крикнул он и с грохотом захлопнул дверь.

Проснулась жена.

– Женя, – тихонько позвала она... – Что там у тебя?

Никто не отвечал. Она накинула халат и вышла в кухню. Массивный стальной «Атлант» тикал на белом пластике стола. Никого. В ванной и туалете – тоже.

– Евгений, – позвала она. – Где ты, Женечка?

Черта с два!

Двадцатидвухлетний Женька Сухоруков, романтик, бабник, бродяга, размашисто шагал темной улицей, подкидывая на плече грязный рюкзак. Он посвистывал, покуривал, поплеывал сквозь зубы, улыбался, вдыхая ночную прохладу.

– И флаги на бинты он не рвал, – с некоторым пафосом пробормотал он о себе в третьем лице, сворачивая к вокзалу. Его потери и обретения еще не прикидывались друг другом.

Кнопка

Кнопкой его прозвали еще с первого класса. Пришел такой маленький, аккуратненький, в очках и нос кнопкой. Посадили его за первую парту, перед учительским столом, да так мы все десять лет и видели впереди на уроках его аккуратно постриженный затылок и уши с дужками очков. Левое ухо у него было чуть выше правого, очки держались косовато, он их поправлял.

К нему в классе в общем ничего относились. Учился он неплохо, списывать давал всегда. Он покладистый был, Кнопка, безвредный. И не ябедничал, – даже когда в третьем классе Юрка Малинин его портфель в проезжающий грузовик закинул.

На физкультуре он стоял самый последний. Недолюбливал ее Кнопка и побаивался, ко всеобщему веселью. Пятиклассником он через козла никак не мог перепрыгнуть; и позже не удавалось. А играли мы в футбол или баскет, он шел в качестве нагрузки, друг другу спихивали. Но обычно мы его судить ставили, это и его и нас вполне устраивало. Судить Кнопке нравилось, добросовестный был судья, невзирая на риск иногда схлопотать. Правда, тут его в обиду не давали. А после игры он всем с ответственным видом раздавал полученные на хранение часы и авторучки. Или купаться пойдем, побросаем барахло, а Кнопка лежит рядом и переворачивается на солнце через научно обоснованные промежутки времени, сигареты нам достает сухими руками и время говорит.

Если в классе начинали деньги собирать, – девчонкам на подарки к 8 Марта, на складчину там, на учебники, – сдавай Кнопке. Ему определили постоянную общественную нагрузку – казначей, и относился он к ней со всей серьезностью, специальный кошелек завел с тремя отделениями: одно для мелочи, другое для бумажек, а в третьем держал список – кто, когда и сколько сдал. Как в сберкассе.

Однажды Толька Кравцов подобрал на улице щенка и принес домой. Ну, ему мамаша, конечно, показала щенка. И Толька со щенком отправился к Кнопке.

– Выручай, – говорит, – Кнопка, друг, пока я ее уломаю.

Он ее месяц уламывал. А щенок этот месяц жил у Кнопки; что немало способствовало репутации последнего. Не так-то, знаете ли, просто. В конце концов Кравцов выиграл свою гражданскую войну рядом сильных ударов: он исправил двойку по алгебре, записался в кружок друзей природы, натравил классную прийти к нему домой и провести беседу о воспитательном значении животных в семье и пригрозил матери поставить на педсовете вопрос о лишении ее родительских прав. Щенок в целости вернулся к хозяину и через год вымахал в псину величистой с мотоцикл. И уезжая летом в пионерский лагерь или с родителями в отпуск, Кравцов по-прежнему со спокойной душой оставлял его Кнопке.

Еще Кнопка умел хранить тайны. Могила! Их доверяли ему, не рассчитывая на собственную выдержку; знали: Кнопка не выдаст. Интересно представить себе кое-чьи судьбы, просочись скрываемые сведения. Кнопка надежно упрятывал излишки информации, которые, выйдя наружу, как раз могли дополнить уже известное до критической массы.

Да и не только излишки – на наш взгляд. Но – хозяин барин. Мы ему стали иногда и выученные параграфы сдавать. Осознаешь – и сдаешь, а то вылетит из головы до следующего урока; или в случае контрольной, например. А отличник Леня Маркин, такой ушлый парнишка, так тот приспособился вообще все Кнопке сдавать: на перемене позубрит, побор-

мочет под нос, прикрыв учебник – и Кнопке. И не подскажет никогда ничего, паразит. «Ты же знаешь, – занудит, – у меня же нет при себе ничего...» А идет отвечать, – хватать – и блещет. Русаня его все в пример ставила. «Вот, – говорит, – как может любой развить свою память, если регулярно заниматься и с первого класса учить стихи». А при чем тут память, когда все-таки совесть иметь надо.

Когда Юрку Малинина повлекли на педсовет за электрический стул (под сиденье учительского стула он привернул батарею БАС-80 и вывел полюса на шляпки гвоздей), он, посолобрав, оставил-ка у Кнопки на всякий случай задиристость, и грубость тоже.

– Вернее будет, – решил. – Ведь ляпну им неласково – точно в специнтернат переведут. И карты пока у себя подержи.

Кое-кто замер. Заговор созрел.

– Кнопка, – уговаривают вполголоса и на дверь оглядываются, – ты б выкинул это куда-нибудь, а? Ну сам посуди – какой прок-то? Доброе дело сделаешь!..

Кнопка подумал, очки поправил и отвечает рассудительно:

– Во-первых, сами понимаете, что Юрка может тогда устроить. Во-вторых, вдруг все равно отыщет. В-третьих, ну как он взамен раздобудет такое, что только хуже станет? В-четвертых, – и он вздохнул не без горделивости, – не могу: взял – значит, отдам. Иначе нельзя. Иначе представляете, до чего может зайти?..

От него отступились разочарованные, и со смутным уважением.

Насели на Юрку. Много благ сулили и объясняли выгоду. Юрка удивлялся, фордыбачил, набивал цену. Его соблазнили авторучкой с голыми картинками.

– Ладно, – снизошел. – Но ненадолго, посмотрим пока.

Смотрели два дня. Ощутимый результат. «Стрессовый уровень обстановки резко упал», – выразилась по этому поводу староста Долматова. На третий день Юрка пришел с фингалом и прихрамывая и потребовал все обратно.

– Пацаны на микрорайоне уважать перестали, – процедил нехотя на тактичные расспросы. – Ничего, сегодня у них будет вторая серия. Курская дуга, – и сплюнул.

...И был май, и листва за открытыми окнами, когда в понедельник перед химией (в девятом классе уже) Нинка Санеева подошла в коридоре и посмотрела Кнопке в глаза. Была у нее эта глупая привычка уставиться на тебя ни с того ни с сего, а потом отвести взгляд с высокомерным выражением.

– Кнопка, – говорит, – мне надо с тобой серьезно поговорить. Очень серьезно, – а сама все смотрит.

Кнопка кивнул, стараясь держаться уверенней. Нинка – Нинка идет по улице и несет на себе взгляды, как... как сорванные финишные ленточки. И соответственно манеры у нее свободные и характер неуправляемый.

Он пришел к углу возле универмага раньше времени, в выходных брюках, с ненужными свежим носовым платком и сигаретами в кармане. Нинке полагалось опоздать, и она опоздала; но он нервничал.

Отойдя, они сели на скамейку в скверике, и Нинка взяла его за руку, и его сердце пропустило удар.

– Кнопка, – спросила она, – ты мне друг?

– Друг, – сказал Кнопка, неловко сидя, стараясь не смотреть на руку.

– Ты мне должен очень помочь, – сказала она, и Кнопка заскользил убыстряя в реальность, как на салазках с горы.

Нинка понизила голос:

– Тебе можно доверить самое главное?..

– Что? – спросил Кнопка, хотя он уже знал.

– Нет, ты сначала скажи!

– Можно, – дал он согласие с тяжелым сердцем.

– Вот... – сказала она с грустью...

– А зачем? – спросил он.

– Понимаешь... есть один человек... Я его люблю. На всю жизнь. А он не стоит этого. Он... он не любит меня и никогда, наверное, не полюбит. Вот и все. А я... иначе я боюсь наделать глупостей... И вообще...

– А может, – сказал Кнопка, сосредоточенно считая и сбиваясь, белые астры на клумбе, – ты уж лучше совсем... ее...

– А вдруг он меня когда-нибудь все-таки полюбит? Или меня полюбит другой, хороший человек? Выйду замуж и тоже буду его любить, понимаешь? А сейчас... не желаю я мучаться и унижаться... И... я не хочу потратить свою любовь так бездарно.

– Эх, – сказал Кнопка. Подумал, что надо вынуть руку из ее, но не стал: все равно сейчас расходиться.

– А ты сумеешь сохранить?

– Я сумею, – сказал он. – У нас как в сберкассе.

Нинка после этого всем видом демонстрировала некую умудренность и значительность; можно подумать, прибавилось у нее чего.

На выпускных экзаменах, конечно, Кнопка использовался на полную нагрузку. Помог здорово. К его услугам не прибег один Никита Осоцкий. Не то чтобы из гордости или желания выделиться – просто Никита такой удачный экземпляр человека, у которого и так все ладится, без всякого видимого напряжения, будто само собой. Ничем его природа не обделила, ни по форме, ни по содержанию. Его любили и ребята, и учителя – случай редкий. Мне б его данные. Я бы на его месте тоже своими силами обошелся. А может, и нет. Чего зря рисковать, если можно подстраховаться.

Уже поступив в институты, мы забрали у Кнопки свои волнения. Жаль, но ничего не поделаешь, – тридцать-то человек! тут, знаете, и дом мог рухнуть, не выдержав.

Кстати, о доме: Кнопка переехал в новый район, на окраину без телефона, и по пустякам его просить перестали – добираться черт-те куда, и еще неизвестно, застанешь ли. Зато каждый год в первую субботу октября собирались у него отмечать годовщину окончания: трехкомнатная квартира, а родители уезжали к знакомым за город.

В позапрошлом году мы на этой встрече здорово надрались и чуть не устроили путаницу из Кнопкиной камеры хранения. Слава богу, разобрались. А то могли бы те еще накладочки получить. Хотя не исключено, что кое-кто в этом был заинтересован.

Между письменным столом и батареей у Кнопки стоит мой вкус к жизни. Я свез его туда через месяц после поступления в аспирантуру. Иначе серьезно работать невозможно. На отпуск только беру. Ничего, еще будет время пожить в свое удовольствие.

Там же лежит мое желание выпить. Жена в свое время заставила: «Оно или я». И все равно через полгода мы развелись.

Всю эту неделю я сидел в лаборатории до десяти вечера, нажил бессонницу, в субботу шел дождь, простудился вдобавок, взял бутылку водки, – а пить никакого желания. Поколебался я и поехал к Кнопке.

Сошел я с 59-го автобуса на Загребском бульваре, нашел, как принято путаясь, его дом 5, корпус 3, звоню. Открывает он дверь, в байковой курточке, лицо усталое. Он вообще быстро стареет, Кнопка.

– Заходи, – радуется.

– Простыл я, – извиняюсь. – Давай, Кнопка, выпьем, что ли.

– А, – понимает. – Пошли в мою комнату, сейчас.

Накрыл он на стол по-быстрому. Мать его нам винегрет принесла, помидорки соленые.

– Что ж, – сетует, – редко заглядываете? Все по делу да на минутку...

Неловко даже как-то стало. Тем более, что я и сейчас, собственно, по делу – если это можно делом, правда, назвать.

Себе Кнопка томатный сок налил в рюмку. Не хочет пить.

– Он же у нас вегетарианец, – вздыхает мать. – Не пьет, не ест. Для здоровья, говорит, мол, полезно. А чего полезного, вон на кого похож.

Кнопка сделал умоляющий жест.

– Иду, иду... Сидите себе.

– Слушай, – предлагаю, – может, давай, а?.. моего желания, знаешь, и на двоих хватит.

– Не в том дело.

Ни в какую. Ладно. Посидели мы с ним. Уютно у него в комнате, чистенько так. Поговорили о том о сем, – он инженером в ЦНТИ Облтранса работает.

– Сколько, – спрашиваю, – сейчас получаешь?

– Сто тридцать с прогрессом.

– Слушай, – не выдерживаю, – Кнопка, ну, выпить ладно, но у тебя столько здесь без дела лежит, неужели самому не хотелось когда воспользоваться? Что сделать-то можно!

Он улыбается мне снисходительно и головой качает.

– Как ты не понимаешь, – объясняет. – Это как ключи от французских замков – каждому только свое подходит. Уж кроме того, что непорядочно.

– Да попробовать?

– Помнишь, – вздыхает, – Светку Горячеву? Вот она ко мне в прошлом году мужа привела. Он, говорит, такой способный молодой ученый (биолог он), но уж очень робкий, застенчивый, все затирают его. Нельзя ли, мол, напористости ему, нахальства даже, хоть ненадолго? Просила так, ревела – жизнь ломается, для пользы надо... Дал ему нахальство одно – на неделю...

– Ну?

– За эту неделю его выгнали с работы. Чего-нибудь в этом роде следовало ожидать. Человек-то прежний, и вдруг появляется в нем нечто ранее не присущее. Людям это, знаешь, не нравится.

Развезло меня немного. Сижу, смотрю на него, бедолагу, кассира при чужих деньгах. Он взгляд перехватил:

– Зря так смотришь, – говорит тихо... – Жизнь моя хорошая.

Смешался я.

– Жениться не думаешь? – брякнул.

– Да нет пока.

– А Нинка как живет? – Сам тут же пожалел, что у меня выскочило.

– Да так, – говорит. – Недавно опять любовь свою взяла. У нее ненадолго, – добавил.

Я представил себе стерву-Нинку с ее неснашиваемой любовью, и зло взяло.

– Кстати, ты учти, – говорит Кнопка, – кое-что ведь от хранения портится. Уж я слежу, как могу... Мне вот Леня Маркин одну идею сдал; шеф сейчас другое гнать заставляет, некогда, и вообще, говорит, не время; а отдать кому-нибудь он не хочет, жалко. А она довольно-таки скоропортящаяся, мать уже жалуется на запах, хотя я ее на балконе держу.

Подозреваю, что его мать прислушивалась к нашему разговору, потому что при этих словах она вошла с чайником и принялась мне жаловаться на бессовестных друзей своего сына.

– Ведь что ж такое, – сетует, убирая грязные тарелки и ставя чашки, – вся квартира завалена, ступить прямо некуда. Ну, не надо чего – распорядись как-то... Не склад...

Мы стали молча пить чай. После водки горячий чай обжигал горло.

– Знаешь, – сказал Кнопка, – я недавно был в гостях у Никиты Осоцкого. У него сын родился. Думали, как назвать.

Это явилось для меня новостью – что Кнопка ходит к Осоцкому в гости да еще думает, как назвать его сына. Осоцкий, вопреки ожиданиям, карьеры не сделал, жил тихо и встреч уклонялся.

– Я у него себя как дома чувствую, – продолжал тихо Кнопка. – Знаешь, есть в нем что-то особенное, славное такое.

Мне сделалось окончательно неловко и скверно. Невысказанное им было справедливо. Ясно, как к нему все относились. Пренебрежение – оно всегда чувствуется. И вдобавок – была ведь какая-то даже неприязнь: то ли от того, что он какой-то не такой, как мы, то ли от того, что, по совести, он многих в жизни крепко выручал, а отблагодарить вечно руки не доходили, знали – он и так не откажет, и оставалось какое-то смутное раздражение, по закону психологии переключенное на объект, с этим раздражением связанный.

– Мы, знаешь, о чем с ним еще думали? – поднял глаза Кнопка. – Тем летом Володя Алтунин утонул, помнишь... А у меня полкладовки осталось: там горячность его, наивность, принципиальность там, прочее... Он же до двадцати семи нигде не уживался, – после этого в гору пошел. Замначальника КБ был уже...

– Хотел бы я знать, – задумчиво проговорил он, – что мне придется с этим всем когда-нибудь делать?..

– Дьявол, – сказал я, – неужели нельзя как-то приспособить все для пользования? все же передавать, а?

– Откровенно говоря, я думал... не выходит. Да и здесь – ненужное.

– Кому и нужное.

Мы просидели с ним до двух ночи, строя планы один фантастичнее другого.

Долги

1

Чем крепче нервы, тем ближе цель. С этим изречением я познакомился в девятнадцать лет: прочитал татуировку на плече. Плечо смотрелось: мускулистое под жестким загаром, оно как бы подкрепляло смысл надписи. И соответствующее лицо мужчины. Что слова эти из песенки американских матросов времен второй мировой войны, я узнал гораздо позднее.

У меня нервы скверные. Как у многих. Я долго запрягаю и медленно едущу, виляя по сторонам. Близость цели возбуждает меня сверх меры, перехлестывающий энтузиазм мешается со страхом упустить, и как следствие – паническая суета, затрудняющая дело. Мысленно я всего уже десять раз достиг и столько же раз потерял. И добившись наконец давно желаемого, я испытываю обычно только усталость и легкое разочарование, что ну вот и все.

Так было и сейчас – но и не совсем так. У меня вышла вторая книга. Не шедевр, греза начинающего, однако и не такая плохая книга, честное слово. На уровне. Телевидение поставило мой сценарий и заключило договор на другой. Тоже – не Штирлиц, но многим вполне понравилось. Я стал профессионалом.

Занятое мной положение не давало исчезнуть отраде, знакомой на моем месте любому. Удовлетворение лишь подстегивалось некоторыми отзывами вроде «талантливо начинал», «на халтуру разменивается», – подобные высказывания, как правило, исходят от людей, добившихся меньшего, чем ты, и продиктованы, вероятнее всего, завистью. А зависть, по формулировке Скрябина, есть признание себя побежденным... Я – оцениваю свои возможности реально; а профессионализм есть профессионализм: неумно тщиться гением в тридцать семь лет.

И вот в свои тридцать семь я получил возможность «остановиться, оглянуться», – право на передышку. Годы подряд я, без преувеличения, работал много и напряженно. Я писал и переписывал бесконечно, я предлагал десятки вариантов и вносил тысячи поправок. Кто сомневается, как трудно составить себе какое-то литературное имя, пусть попробует сам.

Теперь я обладал солидной суммой. Деньги гарантировали свободу во времени. Я погасил задолженность за свой однокомнатный кооператив. Раздал долги. И полтора месяца предавался сладостному ничегонеделанию.

Я просыпался в полдень, наливал из термоса кофе и читал в постели детективы. Бродил днем по музеям и просто по зимнему городу, едва ли не впервые воспринимая его красоту и красоту вообще всего кругом. Высшее, самое тонкое и полное наслаждение всем сущим доступно, наверное, одним бездельникам.

Характер мой выровнялся, исчезла раздражительность: я посвежел. Я наслаждался жизнью; с повторяемостью наслаждение требует дополнительной остроты: я мог позволить себе роскошь никчемных дел.

2

Большинство неактуальных вещей, которые мы откладываем, мы откладываем навсегда. Это можно считать слабостью характера; или давлением обстоятельств. Можно считать иначе: что не сделано, то не очень-то и нужно. И все же невыполненные намерения, неудовлетворенные желания, по мере времени теряя свою конкретность, превращаются в некий неопределенный груз, тяготеющий на душе. Ощущаешь какую-то незавершенность, неполноценность собственной личности и судьбы. А когда возраст переходит период надежд и откладывать уже некуда, эпизодическое отчаяние по поводу проходящих дней сменяется спокойным сознанием несостоятельности.

Ну, сознанием своей несостоятельности я, положим, не страдал. Главное-то я выполнил. А махнуть рукой на многое вынужден в жизненном движении каждый. Но тихо-тихо подтачивающий червячок, скрытый повседневностью, в моем комфортном состоянии сделался различимым.

У меня хорошая память на добро. Правда, не хвастаюсь. Вот ответить на него – это, по совести, несколько другое... Нужны деньги, или время, или то и другое, – а усилия направляешь на главное; все грешны...

Всегда перед появлением денег я решал рассчитаться по застаревшим долгам. Появившись, деньги с абсолютной неотвратимостью тратились на что угодно, долги же продолжали существовать; обычное дело.

В утешение я вспоминал байку, когда один меценат вещал о гордости человека слова, отдающего в срок, и как Маяковский отрубил, что присутствующим литераторам есть чем гордиться кроме отдачи долгов. Я не Маяковский, утешение действовало весьма частично.

Мне даже представляется, я знаю, с чего у меня возникла эта внутренняя потребность не быть должным.

3

Во втором классе я проспорил Ленке Чашкину рубль. Споря, я поступал здраво и практично, прямо неловко становилось – запросто, задаром получить Ленкин рубль. Затрудняюсь изложить сомнительной приличности предмет спора. Ленка поплеывая попрал мораль, проявив известную мальчишескую доблесть. За поправление морали платить оказался обязан я. Рубль представлялся мне платой чрезмерной. У меня не было рубля.

Как все герои, Ленка был великодушен и забывчив. Через несколько дней вопрос о рубле, к моему облегчению, заглох. Радостью я поделился с отцом.

К моему разочарованию, поддержки в нем я не обнаружил. Отец преподнес мне те истины, что, во-первых, спорить вообще нехорошо, во-вторых, спорить на деньги особенно нехорошо, в-третьих, спорить на то, что не тобой заработано – вовсе плохо, но не отдавать проспоренное – не годится уже совершенно никуда. И выдал рубль.

Я вручил Ленке рубль. Он принял его, быстро скрыв уважительное удивление, с превосходством насмешки над неудачником и вдобавок дураком. Я ожидал иной реакции. Я слегка обиделся.

Но жить стало легче: исчезла опасность напоминаний, осталось сознание правильности поступка.

4

Первый перекося мое представление о необходимости отдавать долги получило на собрании абитуриентов, где Надья Литвинова одолжила у меня рубль до завтра, и это светлое завтра еще не наступило. У нее ни в коем случае руки не были устроены к себе, раздавая пять лет как староста группы стипендии она вечно себя обсчитывала, кому-то давая больше – и ей не всегда возвращали: легкая натура, не придавала она значения рублю. Рублю я тоже не придавал, а факт – ну засел, что ты поделаешь. Первый раз памятный.

Позднее я помню всего четыре случая, когда мне не возвращали. Черт его знает, не верится, чтобы всего четыре. Я задолжал куда больше, ого. Хороший я такой, что не помню, или скотина, что мне отдавали, а я нет – затрудняюсь определенно сказать.

Как я впервые не отдал – тоже помню отлично. В сентябре, в начале второго курса, собирались мы на какую-то пьянку. (Написал «пьянка» и споткнулся – предложат ведь заменить «вечеринкой», «днем рождения». И пусть слово цензурное, общелитературное, всеми употребляемое... А, – я сам раньше заменяю...) Да, и мне срочно требовались два рубля, причем не на вино, а на цветы. Кому цветы, зачем – позабылось, но точно на цветы. И занял я у Машки Юнгмейстер, и у Машки дочка кончает школу, и Машка наверняка ни сном ни духом про эти два рубля не ведает – а у меня память. Сколько раз я хотел отдать. Или цветов ей принести. Или конфет. Фиг. Не до того.

5

Мы все собираемся когда-нибудь раздать все долги.

И наступает время. Или так и не наступает.

Господи, деньги у меня есть – больше нужного, машина, дача и лайковое пальто мне ни к чему, родные обеспечены, алименты платить не на кого, ресторанов я не переносу, пить избегаю, нынешние мои знакомые сами в достатке, а я столько в жизни добра от людей видел, клянусь, иногда злобишься: «Стану сволочью – насколько легче заживется», – да оттаиваешь при касании участия человеческого...

Привлекает и благородная праведность – разбогатев, воздать за добро сторицей. Ну, сторицей – не шибко-то и получится, – но воздать. Желательно с лихвой.

«Понял?» – сказал я червячку, шевелящемуся в безмятежном довольстве моей души. И червячок явственно пообещал превратиться в благоухающую розу, лучшее украшение этой самой моей души.

6

По порядку – первый долг следовал Машке. Я запасся бутылкой сухого, тортом, купил букет белых цветов, названия которых и поныне не знаю – они одни зимой и продаются у нас, кажется хризантемы, – и отправился. Адрес еще уточнил в госправке.

Перед дверью постоял. Покурил.

Машка сама открыла. Толстая, нездоровая на вид. Секунду смотрела, узнавая.

– Ой, Тишка! – и повисла у меня на шее. – Тыщу лет!

Я видел ее как бы раздвоенно, не в фокусе, – глазами и памятью, и было чуть больно и печально, пока изображения не совместились и она не стала прежней Машкой, какую я всегда знал.

– С цветами! С бутылкой! Ну же ты лапуня!..

– Машка, – сказал я, – за мной должок.

Она отодвинулась взглядом.

Я вынул два рубля и подал:

– Восемнадцать с половиной лет. Вот – взбрело в голову...

– Ты что, спятил? – осведомилась Машка с собранным лицом. Она, похоже, заподозрила, что я решил расплесться и демонстрирую жест.

– Спокойно, – успокоил я. – Просто я, понимаешь, немножко разбогател, и вдобавок мне нечего делать; и вдруг как-то припомнилось...

Она с исчезающей опаской послушалась, взяла:

– И черт с тобой, – удивилась она. – Раньше я за тобой ненормальностей не замечала. Да раздевайся, чего встал. Или только за этим приехал?

– Обижаешь, мать, – облегченно поспешил я. – Накормишь?

– Другой разговор. Цветы. Ну обалдеть! Спасибо, – чмокнула меня и впервые удалилась из захлавленной прихожей: – Вова! Кто к нам пришел!

Вовку Колесника, ее мужа, я знал со студенческих времен. Изменился он мало; приветствуя, мы друг друга похлопали.

Продолжалось обыденно: ну, пришел в гости... быстрое хлопотание, стол, рюмки, цветы в вазе. Представили свою шестнадцатилетнюю дочку, довольно милую, попутно упрекнув ее в слабовыраженности интересов. Сели вчетвером. Машка сияла.

– Где работаешь-то?

– Пишу, – сказал я; не то чтобы я надеялся, что они меня читали...

– Да? Где тебя печатали?

– Ерунда, – небрежно махнул я рукой. – Так, печатаюсь. Телефильм тут недавно, «Зимний отпуск», не смотрели?

– Нет. А что, ты ставил?

– Не совсем, – сценарий мой.

– Так молодец!.. – стали радоваться они. – Его по второй программе еще будут показывать? знали бы... чего ты не предупредил-то.

Вовка преподавал в институте, Машка по-прежнему торчала в библиотеке; разговор пошел о делах... Когда-то Машка здорово играла на гитаре. И пела. И могла в стройотряде матом поднять на работу бригаду ребят.

– ...Гитара-то в доме есть, Машка? – спросил я.

– С ума сошел, – отреклась она, – десять лет в руках не держу.

– Возьми-и, – в голос заканючили Вовка и дочь Света.

После сухого Вовка твердо выдержал супругин взгляд и достал водку. Постепенно все стало хорошо, по-свойски, без нарочитости и напряжения, Машка без повторных просьб сама

принесла гитару и пела те, старые песни, и было приятно еще от того, как смотрела на меня – писателя – юная дочка. Отпустили меня только в половине первого, – поспеть на метро. Мне неловко было говорить, что поеду я все равно на такси. Да и – им-то завтра на работу.

Засыпал я с удовлетворением. Первый пункт намеченной программы был выполнен толково.

7

Со вторым долгом обстояло сложнее.

На третьем курсе я одолжил у дяди Валентина червонец.

Зимним вечером мы с ребятами в общежитии тосковали: изыскание ресурсов окончилось безнадежно. Я плюнул, оделся и пошел к дяде, благо жил он через два дома. Надо заметить, время перевалило за десять, а стопы в его дом я направлял второй раз в жизни.

Долго звонил, вознамерившись не отступать (они рано ложились). Дверь открылась неожиданно – дядя в ночной старомодной рубашке до пят холодно смотрел.

Я шагнул, набрал воздуха и принялся сбивчиво врать про замечательный свитер, продающийся срочно и безумно дешево, так необходимый мне в эту холодную зиму, – и не хватает всего восьми рублей. Не дослушав, дядя вышел, вернулся с десяткой, улыбнулся, потрепал меня по плечу, пресек приличествующие расспросы о жизни и здоровье и дружелюбно подтолкнул к выходу.

Червонец был пропит через полчаса.

Глубокую симпатию к дядиному стилю общения я храню.

Дядя умер через несколько лет.

Я купил шоколадный набор за шестнадцать рублей (дороже не нашел) и поехал к тете, его вдове, которую не видел десять лет.

Тетя стала суровой и даже величественной старухой.

– Никак Тихон, – сощурилась она. – Заходи. Никак в гости сподобился. Порадовал. А я думала, уж только на моих похоронах встретимся. В тебе крепки родственные связи.

Я был препровожден в комнату, картиночно чистую, словно вещи век хранили раз навсегда определенное положение. Последовали наливка и типично родственный разговор, который легко представит каждый... Я не мог решиться. Конфеты лежали в портфеле.

Но незаметно переключились на дядю: его доброта, таланты... и я в самых благодарственных тонах прочувственно изложил ту давнюю историю. Тетка выслушала спокойно, тихо усмехнулась. И коробку конфет приняла как безусловно должное и приличествующее.

– Тетя Рая, – приступил я тогда. – Все собираемся, собираемся... Поймите правильно. Свербит у меня... Ерунда, – но... Поймите, мне просто очень хочется, возьмите у меня, пожалуйста, этот червонец.

– Что ж, – она кивнула согласно. – Давай.

Мы распрощались друзьями. Я чувствовал, что следующее свидание теперь произойдет раньше ее похорон. Хотя уже в подъезде понял, что вряд ли...

Чуть-чуть – чуть-чуть продолжало свербить...

С десятирублевым букетом я поехал на кладбище.

Там березы гасли в пепельном небе, тени затягивали слабо расчищенные в снегу дорожки. Я долго искал дядину могилу. Найдя, снял шапку, опустил цветы на сумеречный снег.

– Такие дела, дядя, – сказал я. Закурил и надел шапку – холодно было. Постоял, подумал... – Может, не такое уж я животное, хоть и не общаюсь с родственниками. Дела, знаешь. Да и о чем разговаривать-то при встречах. А по обязанности – кому это нужно, верно?.. Но я помню все. Хороший ты был мужик. Ей-богу, хороший. Пускай тебе воздастся на том свете и за червонец тот, если таковой свет имеется. А я – вот он я...

То ли вечерний воздух кладбищенский, стоячий и чистый, так действовал, пахнувший зимним простором, то ли само пребывание в месте подобном, то ли просто собой я доволен был, – но уходил я с умиротворением.

На ночь я перечитал «Мост короля Людовика Святого». Когда-то я тоже хотел написать такую книгу.

8

«8 р. – Тамаре Ковязиной. (Нечем было срочно заплатить за телефон.)

«12.50 – Васке Синюкову. (Моя доля за диван, подаренный на свадьбу Витьке Гулину.)

«4 р. – Виталику Мознаиму. (За что?..)

«7 р. – Егору Карманову. (Не хватило на билет из Сыктывкара. И обещал прислать блесны и леску.)

«3 р. – Володе Зиме. (Пивбар.)

«11 р. – Б. Кожевникову. (Покер.)

«10 р. – Томке Смирновой. (Новый год.)

«40 р. – Витьке Андрееву. (Снятая комната, два месяца.)

«8 р. – Дмитриевым. (Шарф.)

«11 р. – Бате (Горшкову). (Пари.)

«5.30 – Боре Тихонову. (Пари.)

«5 р. – Игорю Гомозову. (Оставался без копейки.)

«Володе Подвигину – списаться – Барнаул – обещал прислать парик.

«Кабак – Королеву; Флеровой; бутылка – Цыпину; Блэк».

9

Человек с возрастом определяется, твердеет, исчезает внутренняя коммуникабельность, новых друзей нет, старые удерживаются памятью юности – а при встрече вдруг вместо симпатии и умницы натыкаешься на полную заурядность: «где были мои глаза?..»

Старая истина открылась мне не сейчас; я не сентиментален. Я платил по счетам. Червячок постепенно рассасывался, как бы превращаясь в невесомую взвесь, сообщавшую дополнительную прочность веществу души. Но проявилось маленькое черное пятнышко, как ядро в протоплазме, оно выделялось все отчетливее.

Долг долгу рознь, рублем не покроешь. Кто не тешил себя обещаниями когда-нибудь кое-кому припомнить мерой за меру.

Пятнышко разрослось в слипшийся ком. Я отодрал одно от другого, рассортировал, – и с некоторой даже неожиданностью убедился в исполнимости.

10

Он унизил меня сильно. Служебная субординация... я проглотил: на карте стояло слишком много.

Я нашел его. Он был уже на пенсии. День был теплый и талый, с капелью, во дворе за столиком укутанные пенсионеры стучали домино.

– Круглов? – спросил я.

Они подняли лица в старческом румянце.

– Вы мне? – спросил он.

Я назвался. Он не помнил. Я очень подробно напомнил ему тот год, то лето, месяц, пере-
сказал ситуацию.

Он заулыбался.

– Как же, как же... Да, отчебучили вы (он чуть замедлился перед этим «вы», по памяти обратившись было на ты), – отчебучили вы тогда штуку. Выговорил я вам тогда, да, рассердился даже, помню!..

Я сказал ему в лицо все. Румянец его схлынул, обнажив склеротическую сетку на жеваной желтизне щек...

Пенсионеры испуганно притихли. Но я был готов к жалости, и она мне не мешала.

– Я много лет жил с этим, – сказал я. – Теперь мой черед... Квиты! Помни меня.

Я отдавал себе отчет в собственной жестокости. Но к нему вернулся его же камень.

11

Первый такого рода долг за мной ржавел со второго класса.

Мы просто столкнулись в дверях, не уступая дороги.

– Пошли выйдем? – напористо предложил я.

– Выйдем?... Пожалуйста! – он принял готовно.

Дорожка у заднего крыльца школы, огражденная низеньким штaketником, обледенела. Болеельщики случились все из моего класса (он был из параллельного, причем меньше меня). Ободряемый, я ждал с превосходством.

Скомандовали:

– Раз! Два!.. Три! – и он ударил первый, и очень удачно попал мне по носу, а я стоял задом прямо к низкому, под колени, штaketнику и поскользнувшись перевалился через него вверх ногами.

Засмеялись мои сторонники.

Ободренный противник, не успев я вылезти, бросился и изловчился отправить меня обратно.

Зрители помирали. Я растерялся.

И в этой растерянности он очень расторопно набил мне морду. Не больно, – не те веса у нас были, но довольно противно и обидно. Я был деморализован.

– Эх ты, – презрительно бросил назавтра знакомый из его класса, – Василию не смог дать...

Я так и не дал Василию. Черт его знает: меня били, я бил, и репутацией он не пользовался, бояться нечего было, – а остался его верх.

Это обошлось мне в пятьсот рублей и неделю времени. Я полетел в Крымскую, где тогда учился, поднял школьный архив, взял его данные и разыскал в Оловянной, в трех часах езды.

– Ну, здравствуй, Василь, – сказал я сурово, встав в дверях.

Он испугался, – хилый недомерок, полысевший, рябой такой.

– Одевайся, – велел я. – Разговор есть. Минут на пару.

Затравленно озирающегося, я свел его с крыльца в снег, к заборчику, треснул и подняв под бедра (легонького, не больше шестидесяти) свалил на ту сторону.

Он поднялся не отряхиваясь. И было не смешно. Но и жалко мне не было. Происходящее воспринималось как бы понарошке. Я знал, что все объясню, и мы вместе посмеемся.

– Не трус, – ободрил я. – Лезь обратно.

И повторил номер.

Войдя в нечаянный азарт, я довесил ему, пассивно сопротивляющемуся, напоследок, и принялся очищать от снега. Он подавленно поворачивался, слушаясь.

– А теперь выпивать будем, – объявил я. – Зови в гости.

Он отдыхал один дома (работал машинистом тепловоза) – жена на работе, дети в школе.

– А помнишь, Василь, – со вкусом начал я, когда мы разделись и сели в кухне, за застеленный клеенкой стол напротив плиты, где грелась большая кастрюля, – помнишь, как во втором классе одному дал?

Под нагромождением подробностей, с ошеломленным и ясным лицом, он вскочил и уставился:

– Дак што?.. Ты-ы?!

Я выставил водку. Мы выпили за встречу. Я, уже привычно, объяснился – зачем пожаловал. Он смотрел с огромным уважением и не верил:

– Для этого за столько приехал?

Разговор пошел – о чем еще?.. – о судьбах школьных знакомых...

– А ты где работаешь?

– Пишу.

– В газете?

– Да не совсем. Книги.

– Писатель? – осмысливающе переспросил Василь.

– Так.

– Писатель, – он даже на стуле подобрался. – А... что написал? Я читал?

– Э... Вряд ли. – Я назвал свои книги.

Он подтвердил с сожалением.

– Обязательно в библиотеке спрошу, – пообещал он, и было ясно, что да, действительно спросит, и даже возможно найдет и прочтет, и будет рассказывать всем знакомым, что этот писатель – Рыжий, Тишка из второго Б, которому он когда-то набил морду, а теперь Тишка приехал и ему набил, вот дела, и поставил выпить.

Суется на месте, Василь уговаривал дождаться семью, обедать, погостить; приятно и ненужно...

Я оставил ему адрес. Он кручинился: семья, работа... я понимал прекрасно, что он ко мне не заглянет, да и говорить нам будет не о чем, а принимать на постой его семейство мне не с руки, – но, отмякший сейчас и легкий, приглашал я его в общем искренне.

12

Подобных должков еще пара числилась. И первый из кредиторов, надо сказать, обработал меня самым лучшим образом. Крепкий оказался мужик. Потом мне за примочками в аптеку бегал и сокрушался. Последующее время мы провели не без удовольствия, он ахал, восхищался моей памятью, очень одобрял точку зрения на долги и все предлагал мне дать ему по морде, а он не будет защищаться; профессия моя ему почтения не внушала, это слегка задевало, но и увеличивало симпатию к нему.

Я честно сделал все возможное и ощущал долг отданным; он уверял меня в том же, посмеиваясь.

Мы расстались дружески, по-мужски, – без пустых обещаний встреч.

С другим обстояло сложнее. Круче.

Он увел у меня девушку. Такой больше не было. Он увел ее и бросил, но ко мне она не вернулась. Рослый и уверенный, баловень удачи, – чихать он на меня хотел.

Ночами я клялся заставить его ползать на коленях: типическое юное бессилие.

Расчет распадался, – разве только он теперь обдряб и опустился. Но вопрос стоял неоглабаемо: сейчас или никогда.

Он пребывал в Куйбышеве. Он был главным инженером химкомбината. Он процветал. Я оценил его издали, и костяшки моих шансов с треском слетели со счетов.

Восемь гостиничных ночей я лежал в бессоннице, а днями обрывал автоматы, уясняя его распорядок. Из гостиницы я не звонил, опасаясь встречной справки. Утром и вечером я припоминал перед зеркалом все, что пятнадцать лет назад на тренировках вбивал в нас до костного хруста знакомый майор, инструктор рукопашного боя морской пехоты.

Я пошел на девятый день. Я знал, что он один. Я переждал на лестничной площадке, ставя на внезапность, скрепляя на фундаменте своей боязни недолговечную постройку наглости. Я не звонил – я постучал в дверь, угрожающе и властно.

Он отворил не спрашивая – в фирменных джинсах, заматеревший, громоздкий.

– Ну вот и все, Гена, – сказала ему судьба моим голосом, и я шагнул, бледнея, в нереальность расплаты.

И знаете – он тут струхнул. Он отступил с застрявшим вздохом, от неожиданности каждая часть его лица и тела обезволилась по отдельности, это был мой момент, и я обрел действительность в сознании, что не упущу этот момент и выиграю.

Я ударил его по уху и в челюсть, без всякой правильности, рефлекс мальчишеских драк – ошеломить, и знал уже, что он не ответит, и он не ответил, он закрылся, согнувшись, и инструкторский голос рявкнул из меня, окрыленного: «На колени!!», и я дал ему леща по затылку,

...и он опустил как миленький. И сказал: «Не надо...»

И во мне прокрутилась гамма: счастье, облегчение, разочарование, усталость, покой, потерянность. Я пихнул его носком ботинка в мощный зад, и все вдруг мне стало безразлично.

– Иди ум-мойся, – сказал я и стал закуривать, забыв, в каком кармане сигареты.

Он нерешительно поднялся и долгую секунду смотрел (он узнал меня) с робостью, переходящей в убедительнейшую любовь. Любовью всего существа он жаждал безопасности.

– Иди, – повторил я, кивнул, вздохнул и снял пальто. – Быстро.

Не стоило давать ему опомниться, но у меня у самого нервы обвисли.

Расположились среди современного интерьера: лак, чеканка, низкие горизонталы мебели. Любезнейший хозяин метнул коньяк. Я припер жестом: заставил принять шестнадцать рублей – стоимость.

– За то, чтоб ты сдох.

Он улыбнулся с легкой укоризной, и мы чокнулись.

– Знаешь за что?

– Да.

За это «да» он мне понравился.

Я имел приготовленный разговор. «Почему ты на ней тогда не женился?» – «Ну... можно понять...» – «Я могу заставить тебя сделать это сейчас. Или – крышка, и концов не найдут». (Ужаснейшая ахинея. Я давно потерял ее из вида.) – «Пусть так, допустим даже... Но – зачем?..» – «Да или нет? Быстро! Все!» – Летучее лицемерие памяти: «Я думал иногда... Может, так было бы и лучше...» Вообще – дешевый фарс. Но взгляните его глазами: после прошедшей увертюры первые минуты ожидаешь чего угодно.

Мы проиграли нечто подобное взглядами. Превратившись в слова, оно обратилось бы фальшью.

– Я мог бы уничтожить тебя, – вбил я. – Веришь?

– Да. – Правдивое «да» звучало лестно.

Ах, реализовалась фантазия, спал долг, да печаль покачивала... Я помнил, какой он был когда-то, и она, и я сам, и как я мучался, и как страдала она – из-за него, и ее страдание я переживал иногда острее собственного, честное слово.

Я не испытывал к нему сейчас ненависти. Нет. Скорее симпатию.

– Прощай.

Он тоже поднялся, неуверенно наметив протягивание правой руки. Я пожал эту руку, готовно протянувшуюся навстречу.

Когда-то при мысли, чего эта рука касалась, я погибал.
А почему бы, в конце концов, мне было теперь и не пожать ее?

13

Зима сматывалась с каждым солнечным оборотом, все более размашистым и ярким; таяло, сияло, позванивало; почки памяти набухли и стрельнули свежими побегими воспоминаний о женщинах и любви.

И я полетел в Вильнюс, где жила сейчас моя первая женщина, жена своего мужа и мать двух их детей, которая в семнадцать лет любила меня так, что легенды тускнели, и которой я в ответ, конечно, крепко попортил жизнь.

Я позвонил ей; она удивилась умеренно; я пригласил, и она пришла ко мне в номер – казенное гостиничное убранство в суетном свете дня.

Статуэтки с кукольными глазами, «конского хвостика», ямочек от улыбки – не было больше; она сильно сдала; во мне даже не толкнулась тоска, – она вошла чужая.

– Здравствуй, Тихон, – сказала она (а голоса не меняются) с ясной усмешкой, как всегда, уверенно и спокойно. А на самом-то деле редко она когда бывала уверенной и спокойной.

И инициатива неуловимым образом опять очутилась у нее, несмотря на предполагаемое мое превосходство. Из неожиданного стеснения я даже не поцеловал ее, как собирался.

Шампанское хлопнуло, стаканы стукнули с тупым деревянным звуком.

– Говори, Тихон.

– Я давно... давно-давно хотел тебе сказать... Я очень любил тебя, знаешь?..

– Не правда, Тихон. – Она всегда называла меня полным именем. – Ты не любил меня. Просто – я любила тебя, а ты был еще мальчик.

– Нет. Знаешь, когда меня спрашивали: «Ты ее любишь?» – я пожимал плечами: «Не знаю...» Я добросовестно копался в себе... Что имеешь не ценишь, а сравнить мне было не с чем... обычное дело. Я же до тебя ни одной девчонки даже за руку не держал.

– Ты мне говорил это...

Я собрался с духом. Я вел роль. Ситуация воспринималась как книжная. Ни хрена я не чувствовал, как она вошла – так у меня все чувства пропали. Но я понимал, что делаю то, что нужно.

– Двадцать лет. Я только два раза любил. Первый – тебя. К черту логику некрологов. Хочу, чтоб знала. Я ни с кем никогда больше не был так счастлив.

– Просто – нам было по семнадцать.

– По семь или по сто! Мне невероятно повезло, что у меня все было так с тобой. Ты самая лучшая, знай. И прости мне все, если можешь.

– Детство... Нечего прощать, о чем ты... Ты с этим приехал? Зачем? Ты вдруг пожалел о том, чего у нас не было? Или ты несчастлив и захотел причинить мне тоже боль?

– Зачем ты... Я только по-хорошему...

– Что ж. Спасибо. – Она закурила. – Сто лет не курила. Да. Моя Катька уже влюбляется. – Она ушла в себя, тихонько засмеялась...

– Я хотел, чтоб ты знала.

– Я всегда это знала. Это ты не знал.

– А ты – ты ничего мне не скажешь?

– Спрошу. Ты счастлив?

– Да. Я жил как хотел, и получил чего добивался.

– Не верится. Ну... я рада, если так; правда.

Я попытался поцеловать ее. Она отвела:

– Не стоит. – И вся ее гордость была при ней. – Ты всегда любил красивые жесты.

– Пускай. Но так надо было, – ответил я убежденно, мгновение жалея ее до слез и изрядно любуясь собой.

14

Душа моя очищалась от наростов, как днище корабля при кренговании. Зеленые водоросли, прижившиеся полипы не тормозили уже свободного хода, я чувствовал себя новым, ржавчина была отодрана, ссадины закрашены, – целен, прочен, хорош.

Или – я был хозяйкой, наводящей порядок в заброшенном и захламленном доме. Или – лесником, производящим санитарную порубку и чистку запущенного леса: солнце сияет в чистых просеках, сучья собраны в кучи и сожжены, и долгожданный порядок услаждает зрение.

Мне нравилось играть в сравнения. (А вообще пригодятся – употреблю в какой-нибудь повести.)

15

К концу стало приедаться. Но наступил март, а мартовское настроение наступило еще раньше. Весьма необременительно зачеркивать пустующие по собственной вине клеточки в своей судьбе, когда нужное является приятным.

Я позвонил Зине Крупениной. Знакомство семнадцатилетней давности, подобие взаимной симпатии: я ей нравился не настолько, чтоб кидаться в мои объятия сразу, она мне – недостаточно для предпринятия предварительных действий. Лет пару назад, при уличной встрече, она улыбалась и дала телефон.

Все произошло до одури трафаретно, скука берет описывать: ну, вечер, двое, интимный антураж, предписанная каноном последовательность сближения... Лицемерием было бы назвать ночь восхитительной, – но не был, это, конечно, и чисто рассудочный акт.

Проснулись до рассвета, с мутной головой – перепили. Я долго глотал воду на кухне, принес ей, сварил кофе, влез обратно в постель, мы закурили. Окно светлело.

Я ткнул из кучи кассету в магнитофон. Оказался Кукин. Песенки, которые мы все пели в начале шестидесятых, несостоявшаяся грусть горожан.

Я люблю случающийся рассветный час после такой ночи: опустошенная чистота, и горечь и надежда утверждения истины.

– Час истины, – произнес я вслух.

Кажется, она поняла.

– Кукин... – сказала она. – Ах... Где он сейчас?..

– Работает в «Ленконцерте», – сказал я.

16

По тому же сценарию прошли еще три свидания. Связи, по инертности моей застрявшие на платоническом уровне, были приведены к уровню надлежащему.

У четвертой выявился полный порядок с семьей и отсутствие желания, но я уже впрягся как карабахский ишак и, преодолевая встречный ветер, три недели волок свой груз через филармонию, ресторан с варьете, выставку и вечер у знакомых актеров, пока не свалил в своем стойле с обещаниями, услышав которые, волшебный дух Аладина сам запечатался бы в бутылку и утопился в море. И я поставил галочку против этого пункта тоже.

На субботу я снял банкетный зал в «Метрополе». Я разослал пятьдесят четыре приглашения. Я ходил ужинать к этим людям в дни, когда сидел без гроша. Они проталкивали мои

опусы, когда я был никем, а они тоже не были тузами. Я был обязан им так или иначе. И я не был уверен, что случай отблагодарить представится. Кроме того, я давно так хотел.

На этом сборище я поначалу чувствовал себя нуворишем. Не все клеилось, многие не были знакомы между собой. Но по мере опустошения столов – вполне познакомились. Ну, кто-то льстил в глаза, ну, кто-то говорил гадости за глаза, – ай, привыкать ли к банкетам. Я их всех в общем любил. И все в общем прошло хорошо.

17

Наутро я проснулся – будто первого января в детстве. Четверть окончена, табель выдан, каникулы впереди, подарки на стуле у изголовья, и праздничное солнце – в замерзшем окне. Играет музыка, а веселые мама с папой разрешают поваляться в кровати. Жизнь чудесна!

Я побродил в халате по квартире, «Бони М» пели, сигарета была мягкой и крепкой, коньяк ароматным и крепким, апрельский свежий день светился, прошедшие дни в наполненной памяти лежали один к одному, как отборные боровички в корзине.

План мой, перечень на четырех листах, я перечитал в тысячный и последний раз, и против каждого пункта стояла галочка.

Я со вкусом принял душ, со вкусом позавтракал, со вкусом оделся и пошел со вкусом гулять, – путешественник, вернувшийся из незабываемой экспедиции.

Дошел до своего метро «Московская», и еще одно осенило: не раз под закрытие приходилось мне просить контролера пустить в метро без пятака – то рубль не разменять, то просто не было и врал про забытый кошелек, – и всегда пускали.

Я сосчитал по пальцам число станций нашего метро и купил в булочной тридцать одну шоколадку.

– Девушка, – сказал я девушке лет сорока, хмуриющейся в своем загончике у эскалатора, – я задолжал вашей сменщице пятачок, – и протянул шоколадку.

Она улыбнулась, взяла и сказала:

– Спасибо!..

Я тоже ей улыбнулся и поехал вниз.

Ту же процедуру я произвел на остальных станциях, и к исходу четвертого часа, слегка одуревший от эскалаторов и поездов, подъезжая к последней остающейся станции – к «Академической», – обнаружил, что шоколадки кончились. Я каким-то образом ошибся в счете. Станций было не тридцать одна, а тридцать две.

Я устал. Выходить и снова покупать не хотелось. Пятак отдать? Ну, несолидно. И бездельшек никаких – я похлопал по карманам. Единственное – шариковая ручка: простенькая, но фирменная, «Хавера». Привык, жаль немного. А, что жалеть, для себя же делаю.

И я подарил ручку с подобающими объяснениями светленькой симпатяжке с «Академической».

– И вам не жалко? – покрутила она носиком. – Спасибо. Хм, смешной человек!..

Я поехал домой.

18

Выйдя наверх, в отменно весеннюю погоду (уж и забыл о ней), я позвонил Тольке Хилину. Трубку никто не снял, – на дачу небось выбрался, работает. Позвонил Наташе – тоже никого. Усенко – не отвечает. Чекмыреву – никого нет.

Ну как назло. Хотелось поболтаться с кем-нибудь по городу, посидеть где-нибудь. День еще такой славный, настроение соответствующее.

Ладно у меня всегда запас двухкопеечных монет, на сдачу привык просить. Звоню Инке Соколовой.

– Вы ошиблись. Здесь таких нет, – отвечает мужской голос.

Странно. Я полез за записной книжкой. Книжки не было. Забыл дома, видно, хотя со мной это редко случается.

Я истратил все семь оставшихся монет. Телефонов пятнадцать не ответили. Семь раз сказали:

– Вы ошиблись. Таких здесь нет.

Во мне разрасталось странноватое ощущение. Не настолько дырявая память у меня. С этим странноватым ощущением я пошел домой.

В винном кладу мелочь:

– Пачку «Космоса».

А продавщица – рожа замкнута, смотрит сквозь меня – ни гу-гу.

– Мадам! Вы живы?

Тут мимо меня один протиснулся:

– За два сорок две.

Она отпустила ему бутылку. А на меня – ноль внимания. И хрен с ней. Не стоит настрое-ние портить. Я вышел из того возраста, когда реагируют на хамство продавцов. В конце концов дом рядом, заначка имеется.

Дошел я до своего дома...

Дважды в жизни я такое испытывал. Первый раз – когда школу закрыли на карантин – грипп – а я после болезни не знал и приперся: по дороге ни единого ученика, окна темные и дверь заперта. Чуть не рехнулся. Второй – в студенческом общежитии пили, я спустился к знакомым на этаж ниже, а вернуться – нет лестницы наверх. Полчаса в сумасшествии искал. Нет! Ладно догадался спуститься – оказывается, я на верхний этаж, не заметив, пьяный, поднялся.

Моего дома не было.

Все остальные были, а моего не было.

Ровное место, и кустики голые торчат. Травка первая редкая.

Я походил, деревянный, с внимательностью идиота посмотрел номера соседних домов: прежние, что и были.

Старушечка ковыляет, пенсионерка из тридцатого дома, визуально знал я ее.

– Простите, – глупо говорю, – вы не подскажете ли...

Она идет и головы не повернула.

Я окончательно потерялся. Потоптался еще и пошел обратно к Московскому проспекту. Может, сначала попробовать маршрут начать?

Очередь на такси стоит. Покатаюсь, думаю, поговорю с шофером, оклемаюсь, а то что-то не того...

– Граждане, кто последний?

Ноль внимания.

Кошмарный сон. На улице без штанов. Руку до крови укусил. Фиг.

Пьяный идет кренделями, лапы в татуировке.

– Ты, алкаш, – говорю чужим голосом, – в морду хошь? – и пихнул его.

Он и не шелохнулся, будто не трогал его никто, и дальше последовал.

Чувствую – сознание потеряю, дыхание будто исчезает.

Иду куда глаза глядят по Московскому проспекту.

Мимо универмага иду. Зеркальные витрины во всю стену, улица отражается, прохожие, небо.

Иду... и боюсь повернуть голову.

Не выдержал. Повернул.

Остановился. Гляжу.
Все отражалось в витрине.
Только меня не было.
Я изо всей силы, покачнувшись слабо, ударил в зеркальное стекло каблуком. И еще.
И оно не разбилось.

В ролях

В ресторане пусто – четыре часа дня.
Посетитель у окна заказывает официантке. Оба – лет двадцати. Он провожает ее взглядом: хорошая фигура.
Официантка приносит водку, яичницу и сигареты.
– Меня зовут Саша. А вас?
– Зачем?
Официантка приносит шашлык.
– Выпейте со мной, – говорит Саша.
– Нам нельзя.
– Одну рюмку. Выпей, ей-богу...
– Спасибо; нам нельзя.
(Ей и без него доуки хватает. Ее мальчик ушел вчера. Она не спала. Плохо спала. Она переживает. Она покинута любимым. Флиртовать нельзя. А этот – ничего. Поэтому она раздражается. «Мне и без тебя доуки хватает», – думает она.)
Посетитель ест, пьет, курит; движения медленные. Выражение заторможенное.
– С вас пять девяносто две.
Дает восемь без сдачи. Она благодарит.
– А вот теперь, – говорит он тихим ломким голосом и начинает бледнеть, – теперь я должен идти к родителям моего друга и сказать им, что он утонул.
Пауза.
– Как...
– Вот так. Пять суток назад. В Бискайском заливе. Я сегодня из рейса.
Пауза.
– Вы долго дружили?..
Пауза.
– Росли вместе. Мореходку кончали. Это второй рейс. Смыло. У него была невеста.
– О господи... – вздыхает наконец официантка и, постояв, отходит.
Посетитель сидит бледный, докуривает.
(Вслед ей не смотрит. Он в предстоящем. Хотя родители извещены. И невеста – натяжка. Но он готов исполнить трудную мужскую обязанность. Горькое и высокое чувство. Он мужчина. У него погиб друг. Он возвышается своим чувством.)
И идет к гардеробу походкой сомнамбулы. Руку с номерком подает в направлении гардеробщика отсутствуя. Отпускает рубль.
Официантка, сидя на подоконнике, что-то тихо говорит другой, показывая на него глазами. Глаза блестят. Боковым зрением он принимает это с неким удовлетворением.
Выходит нечетко.
Улица – ничьего внимания он не привлекает. В полумгле на асфальтовой площади проступают серебром фонарные столбы. Сейчас состояние его близко опьянению.
Но ветер холодный, и он трезвеет, пока доходит до знакомого подъезда.

Идет съемка

Начинается съемка.

Приходит директор картины и принимает валидол. Ждет рабочих, идет на поиски.

Приходят рабочие (они тоже уже приняли), ждут директора.

Приходит художник, ждет директора. Характеризует все тремя словами. Считает с рабочими мелочь, один уходит.

Приходит некто. Ему отвечают кратко, и он идет.

Приходит осветитель с девицей. Лезет в свою будку с девицей.

Приходит оператор и говорит художнику, что сегодня ни черта не выйдет. Художник возражает, что вообще ни черта не выйдет.

Приходят два неглавных актера и объясняют, почему ни черта не выйдет.

Приходит помреж. Все объясняют ему, почему ни черта не выйдет. Он парирует, что и не должно.

Приходит гример. Оценивает обстановку и лезет в будку к осветителю.

Приходит ассистент режиссера, раскладывает свой столик, достает бумажки. Садится с двумя неглавными актерами играть в преферанс.

Приходит главная героиня и плохо себя чувствует.

Гример выпадает из будки осветителя. Оценивает обстановку и подсаживается к преферансистам.

Приходит режиссер. Смотрит на героиню, в зеркало, на героиню, в зеркало, на героиню, в зеркало. Раздражается. Хочет посмотреть на директора. Хочет посмотреть на дурака, который еще с директором свяжется. Обоих не видит. Капризничает. Не видит главного героя – хочет видеть. Видит помрежа – не хочет видеть.

Приходят не то чтобы все, но непонятно, кто еще не пришел, потому что уже пришли непонятно кто.

Начинается съемка.

Приходит директор и принимает валидол. Идет на поиски главного героя.

Режиссер принимает решение приступать. Все бросают курить. Расходятся по местам. Ждут. Закуривают.

У помрежа не оказывается рабочего плана.

У оператора не оказывается высокочувствительной пленки.

У дольщика не оказывается сил катать тележку с оператором.

У ассистента не оказывается денег расплатиться за преферанс.

У героини не оказывается терпения переносить это издевательство.

Приходит главный герой, играть отказывается. Он уже приходил два часа назад, – его послали. Директор унижается. Герой оскорблен. Помреж унижается. Герой возмущен. Ассистент унижается и просит отсрочить долг за преферанс. Герой негодует. Режиссер унижается. Герой неудовлетворен, но согласен.

Режиссер просит внимания и понимания.

Художник просит заменить декорацию.

Оператор просит рапид.

Дольщик просит катать оператора помедленнее.

Помощник оператора просит поставить его оператором.

Директор просит не сжечь павильон.

Герой просит героиню целовать естественнее.

Героиня просит чего-нибудь соленого.

Осветитель просит девицу. Девица не соглашается.

Режиссер просит свет. Осветитель против. На штангах ламп не повышается напряжение.
У режиссера повышается напряжение.

Съемка продолжается.

Директору нужен валидол.

Художнику нужно воплотить декорацию.

Гримеру нужна французская морилка и колонковая кисточка.

Героине нужно полежать.

Режиссеру нужна лошадь.

Рабочим нужен перерыв, они устали.

Перерыв.

Оператор клянет пленку.

Долбыщик клянет оператора.

Художник клянет рабочих.

Рабочие клянут тарифные ставки.

Директор клянет медицину.

Ассистент клянет преферанс.

Героиня клянет женскую неосмотрительность.

Осветитель клянет женскую осмотрительность.

Режиссер клянет всех вплоть до братьев Люмьер.

Гример оценивает обстановку и идет пить пиво.

Все идут пить пиво.

После перерыва дело налаживается.

Директор принимает валокордин.

Герой попадает в образ.

Долбыщик попадает в ритм, катая тележку с камерой.

Героиня попадает под тележку с камерой.

Осветитель не попадает.

Героиню тошнит. Она говорит, что на сегодня все.

У оператора кончилась пленка. Он говорит, что на сегодня все.

Режиссер говорит всем, что на сегодня все, съемка окончена, всем спасибо.

Плановое счастье *(из протокола)*

Директор. ...успешно освоили. Валовой выпуск счастья на ноль один процента выше планового. Улучшен и ряд качественных показателей. Снизилось количество случаев возврата и рекламаций. Счастьем нашего комбината обеспечено на четыре процента населения больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.

Но наряду с достижениями имеются еще и недостатки. Все еще мало нашего счастья идет высшим и первым сортом. Медленнее, чем хотелось бы, внедряются новые образцы. По-прежнему отстает и портит общую картину шестой цех.

Начальник шестого цеха. А как можно вообще давать счастье на этом оборудовании? Нам нужна новая поточная линия! Наши станки вообще не рассчитаны на то счастье, которое сейчас выпускается! Пусть нам дадут облегченные образцы! Или прежние!..

Директор. Почему другие справляются? Четвертый цех? Мы должны выпускать то счастье, которое от нас требуется, на том оборудовании, которое мы имеем.

Начальник ОТК. Должен довести, что упомянутый четвертый цех в последний месяц, вопреки инструкциям, опять занимался штурмовщиной, результатом чего явилось сорок процентов забракованного счастья.

Представитель главка. Мы же пересмотрели вам стандарты!

Главный инженер. Да, и благодаря этому мы смогли половину брака пустить счастьем третьего сорта. Остальной же брак передали цеху ширпотреба для изготовления несчастья.

Начальник цеха ширпотреба. Благодаря бесперебойному снабжению и организации производства мы дали в этом квартале восемьдесят процентов несчастья сверх плана, при сохранении хорошего и отличного качества, и сейчас работаем в счет будущего года.

Представитель торго. Чтобы сбыть ваше несчастье, мы комплектуем подарочные наборы с кофе, коньяком, тресковой печенью и вашим несчастьем, перевязанным ленточкой! На него нет спроса!

Представитель главка. Странно... Плохо поставлена реклама! Разбаловались... Наша задача – делать счастье, ваша – сбыть его.

Активный из зала. А нельзя давать его бесплатно? В приложение? Или как премии постоянным покупателям?

Начальник коммерческой службы. Идя навстречу потребителю, мы и так снизили цены на наше несчастье – ниже некуда. Сейчас оно – одно из самых дешевых.

Начальник КТБ. Для изучения спроса населения на счастье, а также несчастье уже создается специальная лаборатория, которая поможет нам на научных основах максимально подойти к удовлетворению запросов. Также мы сейчас разрабатываем около двадцати новых современных образцов счастья, которые будут скоро запущены в серийное производство.

Главный технолог. Конструкторы опять мудрят со счастьем. А проектируя серийное счастье, его надо предельно упрощать. Мы должны снижать его себестоимость. Нам требуется счастье, технологически несложное в исполнении. С учетом трудоемкости, занятых рук и реального сырья. С сырьем трудности, перебои, от снабженцев такое порой получаем, что даже счастье третьего сорта еле выкраиваем.

Начальник снабжения. Вы хотите мне инфаркт? Я из себя вам делать счастье не могу! И из ничего тоже не могу! Вы и так имеете от меня то, чего нигде нет. Скажите, где лежит сырье для счастья высшего сорта, я поеду и завтра привезу! Не нравится то, что получаете – доставайте себе материал для счастья сами!

Представитель торго. И достают у спекулянтов! Пока ваше счастье до нас дойдет, оно морально устаревает! Пока выставочный образец станет серийным, его так упростят и из такого сделают, что потребитель от вашего счастья шарахается – за несчастье принимает. И все второй и третий сорт. И то приходит – лежалое, битое, порченное – как из-под трактора! И все стараются обзаводиться импортным!..

Активный из зала. А как его достают?..

Начальник складских помещений. У нас не хватает складов для счастья! Те, что есть – в аварийном состоянии! На готовое счастье капает, льет сквозь крыши, оно портится и гибнет, его негде хранить, оно валяется тюками в лужах! Чтобы счастье сохранялось в нормальном состоянии, надо выделять средства на хранение!

Начальник транспортной службы. И на транспортировку! Тары нет или она слабая, грузчики кантуют счастье при доставке, и оно доходит до потребителя в непотребном виде!

Начальник охраны. У меня претензии к транспортной службе. Охрана снова обнаружила в грузовиках незаприходованное по накладным счастье, которое водители пытались вывезти под сиденьями, а также в запасных скатах, бензобаках и под капотом. Также вахтеры на проходной извлекают счастье у расхитителей государственной собственности из сумок и портфелей, а некоторые несут на спине или под неудобными принадлежностями туалета. Чтоб не расхищали, надо пресечь, и увеличить охрану и вахтеров, а также ремонт проходных.

Представитель главка. А вы говорите – нет спроса.

Активный из зала. Так дефицит же!..

Хочу быть дворником

Есть люди, которые хотят познать все, и есть люди, которым тошно от того, что они уже познали. И вот вторые молчат, чтобы не было хуже, а первые встречаются всюду, надеясь сделать лучше. Чем нервируют окружающих.

Такие люди не приемлют реальность, как карась не приемлет сковородку. Шкворча от прикосновений мира, они полагают, что и для мира эти соприкосновения не должны пройти бесследно. Их активные попытки оставить след вызывают у мира, в лице начальства и жены, обострение инстинкта самосохранения, что имеет следствиями полный набор неприятностей, именуемый жизненным опытом. И когда они сочтут, что их жизненный опыт уже достаточен, они утихомириваются и складывают сказки о сивках, которых укатали крутые горки – куда их никто не гнал, когда нормальные кони скакали по нормальным дорогам, бодро взмахивая хвостами, и ели на стоянках овес.

И взоры их обращаются к детям.

Они, взрослые, учат их, детей, как бы они, взрослые, достигли того, чего должны достичь они, дети, если б они, взрослые, могли этого достичь. Это называется передавать опыт.

Для детей начинается та еще жизнь. Знаю по себе.

Детские мечты редко сбываются. Хочешь стать дворником, а становишься академиком. Хочешь вставать раньше всех, вдыхать чистую прохладу рассвета, шурша гнать метлой осенние листья, поливать асфальт из шланга, собирать всякие интересные вещи, потерянные накануне прохожими, здороваться с идущими на работу жильцами – все тебя знают, все улыбаются, и никакое тебе начальство не страшно, их много, а дворников не хватает, не понизят тебя – некуда, не уволят – самим улицы мести придется, а вместо этого таскаешься со скрипкой в музыкальную школу, с огромной папкой – в художественную, с портфелем пособий – на курсы английского языка, получаешь взбучки после родительских собраний, маршируешь строем в пионерских лагерях, занимаешься с репетиторами, трясешься перед выпускными экзаменами, наживаешь неврастению после конкурсных, сессии, курсовые, диплом, распределение, мама в обмороке, папа звонит старым друзьям, женишься, стоишь в очередях, получаешь квартиру, покупаешь мебель, защищаешь кандидатскую, а дети подрастают, и только хочешь, чтобы они были счастливы.

И без остановки, начальству нужны статьи, жене – шуба и машина, детям – штаны и велосипеды, потом – карманные деньги и свобода, потом высшее образование, потом им нужны жены и мужья, а тебе нужна неотложка.

Дети разъезжаются по городам, женятся, становятся на ноги, перестают тебе писать, хорошо еще поздравляют с праздниками, ты становишься дедушкой, выходишь на пенсию и получаешь возможность делать все, что душе твоей угодно.

И получив, наконец, возможность делать все, что душе моей угодно, я пошел в ЖЭК и легко устроился дворником. И теперь я встаю раньше всех, и вдыхаю чистую прохладу рассвета, шурша гоню метлой осенние листья, и все жильцы знают меня, и идя на работу здороваются со мной и улыбаются. И я поливаю асфальт из шланга и думаю, неужели мир устроен так, что обязательно надо сделать круг длиною в жизнь, чтобы прийти к тому, чего хотел. Наверное, это неправильно. И вся надежда, что хорошую сивку горки не укатают.

Хочу в Париж

Хочу в Париж

Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на годик, служебное и самодеятельное, необоснованное и законное, неотвязное и мимолетное, всерьез и в шутку: «Я опять хочу в Париж. – А что, вы там уже были? – Нет, я уже когда-то хотел». Всемирная столица искусств и мод, вкусов и развлечений, славы и гастрономии, парфюмерии и любви – о далекий, манящий, загадочная звезда, сказочный Париж, совсем не такой, как все остальные, обыкновенные и привычные, города. Париж д'Артаньяна и Мегрэ, Наполеона и Пикассо, Людовиков и Брижит Бардо, Бельмондо, Шанель, Диор, Пляс Пигаль, Монмартр, бистро, мансарды... ах – Париж!.. Вдохнуть его воздух, пройти по улочкам, обмереть под Нотр-Дам, позавтракать луковым супом, перемигнуться с пикантной парижанкой, насладиться слухом разноязыкой речью, кануть в вавилонские развлечения, кинуть франк бездомному художнику, растаять в магазинном изобилии, купить жареных каштанов у торговки, узнать вкус абсента и перно... ах – Париж! хрустальная мечта, магнетическое сияние, недостижимый идеал всех городов, искус голодных душ. Вернуться и до конца дней вспоминать, рассказывать, где ты был и что ты видел – или рискнуть, преступить, сыграть с судьбой в русскую рулетку, остаться, слиться с его плотью, стать его частицей, – или гордо покорить, пройти сквозь нищету, податься к сияющей славе, добиться всемирного успеха, денег, поклонения, репортеры, экипажи-скачки-рауты-вояжи, летняя вилла в Ницце, особняк на Елисейских полях... Один знаменитый весельчак-композитор поведал телезрителям, что весну он предпочитает проводить в Париже. Тонкая шутка не была понята: миллионы безвестных и рядовых тружеников дрогнули в возмущенной зависти к наглому счастливцу, ежегодно празднующему весну в Париже, где цветут каштаны и доступные женщины на берегах Сены под сенью Эйфелевой башни. Короче, кому ж неохота в Париж. А спроси его, что он в том Париже оставил? Побывать, походить, посмотреть... даже не обарахлиться, это и в Венгрии можно... а печально: жить, зная, что так до смерти и не увидишь его, единственный, неповторимый, легендарный, где жилали все знаменитости, и помнили, и вздыхали ностальгически: «Ну что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж?». Неистребимая потребность, бесхитростная вера: есть, есть где-то все, чего ни возжаждаешь – красота, легкость, романтика, свобода, изобилие, приключение, слава; смешной символ красивой жизни – Париж. Боже мой, как невозможно представить, что из Свердловска до Парижа ближе, чем до Хабаровска. Как невозможно представить, что там кто-то может так же просто жить, как в Конотопе или Могилеве.

Итак, в один прекрасный день Кореньков захотел в Париж.

В пятом классе Димка Кореньков посмотрел в кино «Трех мушкетеров». И – все.

Он вышел из зала шатаясь. Слепо бродил два часа. Вернулся к кинотеатру и встал в очередь.

Денег на билет не хватило. Помертвев, он двинулся домой и выклянчил у матери рубль, задыхаясь, понесся обратно: успел.

После девятого раза Париж стал для него реальнее окружающей скукоты.

Жизнь в городишке была небогатая. Пассажирский поезд проходил дважды в неделю. Местных хулиганов знали наперечет. Изредка заезжали областные артисты. Пробуждающаяся Димкина душа, неудовлетворенная обыденностью, оказалась затронута в заветной глубине.

Обрушился удар – фильм сняли с экрана. Димка горевал, пока не просияла надежда: он впервые отправился в библиотеку и взял «Три мушкетера». Ту ночь не спал: сидел в туалете их коммуналки и читал...

Вернуть книгу было выше его сил – он легче расстался бы с рукой. Почта принесла суровое извещение об уплате пятикратной стоимости. Отец отвесил Димке воспитующий подзатыльник. Такова была первая его жертва на тернистом пути к мечте.

Познав наизусть «Трех мушкетеров», Димка обнаружил «Двадцать лет спустя» и «Виконта де Бражелона». Упоительно и безмерно счастлив, он погрузился в яркий и отважный мир Люксембургского дворца и Пре-о-Клер, где дамы мели шлейфами паркет, взмыленные кони с грохотом мчали кареты через горбатые мосты, и шпаги звенели и сверкали в лучах заходящего солнца. Его выдернули из грез, как рыбку из речки – четверть окончилась, он не успевал по всем предметам, грандиозный скандал разразился.

– Хотя что-нибудь ты знаешь? – скучно спросила классная, прикидывая втык от педсовета за Димкины успехи.

– Париж стоит мессы, – нахально выдал Димка. – Экю равняется трем ливрам, а пистоль – десяти!

Класс возопил триумф над племенем педагогов. Кличку «француз» Димка принял как посвящение в сан. Раньше он не выделялся ничем: ни силой, ни храбростью, ни умением драться, ни знаниями, ни умом, ни престижными родителями. В секцию его не приняли по хилости, кружки не интересовали, музыкальный слух отсутствовал. Париж придал ему индивидуальность, выделил из всех, и в любовь к Парижу он вложил все отпущенные природой крохи честолюбия и самоутверждения – это был его мир, здесь он не имел конкурентов.

Упрочивая репутацию и следуя течению событий, он вытребовал в библиотеке слипшуюся «Историю Франции». Нарабатывал осанку, гордое откидывание головы. Отрепетировал высокомерную усмешку. С герцогской этой усмешкой сообщал о невыполненных уроках, не снисходя до уловок. Учителя и родители, одолевая бешенство, списывали выкрутасы на трудности переходного возраста; вздыхали и строили планы воспитательной работы. Они ничего не понимали.

– Ты правда знаешь французский? – спросила Сухова, красавица Сухова, глядя непросто.

Французский в их дыре не звучал со времен наполеоновского нашествия; Димка зарылся в поиски и добыл учебник, траченый мышами и плесенью. Выламывал губы перед зеркальцем – ставил артикуляцию. И все реже отсиживал в школе, зато в нее все чаще вызывали отца.

Отец попомнил домострой и выдрал его с тцанием.

– Еще тронешь – сбегу, – прерывистым фальцетом пообещал Димка, когда экзекуция перешла в стадию словесную.

– Куда ты убежишь? – вскрикнула мать, вскинув полотенце.

– В Париж! – зло припечатал Димка. Серьезно.

«Во блажь очередная... Слетит». Блажь не слетала. Жизнь обрела стержень: Париж был интереснее, красивее, лучше дурной повседневной дребедени. Он уже знал Париж вернее собственного района: Версаль, Сен-Дени, Иври, Сите!.. Окружающее касалось его все меньше, плыло мимо, не колыhalo.

После восьмого класса школа с облегчением сбросила бзикнутого в лоно ПТУ. И то сказать: хотение в Париж – это еще не профессия.

Годы в ПТУ не отяготили Димкино сознание. Он чего-то делал в мастерских, чего-то слушал в классах, а на самом деле хотел в Париж. Хотение начало давать результаты, пока как бы промежуточные: с ним считалась прекрасная половина училища – он досконально знал, что носят в Париже. Неведомыми путями приплывал каталог мод, сиял глянцем, вгонял в пот провинциальных портняжек, не чаявших обшивать маркизов и виконтов. В конце концов сермяжную продукцию родной областной фабрики взялись перешивать ему две девочки в обмен на консультации. «Так носят в Париже», – снисходительно ронял он местным денди в клешах с жестяными пряжками.

На каникулах он приобрел в областном центре пластинки с уроками французского, пылившиеся там с одна тысяча девятьсот незапамятного года. Гонял их до ошизения на наидешевейшем проигрывателе «Юность», шлифуя произношение.

Поскольку французы предпочитают пить красное вино, он предпочитал исключительно его серьезному мужскому напитку водке. Запив в парадняке красным рагу и паштет, приготовленные матерью по списанному рецепту, он чувствовал, что вкусил сегодня вполне французскую трапезу.

Сложнее оказалось с луковым супом. «Книга о вкусной и здоровой пище» рецепта не давала. Димка сам разварил лук в лохмотья, бухнул в мутную водичку поболее соли, перца и лаврового листа (французская кухня острая) и через силу выхлебал ложкой; прочие домочадцы, отведав и сплюнув, от деликатеса мягко отказались.

Апофеозом гастрономических изысков явилась варка лягушек. Нацапав в болоте десяток квакух, Димка улучил час, когда дома никого не было, и приволок добычу на кухню. Не будучи дилетантом, он знал, что едят только задние лапки, с дрожью отделил их и разместил в суповой кастрюле, помолвившись, чтоб мать не узнала. Определив готовность, скомандовал себе: «Пора!» – и действительно сунул в рот маленькую, похожую на цыплячью, лапку и сжал челюсти, но тут здоровый русский организм воспротивился насилию над своей природой, желудок лягушек отверг; Димка отпился холодной водичкой и помыл в кухне пол. И еще долго стыдился своего тайного позора.

Зато с девушками он в свой срок сделался свободен и даже развязен. Атмосфера Парижа фривольна, парижанин живет легкой и игривой, как шампанское, любовью: тонкий флирт, мимолетная измена, элегантный роман. Обычно Димкины избранницы не могли вот так сразу настроиться на парижский лад, иногда отказ происходил в форме категорической и грубой, он насмешливо утешался их глухим провинциализмом: «Да, это не Париж». Но и когда его пылкая страсть была разделяема – он оставался недоволен. Где талия, тонкая, как у цветка? Где грудь, упругая, как резиновый мяч? где шаловливый задор, прикушенная губка? И где, наконец, неземное блаженство? А тайная белая пена кружев тончайшего белья? Вот уж по части белья местные Манон были столь же бессильны, сколь невиновны, облекая свои юные прелести в стеганую холстину с желтыми костяными пуговицами и байку с начесом... горький осадок не исчезал.

Может составиться впечатление, что он был каким-то маньяком, параноиком. Да нет, он был в общем совершенно обычным парнем, ну просто он хотел в Париж, хотеть ведь никому не запрещено. У каждого свое хобби, или свой таракан в голове, как сказали бы англичане. Ну, с легким прибаблом, бывает. Он бы и поехал в Париж, да понятия не имел, с какого конца за это дело взяться. Иностранец было словом ругательным, политическим ярлыком. За границу уезжали дипломаты или предатели. Но не одни же дипломаты и предатели за границу населяют. У него не было никаких конфликтов с Родиной, никаких несогласий, он был за социализм – он ведь и в Париж-то хотел не навсегда, а так, посмотреть, пожить немного, ну от силы года два; но кому и как это объяснишь?..

А фанерная этажерка заполнялась книгами о Париже. С закрытыми глазами он мог бы пройти из пятого арандисмана в четырнадцатый. Он высчитал количество шагов от Лувра до «Ротонды», принимая длину шага равной семидесяти сантиметрам. В нем родилось знакомое некоторым чувство: он словно вспоминал о Париже, хотя там не был. Однажды он с пронзительной достоверностью почувствовал себя парижанином, неведомо как заброшенным в этот дальний глухой угол.

В армии, слава богу, из него эту дурь подвыбили. Напомнили об империализме, колониализме, ненужно большой армии, кстати, позорно разбитой в восемьсот двенадцатом году, интервенции, безработице, проституции и эксплуатации. Рядовой Кореньков (молодой-необученный, салажня, еще варезку разрезает!) пытался проповедовать насчет Сопротивления,

Жанны Лябурб, Марата и голубки Пикассо, но первейшие доблести солдата есть дисциплина и выполнение приказа, направление мыслей беспрекословное, налево кругом. И для укрепления правильного направления мыслей лепили наряды.

Мысли Димкины направления не изменили, но что подразвелялось, что упряталось поглубже: солдат вышел исправный. Французский стал подзабываться, так ведь и по-русски к отбою язык заплетается.

Перед дембелем подсекло: выяснилось, что он знаком с военной техникой и прочими секретными вещами, и теперь на нем пять лет карантина – без права поездок за границу.

– Ты что, Кореньков, за границу, что ли, собрался? – удивился замполит его реакции на известие.

– Никак нет, – заготовленно соврал Димка: – Хотел учиться в институте на переводчика.

– О? Пока выучишься – время и пройдет!

Дома Димка отдохнул месяц и затосковал. Когда тебе двадцать, пять лет – срок бесконечный... Да эх, еще не старость. Прочитал объявление о наборе и сорвался в областной центр: все ж фабрика, институт, – цивилизация. А там обвыкся, перевез в общагу свои книжки и пластинки и терпеливо принялся за старое.

Мечты мечтами, жизнь жизнью: из череды девочек как-то выделилась одна, высветилась, открылась – единственная. Димка влюбился, Димка потерял голову. И оказалось, что будет ребенок... Так он женился. В общем счастливо женился, не жалел.

Он помогал жене стирать пеленки, собирал справки для получения квартиры, вечерами слушали по приемнику французскую музыку, он переводил слова, учил ее одеваться так, как носят в Париже, ей это нравилось поначалу, подкупало: «Я сразу увидела, что не такой, как все...»

Сыну было три года, а Димке двадцать шесть, когда родилась дочка, а квартиры все еще не было, снимали комнату. Теперь он прекрасно представлял, что попасть в Париж безмерно трудно, практически нереально, и в любом случае сначала требовалось добыть семье крышу над головой... родная же кровь...

В тридцать два он получил от фабрики квартиру. На радостях влезли в долги, купили всю мебель, а дети росли, одежда на них горела, Димка прихватывал сверхурочно, жена часто сидела дома на справке: корь, свинка, грипп, – жизнь текла, как заведено, чем дальше, тем быстрее.

Париж стал абстрактным, как математическая формула, но столь же неотменимым. Димка не пил, не болел в футбол, не играл в домино, не ездил на рыбалку, не копил на машину: он готовил себя к свиданию, которое когда-нибудь состоится. Тайком встречался с учительницей французского языка; жена чуяла, ревновала, хотя учительница была немолодая и некрасивая. Учительница радовалась родственной душе, она тоже никогда не была в Париже, а французскому ее научили в пединституте преподаватели, которые тоже никогда не были в Париже, по учебникам, авторы которых там тоже не были. Станный город.

Стать моряком заграничавания и сбежать в капстране? И поздно, и позорно, и семью не бросишь... слишком много здесь.

Времена между тем шли, и кое-что менялось. В городе построили новую гостиницу, и в нее стали иногда приезжать иностранцы. К разочарованию Коренькова, построившего знакомства с администраторшей и швейцаром, французов не было: болгары, поляки, восточные немцы.

...И вот однажды, получив письмо от сына из армии, он вздохнул и подивился быстротечности времени, усмехнулся безнадежно себе в зеркало – полысевший с темени, поседевший с висков, погрузневший в талии... и понял с леденящей ясностью, что все эти годы обманывал себя, что никогда ни в какой Париж он не поедет.

И стало – легче.

Словно обруч распался – освободил грудь: исчезли выматывающая надежда, томительная неопределенность. Он даже просиял. Сплюнул. «Нереально так нереально. И черт с ним, что за ерунда!»

Этой освобожденной легкой приподнятости хватило на два дня. На третий обнаружилась сосущая черная пустота в душе, где-то в районе солнечного сплетения.

Кореньков выпил, и ему полегчало.

Запил он по-черному, прогулял фабрику; на первый раз простили.

Жена поплакала, он покался, через неделю сорвался опять.

– Из меня будто хребет вынули, понимаешь? – объяснил он.

Справлял затянувшиеся поминки по мечте: постепенно исчезли книги, пластинки, проигрыватель, магнитофон и, наконец, приемник, – истаяла и лопнула нить, связывающая его с Парижем.

Но иногда ему снился голубой город, ажурные набережные в текущих огнях, быстрый картавый говор, и тогда он просыпался угрюм, черен, не шел на работу, цедил дрянное разведенное пиво у ларька и дожидался открытия винного.

Жена раньше прихвастывала перед соседками редкостным мужем, теперь бегала к ним же на кухни, они всплакивали о судьбине и костерили алкашей, и от того, что у других так же, и ничего, живут, становилось легче.

Давно уже он не перешивал купленные костюмы, не выбирался по выходным «на пленэр», не покупал у знакомой киоскерши «Юманите», – он вкалывал, безропотно отдавал жене зарплату, утаивая на выпивку, и покорно принимал ругань и причитания после позднего и нетрезвого возвращения домой.

Он плелся домой мимо гостиницы, когда в его сознание проникло что-то постороннее, мешающее: странное. Он досадливо собрал хмельные мысли – и споткнулся, застыл в стойке, как голодный пес: донеслась французская речь! («Я волнуюсь, заслышав французскую речь», – вдруг завертелась в голове бешеная пластинка.) Трое мужчин и молодая дама вышли из «Волги», швейцар излучил радушие при входе, и, как горохом перебрасываясь быстрыми фразами, они проследовали внутрь!..

Неотвратимо, подобный ожившей статуе, Кореньков двинулся следом. Он будто со стороны отмечал, как совал деньги швейцару, администратору ресторана, официанту, как втиснулся за столик, что-то пил и чем-то закусывал, всем существом устремленный к тем четверым – они почти не пили, держались как-то по-особенному свободно, болтали, – и он почти все понимал: ужасные сроки согласования какого-то документа, длинные дороги, русские художники в Париже...

Они расплатились. Кореньков подошел, задевая стулья.

– Вы из Парижа? – отчаянно спросил он без предисловий.

Компания воззрилась, замолчав.

– О, вы говорите по-французски? – приятно улыбнулся один, носатый, без подбородка, похожий в профиль на доброго попугая.

– Иногда, – сказал Кореньков. – И что мне здесь с этого толку?

Французы рассмеялись вежливо.

– Мы не ожидали услышать здесь... – с нотками воспитанной отчужденности начала дама...

– Вы из Парижа? – повторил Кореньков, перебивая.

– Из Парижа, – подтвердил маленький, весь замшевый, шарик. И были они все чистенькие, промытые, не по-нашему небрежные. – А что, у вас особое отношение к этому городу?

– Ребята... – проговорил Кореньков, и голос его сел до сипа, шепота, мольбы. – Ребята, – проговорил он, – давайте выпьем. Вы не понимаете, что такое Париж.

Французы отреагировали весело. Возник администратор и стальной хваткой поволок Коренькова. «Т-те-бе чего, это иностранцы, вали, ну», – прошипел он.

Кореньков вцепился в скатерть:

– Господа, прикажите мерзавцу подать стул и прибор, меня заберут в милицию, помогите!

Неловко бросать почти знакомого в беде, – солидарность возникла: французы достойно загалдели, зажестикуютировали.

– Этот человек – их гость, они его пригласили, – на чистейшем русском сказала дама; Кореньков сообразил – переводчица.

Официант неодобрительно обслужил.

Происшествие сблизило, наладился разговор, расспросы.

– У вас почти чистое парижское произношение!

Поаплодировали; чокнулись; изумлялись:

– И вы самостоятельно... Признайтесь: разыгрываете?

– Столько лет...

– Так почему вы давно туда не съездили?

– Вам бы наши заботы, – туманно ответил Кореньков; все-таки он был нетрезв.

Прекрасную сказку не могли омрачить мелочи: у входа его забрали дружинники, доставили в отделение, составили протокол о приставании к иностранцам, отправили в вытрезвитель; ха.

Утром он на удивление сиял среди измятых рож казенного дома, умолил не посылать бумагу на работу, оставил в залог часы и пропуск, схватил такси, занял денег, уплатил штраф и примчался к жене – устроил сплошной праздник: уборку, стирку, поцелуи, клятвы, песни и пляски. Его распирало, он летал, он парил над землей, в звоне серебряных колокольчиков.

Переводчица объяснила: теперь все реально. Есть «Интурист», есть ОВИР, турпутевки, поездки по приглашению; стоит это круто, но в пределах возможного.

Коренькова залихорадило. Он стал восстанавливать свою французскую библиотечку, слушать французскую музыку; и начал копить деньги.

Полюбил прогуливаться вблизи гостиницы, иногда посиживал в ресторане; еще дважды удалось свести знакомства – французы консультировали здесь строительство новой фабрики по их проекту. Последняя группа решительно отказалась признать его за русского, не нюхавшего Франции, и заподозрила, кажется, в провокации. А выказанное им доскональное знание Парижа просто поставило их в тупик.

– Вы могли бы работать гидом в Париже.

– Я попробую, – спокойно ответил Кореньков.

Зал за залом перечислял он коллекцию Лувра. Французы, переглянувшись, признались, что искусство – не их хобби.

– Видите ли, мсье, мы не посещаем Париж, мы в нем живем, а это совершенно разные вещи.

Ему обещали прислать приглашения, но пришло только одно. В соответствующем месте Коренькову разъяснили, что он практически незнаком с приглашающим, а годится лишь настоящее знакомство, длительное, с перепиской. Полтора года Кореньков переписывался с одним добрым шевалье, но приглашение почему-то не пришло...

А в другом месте ему после строгого внушения разъяснили, что такое его невыдержанное поведение может только навредить в случае оформления за границу: неясные контакты с иностранцами.

«Интурбюро» раскрыло, что путевки во Францию (поулыбались) приходят сравнительно редко, и распределяют их исключительно по профсоюзной линии.

Кореньков прикинул свой стаж, разряд, дисциплину. По собственному почину взял повышенные обязательства. После перевыборов сделался проформгом бригады. Он как бы пытался забить очередь, понимая проблематичность урвать столь лакомый кусок...

И однажды действительно пришла путевка во Францию, на двенадцать дней, стоимостью две тысячи сто рублей; но поехал замдиректора по коммерции – руководитель, с высшим образованием, ветеран...

Вышла замуж дочь, отложенные деньги ухнули на свадьбу: застолье, платье, первое обзаведение для молодых, – все нужно, как у людей, куда ж денешься.

Время летело, женился и сын, появились внуки, внукам хотелось делать подарки, жена все чаще прихварывала, рекомендовалось отправлять ее в санатории, и все требовало сил, времени, денег, денег, времени, сил...

А перед сном Кореньков закрывал глаза и думал о Париже – спокойно и даже счастливо. Так в старости вспоминают о первой любви: давно стихла боль, сгладились терзания, рассеялись слезы, и осталась лишь сладкая память о красоте, о потрясающем счастье, и вызывает воспоминания вновь и вновь, они уже не мучат, как некогда, а дарят тихой отрадой, умилением, убежищем от тягостного быта, мирят с действительностью; было, все у меня было и останется навсегда. Он неторопливо шествовал с набережной д'Орсэ в зелень Булонского леса, помахивая тросточкой, молодой, хорошо одетый, бодрый и жадный до впечатлений, смеющийся, выпивал под полосатым тентом быстро стакан кислого красного вина, жмурился от дыма крепкой «Галуаз» и предвкушал, как кутнет у «Максима», разорится на отборную спаржу и дорогих плоских устриц, выжав на них половинку лимона и запивая белым, старого урожая вином, пахнущим дымком сожженных листьев и сентябрьскими заморозками. Он сроднился с утопией, достоверно казалось, что это на самом деле было, или наоборот – завтра же сбудется, и такое двойное существование было ему приятно.

А наутро к шести сорока пяти ехал на фабрику.

Ему было пятьдесят девять, и он собирал справки на пенсию, когда в профком пришли две путевки во Францию.

– Слышь, Корень, объявление в профкоме видел? – спросил в обед Виноградов, мастер из литейки.

– Нет. А чего? – Кореньков взял на поднос кефир и накрыл стакан булочкой.

– Два места в Париж! – сказал Виноградов и подмигнул.

Кореньков услышал, но как бы одновременно и не услышал, и стал смотреть на кассиршу, не понимая, чего она от него хочет. «Семьдесят шесть копеек!», – разобрал он, наконец, и все равно не знал, при чем тут он и что теперь надо делать.

– Да ты что, дед, чокнулся сегодня! – закричала кассирша. – Давай свой рубль!

Кореньков послушно протянул рубль, от этого поднос, который теперь он держал только одной рукой, накренился, и весь обед с плеском загремел на пол, эти посторонние звуки ничего не значили.

– Ой, ну ты вообще! – закричала кассирша. – Переработал, что ли!

В конце перерыва Кореньков обнаружил себя на привычном месте в столовой, под фикусом, лицом ко входу, перед ним лежали вилка, ложка и чайная ложечка. Стрелка дошла до половины, он встал и спустился по лестнице в цех.

На скамейке у батареи, где грохотали доминошники, выкурил сигарету, заплевал окурок и как-то сразу оказался в профкоме.

Там скрыли смущение: страсть Коренькова слыла легендой, а права у него, строго говоря, имелись... Толкнув обитую дверь, он нарушил беседу председательницы с подругой-толстухой и вперился в нее вопросительно, требовательно и мрачно.

– Ко мне, Дмитрий Анатольевич? – осведомилась председательница певуче.

– Путевки пришли, – вопросительно-утвердительно сказал Кореньков.

- Какие путевки? В санаторий? – приветливо переспросила та.
- Во Францию, – тяжело рек Кореньков, выдвигаясь на боевые рубежи.
- Ах, во Францию, – любезно подхватила она. – Ну, еще ничего не пришло, обещали нам из Облсовпрофа одно место, может быть, два...
- Я первый на очереди, – страшным шепотом прошелестел он.
- Мы помним, обязательно учтем, кандидатуры будут разбираться... открытое обсуждение...

Дремавшее в нем опасение вскинулось зверем и вгрызлось Коренькову в печенки. Протаранив секретаршу директора, он пересек просторный затененный кабинет и упал в кресло напротив.

- Что такое? – директор не поднял глаз от бумаги, не выпустил телефонной трубки.
- Павел Корнеевич, – выдохнул Кореньков. – Тридцать шесть лет на фабрике. На одном месте. Верой и правдой (само выскочило)... Христом-богом прошу! Будьте справедливы...
- Квартиру?..
- Две путевки в Париж пришли. Тридцать шесть лет. Через полгода на пенсию... Верой и правдой... не подводил... всю жизнь... прошу – дайте мне.

Народ знает все. Ехать предназначалось главному инженеру и начальнику снабжения. Общественное мнение Коренькова поддержало:

- Давай, не отступайся! Имеешь право!

В глазах Коренькова появилось затравленное волчье мерцание. Сжигая мосты, он записался на прием в райкоме и Облсовпрофе. Фабричный юрисконсульт, девчонка не старше его дочери, посочувствовала, полистала справочники, посоветовала заручиться ходатайством коллектива. Распространился слух, что если Коренькову не дадут путевку, он повесится прямо в цехе и оставит письмо прокурору, кто его довел. Во взрывчатой атмосфере скандала Кореньков почернел, высох, спотыкался.

Жена заявила и закатила истерику в профкоме:

- Как чуть что – так про рабочую сознательность! А как чуть что – так начальству! Я в ЦК напишу, в прокуратуру, в газету! будет на вас управа, новое дворянство!..

Делопроизводительница по юности лет не выдержала: шепнула срок заседания по распределению загранпутевок. Кореньков возник ровно за минуту до начала и прочно сел на стул. Лица у президиума изменились.

- А вы по какому вопросу, Дмитрий Анатольевич?

Кореньков заготовил гневную и аргументированную речь, исполненную достоинства, но встать не смог, голос осекся, и он со стыдом и ужасом услышал тихий безутешный плач:

- Ребята... да имейте ж вы совесть... да хоть когда я куда ездил... хоть когда что просил... что же, отработал – и на пенсию, пошел вон, клеща... Ну пожалуйста, прошу вас... – И, не соображая, чем их умиловить, что еще сделать, погибая в горе, сполз со стула и опустился на колени.

Теплая щекотная слеза стекла по морщине и сорвалась с губы на лакированную паркетную плашку.

Кто-то кудакнул, вздохнул, кто-то поднял его, подал воды, потом он лежал на диване с нитроглицерином под языком, старый, несчастный, в спешке, так некстати устроивший из праздника похороны.

Назревший нарыв лопнул: непереносимая ситуация требовала разрешения. Пожимая плечами и переглядываясь, демонстрировали друг другу свою человечность и великодушие: чтоб и волки сыты, и овцы целы. Все были в общем «за», помалкивали только двое «парижан»... В конце концов главному инженеру пообещали первую же лучшую путевку в капитанскую страну, улестили, умаслили, и он, неплохой, в сущности, мужик, по нынешним меркам молодой еще, согласился – и сразу повеселел от собственного благородства и размаха.

– Вставай, Дмитрий Анатольевич, – дружелюбно хлопнул по плечу Коренькова. – Все в порядке, поедешь, не сомневайся.

...Ах, что за несравненные хлопоты – сборы за границу! Пять месяцев Кореньков собирал справки, выписки, характеристики, заверял их в инстанциях, заполнял многочисленные анкеты о сотне пунктов, сидел в очередях на собеседования и инструктажи. На медкомиссии у него от волнений подскочило давление, он слег от горя; жена достала через знакомую с базы десяток лимонов (снижают), с той же целью скормила ему с полведра варенья из черноплодной рябины, перед сном выводила на прогулку и велела думать только о приятном. Слава богу, давление нормализовалось: пропустили.

Идеологической комиссии он боялся не меньше. Конспектировал программу «Время», вырезал из «Правды» политические новости и сидел в фабричной библиотеке над подшивками «Коммуниста». Он среди ночи мог не задумываясь ответить, что главой государства Буркина-Фасо является с тысяча девятьсот восемьдесят третьего года Санкара, первым генеральным секретарем ООН был норвежец Т. Х. Ли, а фамилия председателя компартии Лесото – Матжи. Накануне подстригся, пошел при галстукке... Ответил на все вопросы!

Они продали облигации, снесли в комиссионку женин песцовый воротник, влезли в долги: деньги набрались.

Купили ему новый костюм, чешский, вполне приличный, жена сама, как когда-то, подогнала брюки; сорочка индийская, галстук польский, туфли румынские: европейская экипировка.

Покупки – список на четырех листах, многократно откорректированный и выверенный – изумительным фокусом укладывались в четыреста франков, выданных в обмен сорока рублей.

Пять месяцев минули. В последнюю ночь Кореньков не смог заснуть. Победное солнце Аустерлица возвестило прекрасный день начала пути. Помолодевший и легкий («Присели на дорожку. Поехали!») – он тронулся.

На вокзале их группу, уже хорошо знакомых между собой тридцать человек, во главе с руководителем, которого следовало слушаться беспрекословно, проверили, пересчитали, посадили в вагон и отправили в Москву. Перрон с машущими семьями уплыл...

Улетали из Шереметьева. В международном отделе по сравнению с общей толкучкой было свободно, прохладно. Таможенник, полнеющий парнишка с вороной подковкой усов, мельком сунул нос в кореньковскую сумку и продвинул ее по стойке: досмотр окончен.

В автобусе Кореньков оказался рядом с двумя француженками, элегантными гримзами с сиреновой сединой, покосился на руководителя и от разговора воздержался: гримзы сетовали, что не выбрались на тысячелетие крещения Руси, церковные торжества.

Их «Ту-154» взлетел минут на пять позже расписания, как и принято, Кореньков завибрировал, считал минуты, он уже боялся всего: задержки, неисправности самолета, ошибки в оформлении документов, обнаруженной в последний момент; в полете боялся бездны внизу, боялся, что Париж вдруг закроется по метеоусловиям, или забастуют диспетчеры, или вдруг нарушатся дипломатические отношения, и вообще самый опасный момент – посадка... и лишь когда под колесами с мягкой протяжной дрожью понесся бетон и турбины шелестяще засветили на реверсе, гася пробег, явилось спокойствие – странноватое, деревянное, пустое.

– Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шарль де Голль...

В свою очередь Кореньков спустился по трапу, мгновение помедлив, прежде чем перенести ногу с нижней ступени на шероховато-ровное серое пространство – землю Парижа.

Рубчатые резиновые ступени эскалатора вынесли их в красноватый от вечерних отблесков зал, наполненный ровным сдержанным эхом. Длинноволосый таможенник в каскетке пропустил их со скоростью автомата: пара небрежных движений в небогатом багаже каждого. Процедура проверки паспортов выглядела не тщательней контроля трамвайных билетов. Гид ждал у киосков с плакатиком в руке. Шагнул навстречу, точно выделив их из пестрой круговерти.

– Бонжур, мсье, – поздоровался Вадим Петрович, руководитель.

– С благополучным прибытием, – приветствовал гид с небольшим милым акцентом. – Хорошо долетели? Сейчас мы сядем в автобус и поедem в гостиницу.

Стеклянные двери разошлись. Протканый бензиновыми иголочками воздух, палевый, сгущающийся, наполнил легкие. Коренькову как-то символически захотелось сесть на асфальт, привалившись спиной к стене, вытянув ноги, и посидеть так, покурить, тихо глядя перед собой: предаться значительности момента... Но неудобно, да и некогда; ладно; а жаль...

Они пробрались через автостоянку к одному из ярких автобусов, Кореньков подсутился – захватил место на первом сидении, у дымчатого просторного стекла.

– Давай в Париж, шеф! – велел сзади дурашливо-счастливый голос, и все чуть нервно и оживленно засмеялись.

И розоватый, кремовый, бежевый, притухающий в сумерках, ни с чем не сравнимый парижский пейзаж, неторопливо раскрываясь, покатился навстречу.

Гнутый лекалом профиль гида с микрофоном на фоне лобового стекла, за которым менялись виды, казался маркой города (Дени, брюнет, черноглаз, высок, тонок, студент-русист Сорбонны). Кореньков слушал вполуха известное наизусть, жадно отмечая детали: усатый ажан в пелерине, прохаживающийся вдоль витрин: целующаяся в машине перед светофором парочка; араб-зеленщик с лотком; дама в манто, выходящая из обтекаемого, звероватого «ситроена»!..

Они плавно свернули с бульвара Бертье на авеню Гюржо, встроились в поток на пляс Перьер, из тоннеля внизу выскочила гроыхающая электричка, «На вокзал Сен-Лазар?» – спросил Кореньков утверждающе.

– Куда? – прервался Дени.

– На Сен-Лазар, – повторил он, тыча пальцем.

– О, – улыбнулся Дени, – вы не впервые в Париже.

Близились к сердцу Парижа. «Авеню Ниэль... Рю Пьер Демур... Де Терн... Мак-Магон...» В перспективе открылась Пляс Этуаль («Де Голль», поправил себя Кореньков), над каруселью красных автомобильных огоньков – угол Триумфальной арки, подсвеченный золотом барельеф под сиреневым, лиловым, бархатным небом.

Здесь пульс былой жизни отдавался тихим неблизким шумом, тихо светился подъезд скромной гостиницы «Мак-Магон», тиха и неширока, белела лестница, тихо двигался лысый портье за темной деревянной стойкой. Руководитель Вадим Петрович руководил расселением, Коренькову достался в соседи работник горисполкома, веселый и хозяйственный Андрей Андреич, сразу перешедший на ты:

– Ты меня слушай, и отоваримся путем, и посмотрим что надо – я здесь второй раз. – Подмигнул.

Достали кипяточники, печенье, консервы, – поужинали дома, безвалютно. Потом Вадим Петрович собрал всех на инструктаж, напомнил о дисциплине, бдительности, возможных провокациях.

Кореньков спустился в холл и купил у портье синеватую короткую пачку «Галуаз» – без фильтра, из темного крепкого табака типа «капораль», пахнущего вроде кубинских сигар. Угостил портье болгарской сигаретой, зная, что здесь это не принято, каждый курит свои; портье выразил благодарность, и Кореньков наслаждался разговором в полутемном холле с видами Парижа на стенах, в покойном кресле, легким приятным разговором о погоде, туристах, ценах в ресторанах, – он знал, что серьезные темы здесь не приняты, разговор должен быть легким. Но от рукопожатия на прощанье не удержался; ладонь у портье была сухая, не слабая, приятная.

В номере Андрей Андреич храпел жизнерадостно. Не зажигая света, Кореньков открыл привезенную бутылку, осторожно отодвинул штору, сел к окну и чокнулся со стеклом. С пятого этажа был виден узкий сектор освещенной площади, уголок Триумфальной арки, редкое ночное движение. «Повезло».

Лег не скоро, насытившийся ощущением того, что он – здесь, слегка опьянев, наблюдая легкое подрагивание треугольника света на потолке, искрящегося в крае люстры...

Автобус подавали в восемь. Завтракали в одном из дешевых ресторанчиков близ Монмартра: кофе, пуховые булочки, желтое масло, джем. Расплачивался Вадим Петрович. Вадим Петрович в первый же день выделил Коренькова, держал рядом: как бы из дружеского расположения угощал его Парижем лично, особо; и с уважением равного кивал подробностям о Париже, распиравшим Коренькова.

Скрывалась за цветными крышами высящаяся на холме белая стройная громада Сакрэ-Кёр, дневная программа начиналась, они дружно вертели головами, внимая Дени: Казино, галерея Лафайета, Гранд-Отель, Вандомская площадь: выходим, мадам и мсье. Он трогал рукой Вандомскую колонну! Взлетали голуби, щелкали фотоаппараты, шаркали толпы разноязыких туристов: небо сияло.

Эйфория звездного часа несла Коренькова. Любовно и торопливо он дополнял Дени: как Мопассан поносил Эйфелеву башню за изуродование вида Парижа; как триста викингов в VIII веке захватили Париж, именуемый тогда Лютецией, и не ушли до получения выкупа; как поляк Домбровский командовал войсками Парижской Коммуны.

– Мсье, по-моему, вы самый чистокровный парижанин в этом городе! – радовался Дени, поводя узкими плечиками в вельветовом пиджаке.

В Доме Инвалидов с Кореньковым сделалось головокружение. Мраморные ангелы с лицами античных воинов, несшие караул вокруг красного порфирного саркофага Наполеона, надвинулись на него; буквы «Ваграм. Маренго. Иена...» на черном подножии вспыхнули огненным колесом и ослепили. Он пришел в себя на тенистой ступеньке перед газоном, поддерживаемый внимательным Вадимом Петровичем.

Обед и ужин вкушали в том же ресторанчике, втекали вежливо-скованной чужеродной кучей, подчищали мандарины и листья салата с подносов с зеленью, до капли цедили сухое красное вино из двенадцатиунциевых графинов-колбочек, стоящих перед каждым прибором. Старались держать вилку в левой руке, а нож в правой; старались не глазеть в стороны; старались без шума отодвигать стулья. Кореньков жевал палочки мелкой спаржи, корочкой подбирал правильно соус и комплексовал, что не может дать на чай милой плоской официантке: хамство-с, то-то она и не улыбается.

В обмене впечатлениями проскальзывало греховным пунктиком: «Пляс Пигаль?..». Кореньков усмехнулся дилетантству, попросил гида вернуться в гостиницу через улицу Сен-Дени.

– Мсье? – тот вздернул тонкую бровь.

Вадим Петрович возразил хозяйски:

– Делать крюк? поздно уже, некогда. И в программу не входит.

– Какой же крюк, пятьсот метров направо...

Вадим Петрович глянул пристально – медленно кивнул.

Вывески Мулен-Руж струились в витринах розовым, малиновым, оранжевым, электрические лопасти мельницы вращались в темной вышине, электрический нагой силуэт вскидывал ножку в канкане. На Сен-Дени девицы были уже реальные, в шортах или мини-юбках и обтягивающих сапожках до бедер, в ажурном белье под распахивающимися шубками, всех цветов и мастей, чаще некрасивы, некоторые стары: похаживали парами и стайками, ждали у стен, опершись ножкой, курили, поигрывали сумочками.

– Вот эта карга обслужит вас по-французски прямо в автобусе франков за сорок, – забывшись, склонился Кореньков к сидящему рядом Вадиму Петровичу. – А чудо-киска с вызовом на дом приедет на «ягуаре» и возьмет утром тыщенок до трех.

Вадим Петрович обернулся дико; Дени заржал, перешел на вздох:

– Увы, это наша социальная язва, позор Парижа...

За углом пассажиры перевели дух и заговорили сдержанно и фальшиво о постороннем; пара дам сокрушалась, их слушали с неприязнью; постепенно раскрепостясь, обсудили проблемы проституции и почему-то пришли в прекрасное настроение.

Перед сном Кореньков намылился под душем мыльцем из фирменного пакетика в ванной, пастой из такого же пакетика почистил зубы, обувным кремом отполировал свои коричневые туфли. Андрей Андреич слегка расслабился:

– Их все на сувениры берут. Что у тебя, мыла нет? Ладно, забери из ванной, завтра новые положат. А чего водку открыл, пить сюда приехал? Ну чудила ты...

Свои две бутылки он загнал швейцару за сорок франков: «Все только так и делают».

Вообще основные интересы группы распределились между бульваром Рошешуар и пляс Республик, где обосновались знаменитые баснословной дешевизной универмаги Тати. Совали в бесплатные пакеты гонконгские кассеты, бразильские джинсы, сингапурские штампованные часы, кроссовки с Тайваня и куртки из Макао – Андрей Андреич купил южнокорейский магнитофон за сто девяносто франков: «колониальные товары», дешевая рабсила, демпинговые цены. Кореньков свои приобретения упрятывал в сумку: показываться с пакетом от Тати уж больно непрестижно, бедно; стыдновато. Налетали не раз на уличную дешевую распродажу, бесценнок непредсказуемый: за пакистанские нормальные кроссовки он отдал пять франков, за джинсы – восемнадцать. Сэкономленные средства он перебросил в расходы на местный колорит: рюмка абсента, рюмка перно. (Чашка кофе – три франка, и это в обычном бистро...)

Абсент действительно горчил полынью; перно имело привкус лакрицы, Кореньков это знал, но он не знал, какой вкус у лакрицы, и приторной сладковатостью удовлетворился.

– Ну и скупердяи эти твои французы! – заявил Андрей Андреич.

– Они не скупердяи, они привыкли считать деньги, – доброжелательно разъяснил Кореньков. – Как все в Европе, кстати.

– Привыкли, это точно. Гид наш попросил у меня юбилейный рубль, так, думаешь, дал хоть что-нибудь взамен? И звонят они только из гостей, чтоб на автоматы не тратиться; мне говорили.

График времяпрепровождения был сугубо коллективный и отклонений не допускал: кладбище Пер-Лашез и стена Коммунаров – один час, музей Ленина на улице Мари-Роз – два часа, Лувр – три часа, Эйфелева башня – прощальный ужин накануне отъезда...

Безусловно и категорически не входили в намерения группы стриптиз и порнографические фильмы. Но подспудное брожение присутствовало. Кореньков за полтора франка купил номер «Пари суар», слюнявя пальцы (тончайшая бумага) перевернул отдел объявлений и отыскал «Декамерон-70» Феллини в недорогом кинотеатрике: классика мирового кино, вне политики, не придерешься. Депутация желающих отправилась к Вадиму Петровичу. Культпоход в кино состоялся.

Из зала выходили в некотором понятном обалдении, прочищая пересохшее горло. О девяти франках никто не жалел.

– Странно, что в группе не нашлось любителей оперы, – резюмировал руководитель. – Билет на балкон стоит всего сотню монет. Какие голоса!

Еще Коренькову удалось спровоцировать краткое посещение рынка, достославного Чрева Парижа (женщины загорелись! Вадим Петрович поцокал неодобрительно). Бескрайнее царство жратвы ломило красками, оглушало запахами, ананасы соседствовали с хреном, цесарки с акульными плавниками, устрицы с кокосами, жаровни дымились, чаны парили, монахини садились на мотороллеры, плыли и качались корзины! Букашки в грандиозном натюрморте, созданном фантазией гурмана, они, влекомые Кореньковым, как нитка за иголкой, достигли лукового супа: янтарный и благоухающий, в грубой фаянсовой миске, вроде и суп как суп, ан нет, вроде и как пища богов, галльских богов, лукавых и вечных, амброзия бессмертных, святое причастие. Дени тоже угостили.

...Ах, почему так быстро кончается все хорошее! Оттрещали в ветре трехцветные флаги Великой французской революции на готических шпилях Нотр-Дам, отшумели каштаны под башнями Консьержери, отсверкали в паркетах люстры Версаля. Укатился в прошлое франк, поданный Кореньковым клошару под мостом Де Берси.

Он не ощущал себя туристом, напротив: словно вернулся из неудачного отпуска домой, где прожит век. Вздыхал знакомым мелочам, жалел о ликвидации уличных писсуаров: не трогайте мою старую обитель.

Накануне отлета проснулся чуть свет, заварил чай в стакане, закурил у серого окна: к рыбному магазину подкатила цистерна, юный развозчик загрузил длиннейшими батонами из пекарни ящик мотороллера и унесся, расклейщик афиш огладил тумбу рекламой фильма с Жаклин Биссе.

И Кореньков понял, что никуда завтра не улетит.

Он это давно знал, но запрещал себе и думать. Преграда треснула, и мысль разрослась огромно, как баобаб. Дети самостоятельны, все имущество – жене, а он уже старик, сколько ему осталось... какая разница, как он будет здесь жить. Конечно, в Париже очень трудно найти постоянную работу, но он знал твердо, что с голоду тут давно никто не умирает, существует масса социальных и благотворительных служб... а он согласен на любую работу, хоть мусорщиком. Слать им посылки... попробовать когда-нибудь посетить Союз под чужой фамилией... ведь никаких эмигрантских газет, радиостанций, заявлений, упаси бог.

Эх, было б ему тридцать лет. Или сорок... Но уж хоть что осталось – то мое.

В подремывающем после завтрака автобусе он машинально ловил полусшепот между Дени и шофером.

– Финиш, завтра этих провожаем, – сказал Дени.

– Старикан этот, ну дотошный, – цыкнул шофер.

– До чертиков надоел, – сказал Дени.

Кореньков померк от обиды, попытался погордиться своеобразным комплиментом; потом его что-то забеспокоило, сильнее, очень сильно – и окостенел:

они говорили по-русски!

Без малейшего акцента.

Он попытался уяснить происшествие и усомнился в себе.

– Долго еще ехать? – обратился по-русски с возможной естественностью, как будто забывшись.

Шофер не отреагировал. Дени обернулся.

– Туалет будет по дороге, – приветливо прокурлыкал он, сдерживая грассирование, и по-французски спросил у шофера, сколько им ехать, на что тот по-французски же ответил, что минут пятнадцать.

Померещилось?

Едва вышли, Кореньков поскользнулся и увидел под ногой апельсиновую корку на крышке канализационного люка. В мозгу у него лопнул воздушный шарик: нечеткие буквы гласили: «2-й Литейный 3-д – Кемерово – 1968 г.».

– Что с вами, мсье? – позвал Дени. Приблизился, глянул:

– Потрясающе! – сказал он. – Может быть, в Париже есть какая-то русская металлическая артель, поставляющая муниципалитету крышки для канализации?

– А Кемерово? – спросил Кореньков, и тут же ощутил свой вопрос... нехорошим.

– А вы знаете, что в США есть четыре Москвы? – успокоил Вадим Петрович. – Эмигранты любят такие штучки. И во Франции, если поискать, найдется парочка Барнаулов!

– Близ Марселя есть деревня Севастополь, – привел Дени. – В честь старой войны.

– Ну вот видите.

Когда садились обратно в автобус, Кореньков обратил внимание, что рядом на пути не оказалось ни одного человека, хотя площадь казалась запруженной народом...

Дени дал указания шоферу, и напряженный кореньковский слух выявил легкое такое искажение дифтонгов!..

– Хорошо родиться и вырасти в Париже, – по-французски сказал ему Кореньков.

Дени ответил спокойным взглядом.

– Я родился в Марселе, – сказал он. – Только в восемнадцать поступил в Сорбонну. Так и остались в произношении кое-какие южные нюансы.

«Почему он сказал о произношении? Я ведь не спрашивал. Догадался сам? А почему он должен догадаться об этом?»

Жутковатым туманом сгушалось подозрение.

Приехали. Вышли. Кореньков расчетливо, методично сманеврировал к краю группы, выждал и быстро шагнул к спешащему по тротуару с деловым видом прохожему:

– Простите, мсье, как пройти к станции метро «Жавель»?

Прохожий запнулся, ткнул пальцем в сторону и надал.

– Дмитрий Анатольевич, что же вы? – укорил Вадим Петрович: он стоял за спиной. – Какой-то вы сегодня странный. И вид больной. Ну ничего, завтра будем дома. Переутомились от обилия впечатлений, наверное? это бывает.

«Почему он промолчал? И – метро совсем не там!»

Они сгрудились у особняка, где окончил свои дни Мирабо. Кореньков оперся рукой о теплые камни цоколя, нагретые солнцем, и без всякой оформленной мысли поковырял ногтем. Камень неожиданно поддался, оказался не твердым, сколупнулась краска, и под ней обнаружилось что-то инородное, вроде прессованного картона... папье-маше.

Нервы Коренькова не выдержали. (Драпать... Драпать... Драпать!..)

Боком-боком, по сантиметру, двинулся он назад. Группа затопотала за Дени, Вадим Петрович отвлекся, Кореньков собрался в узел, улучил момент – и выстрелил собой за угол!

Бегом, быстрее, свернуть, налево, еще налево, направо, быстрее! Юркнул в подворотню и затаился, давя кадыком бухающее в глотке сердце.

Поднял глаза, ухнул утробно, осел на отнявшихся ногах.

Никакого дворца не было.

Высилась огромная декорация из неструганных досок, распертых серыми от непогод бревнами. Занавески висели на застекленных оконных проемах. Посреди двора криво торчала бетономешалка с застывшим в корыте раствором, и рядом валялась рваная пачка из-под «Беломора».

Поспешно и со звериной осторожностью Кореньков заскользил прочь, дальше, как можно дальше, задыхаясь рваным воздухом и оглядываясь.

Вот еще особняк, обогнуть угол, второй угол: ну?!

Внутри громоздкой фанерной конструкции, меж ржавых растяжек тросов, влип в лужу засохшей краски бидон с промятым боком.

Обратно. Дальше.

Вот люди сидят за столиками под полосатым тентом. Бесшумно подобрался он с тыла, отодвинул край занавески:

говорили по-русски, и не с какими-то там эмигрантскими интонациями, – родной, привычный, перевитый матерком говорок. А одеты абсолютно по-парижски!..

С бессмысленной целеустремленностью шагал он по проходам и «улицам», слыша русскую речь, и теперь ясно различал привычную озабоченность лиц, привычные польские и чехословацкие портфели, привычные финские и немецкие костюмы, привычные ввозимые моряками дешевые модели «Опеля» и «Форда».

Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевышки в их городке – метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо Запорожского сталепрокатного завода.

Он побрел прочь, прочь, прочь!.. И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз.

Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст.

Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов.

Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени.

Не было никакого Парижа на свете.

Не было никогда и нет.

Бог войны

Учения с треском заваливались.

Начать с того, что полк подняли по тревоге неожиданно, причем в ночь с субботы на воскресенье. То есть все знали, что в дивизии ожидается проверка, новый командующий армией намерен провести полковые учения с боевыми стрельбами, но было достоверно известно, что поднимут соседний полк, всегда использующийся в подобных случаях: полностью укомплектованный, выдрессированный, отличный, – показатель. Там отменили увольнения, кое-кому задержали отпуска; к отбою офицеры пришли в казармы с уложенными чемоданчиками, в артпарке сняли с консервации тягачи, танкисты прогрели моторы, проверили заправку баков, – все были в напряжении, наготове, ждали только звонка из штаба, чтоб, перекрывая отличные нормативы, вытянуться в район сосредоточения и приступить к выполнению задачи.

А здесь царило спокойствие: благодушно причастились к радостям субботнего дня, предвкушая, как новый командующий даст прикурить соседям. И в половине первого ночи грянул гром.

Время было расчетливо выбрано самое неудачное. Дежурный завершил обход караулов, стянул сапоги, накрылся старой шинелью и заснул, велел будить себя в шесть. Помощник, лейтенант-двухгодичник из младших научных сотрудников туманных наук, врубил в полгромкости транзистор, сел поустойчивей в креслице перед окошком и раскрыл роман. Дежурный по парку, немолодой прапорщик, сел за стол с приятелем, другим немолодым прапорщиком, они разложили закуску и налили по второй. Старослужащие же солдаты мелкими группами покинули расположение части – выражаясь разговорным языком, свалили в самоход: в пяти километрах, за озером, имелось село, а в селе том имелись девушки, с каковыми у них была налажена прочная солдатская дружба: иные, как водится, обещали жениться, а многим этого и не требовалось: теплый июль, крепкий самогон, практическое отсутствие конкурентов в селе и могучий нежный пыл двадцати лет делал их желанными гостями без всяких обещаний и планов на будущее: жизнь-то свое требует и берет.

Офицеры, как известно, тоже не монахи, и вдобавок среди них нашлись любители рыбной ловли. А если ночью вдруг плохо ловится рыба, то нигде не сказано, что ловля рыбы есть единственное и обязательное занятие на рыбалке.

Короче, приятно расслабились. Все настраивало личный состав полка на лад исключительно мирный и лирический: ласковая ночь, блеск звезд, томительный аромат травокоса, завтрашнее воскресенье и усиливающее радость от всех этих благ сознание того, что соседям будет сейчас не до красот и удовольствий, вздрючат в хвост и в гриву, в мыло и пот.

В ноль часов двадцать девять минут командующий вылез из газика в полусотне метров от безмолвного КПП с прожектором над закрытыми воротами. Махнул короткой колонне гасить фары, кинул в зубы сигарету из серебряного портсигара, усмехнулся свите: «Ну, посмотрим без

дураков, что тут у вас делается. Чего стоят эти разгильдяи». И с безжалостным любопытством прислушался к тишине за стандартным бетонным забором в резьбе ночных теней.

Огоньки сигарет приблизились к циферблатам: те, чья служба затрагивалась проверкой, мрачно представляли себе все возможные тягостные и даже позорные следствия, которые не замедлят проявиться, другие же, вне причастности и ответственности, втайне наслаждались отчасти комической стороной назревающих событий.

И в ноль тридцать сонный лейтенантик, не ожидая худого, снял телефонную трубку – и слух его разрубил загробный голос, устрашающе скомандовавший полку боевую тревогу.

Очки спрыгнули с лейтенантикова носа и хрустнули в помутившемся пространстве. На короткое время он очумел и впал в легкую панику. Психология военного такова, что в любой момент он может – приучен, привычен – ожидать войны, и если тревога неожиданна, то внутри холодеет, мышцы напрягаются, доведенные до автоматизма команды выскакивают из перехваченного горла не в том порядке, – короче, застоявшийся от долгого покоя и рутины человек впадает в мандраж.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.